

Евг. Даматовский

ЗЕЛЕНАЯ БРАМА

Документальная
легенда об одном
из первых сражений
Великой Отечественной
войны

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ



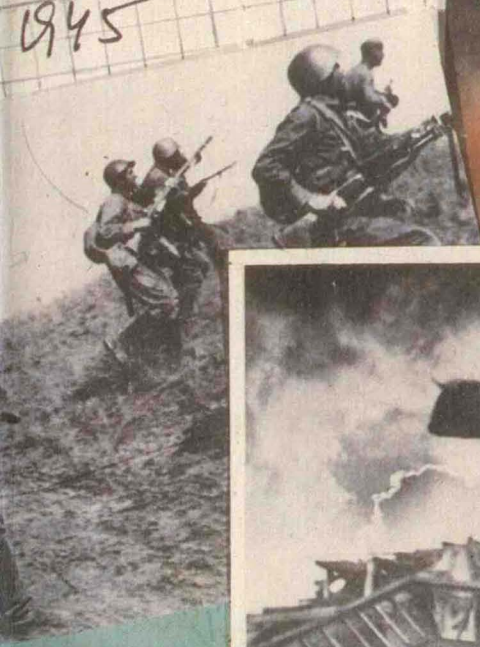
Україна, Україна, Україна,
Дорога моя,
Ти разграблена,
Ти украдена,
Не словає сопівць.
Я увидел тебе распятою
на фашиском штыке,
и прошел равниной
как слеза по щеке,
покаато,

1941



Про
а
те
м
н
ч

шло немало лет,
в сорок пятый
и самым, только вопрос
ишь ребятам
ишло в далеких
подвал лесок,
вишло поэти Берлин-
ским Зоосадам.
Дарим Защитникам
Скандинав,
Горы Рейхсага!
Свободы - Горы Рейхсага
1945



Евг. Дзюматовский

ЗЕЛЕНАЯ БРАМА

*Документальная легенда
об одном из первых сражений
Великой Отечественной войны*

Издание второе,
дополненное

Москва
Издательство
политической
литературы
1985

Долматовский Е. А.

Д64 Зеленая брама: Докум. легенда об одном из первых сражений Великой Отеч. войны.— 2-е изд., доп.— М.: Политиздат, 1985.— 319 с.

Эта книга о малоисследованных страницах Великой Отечественной войны. Известный советский поэт Евгений Долматовский рассказывает о подвиге воинов 6-й и 12-й армий. Вместе с другими армиями они приняли на себя первый удар фашистских полчищ, своим беззаветным мужеством задержали врага на Украине на подступах к индустриальным районам страны. Автор — очевидец событий — подкрепляет свой рассказ документами, свидетельствами других участников боев, материалами юных следопытов.

Второе издание книги дополнено материалами дальнейших поисков. Адресуется широкому кругу читателей.

Д 0505030202—052 149—85
079(02)—85

63.3(2)722.11
9(С)271

© ПОЛИТИЗДАТ, 1983 г.
© ПОЛИТИЗДАТ, 1985 г.
с дополнениями

Что такое Зеленая брама?

Что такое Зеленая брама?
— Средь холмов украинской земли
Есть урочище или дубрава
От путей магистральных вдали.
Это место суровых событий,
Не записанных в книгу побед,
Неизвестных, а может, забытых...
Как узнать их потерянный след?
Уступить мы не смеем забвенью
Тех страниц, опаленных войной:
Как сражались войска в окруженье,
Насмерть встав на опушке лесной,
И ценой своей жизни сумели
На пылающих тех рубежах
Приблизительно на две недели
Наступленье врага задержать.
...Пусть война станет мирным потомкам
Из легенд лишь известна, из книг,
Пусть из песен узнают о том, как
В бой вступали граната и штык,
Но должны стать навеки живыми
Наши братья из братских могил,
Чтоб фамилию, отчество, имя
Начертать мы на плитах могли.
Из безвестья Зеленая брама
Проявиться должна, наконец:

*Тайна жжет, как открытая рана,
Ясность — это заживший рубец.
Долгий поиск ведется с расчетом,
Чтоб под натиском фактов и дат
Дать — пока безымянным — высотам
Имена неизвестных солдат.*

Я из сорок первого года

Телеграмма из Кировограда разволновала и расстроила. Приглашают принять участие в Днях литературы, посвященных очередной годовщине освобождения Кировоградчины. Из Киева придут мои коллеги Василь Козаченко и Анатолий Хорунжий: первый в течение почти всей оккупации участвовал в тех местах в подполье, второй с боями прошел от Днепра до Южного Буга. Из Минска ждут Василя Быкова: на одном из обелисков, установленных в 1944 году, выгравировано его имя — он, к счастью, ошибочно числился погибшим в геройской схватке. Из Москвы приглашены Юрий Бондарев и Борис Полевой: на их пути от Сталинграда к Берлину лежали украинские земли.

Порадоваться бы приглашению и ехать! Но вправе ли я гулять на кировоградских торжествах?

Я не участник освобождения этих мест. Мой путь на запад после Курской битвы проходил севернее Киева.

А уж если говорить как на духу, дело не только в этом. Все и сложнее и печальней: я из сорок первого года, и та битва на кировоградской земле, участником которой мне выпало быть через месяц с небольшим после начала Великой Отечественной войны, относится к событиям самым трагическим в моей жизни, да и вообще, пожалуй, к самым суровым, какие только можно себе представить.

Большого труда стоило мне послать ответ в Кировоград: спасибо, товарищи, но на празднике освобождения я был бы лишним...

А ночью меня разбудил звонок с междугородной. Молодой голос в телефонной трубке был беспокоен и настойчив:

— Ваши доводы, изложенные в письме, понять можно. Но поймите и вы нас, людей, родившихся позже: для нас бои августа сорок первого и освободительная битва весны сорок четвертого представляют собой как бы единую линию. Приезжайте без колебаний. Вас ждут в селе Подвысоком. Просьба не опаздывать!

Кировоград отключился, и мне оставалось только об-суждать с самим собой это столь неожиданно вторгшееся в мою жизнь приглашение, разбередившее старые, давно, как мне казалось, накрепко зарубцевавшиеся раны.

Помню Подвысокое — большое, распространившееся вдоль оврагов село. Хаты под соломой, скрепленной мазками извести, почти не видны в окружении густо разросшихся садов. Тогда как раз поспела вишня, жители говорили — урожай небывалый, и вся эта сочная зелень расцветшего и еще не успевшего пожухнуть к августу лета была в темно-красных, как запекающаяся кровь, крупных каплях налившихся ягод. В последнюю ночь перед решающей атакой — наверное, уже четвертые сутки без провианта — мы на ощупь собирали вишни в горсти, торопливо и жадно ели их. Утром оказалось, наши ладони и губы, потемневшие от пороховой гари и земли, щедро измазаны алым соком. Но мы без труда отличали вишневый этот цвет от другого красного, выделявшегося на фоне наскоро намотанных бинтов.

Подвысокое...

В вишневом саду рядом со школой удачно замаскиро-вались спецмашины армейской редакции. Когда положение стало безвыходным, мы, как гробы, выносили из них тяже-лые ящики-кассы со шрифтами и закапывали. Литеры тяжкие, как пули, они вдобавок еще и с острыми краями.

Похороны газеты — бывало ли такое?

Подвысокое...

Ровная поляна за околицей и на ее краю — камуфлиро-ванный грубыми разводящими зеленой и желтой краски связной биплан У-2 с медленно вращающимся пропелле-ром. Дежурный из штаба, сопротивляясь порожденному винтом ветру, боком подбегает к пилоту, вручает пакет. Второе место в самолете занято забинтованным до глаз пилотом другого У-2, обстрелянного при посадке и уже не-способного взлететь. Они, может быть, спасутся и сумеют доставить последнее донесение командования объединив-шихся во вражеском окружении 6-й и 12-й армий. Эти армии входили раньше в состав Юго-Западного фронта, а с 25 июля числятся за Южным.

Подвысокое...

Из глубины памяти, а может быть, из глубин забвения выплывают разрозненные картины. В одноэтажном доме какого-то общественного назначения (кажется, раньше тут размещался райземотдел) заседает Военный совет двух объединившихся армий. Мне, корреспонденту армейской

газеты, поручено согласовать с членами Военного совета текст последней листовки. Да, она тоже последняя, потому что мы уже принялись уничтожать типографию.

На пороге дома сталкиваюсь со старшим батальонным комиссаром Михаилом Поперекой. Мы познакомились только вчера, но в условиях, навсегда соединяющих (или разъединяющих) людей: нам пришлось участвовать в контратаке, и оба мы одновременно узнали и поняли, как трудно самому оторваться от земли под кинжальным огнем противника. Самому оторваться, да еще и позвать, поднять, повлечь за собой других людей.

Когда-то, году в тридцатом или тридцать первом, я, тогда начинающий поэт и комсомольский активист Хамовнического, ныне Фрунзенского, района Москвы, писал стихи о кавалерийских лавах с шашками наголо и о штыковых атаках. Наивные эти стихи, наверное, были отражением рассказов старших о сравнительно недавно закончившейся гражданской войне. А теперь вот — именно вчера — мы с Михаилом Поперекой с винтовками наперевес сами бежали впереди малой группы красноармейцев, и острие штыка было как стрелка компаса — указывало единственно верное направление. Только вчера мне представилась возможность в полной мере ощутить наивность моих романтических мечтаний и понять, что в действительности все трудней и страшней, чем казалось прежде; что, когда бежишь навстречу пулям, задыхаешься, от крика срывается голос; что после рукопашной штыки старательно вытирают пучками травы и она тоже оставляет свой цвет на стали...

Мы с комиссаром уже, кажется, перешли на «ты», забыв, что у него на полевых запыленных петлицах три шпалы, а у меня только одна, что он старше меня года на три.

Мы были вместе в атаке, мы отныне побратимы на всю жизнь, может быть на годы и десятилетия, а сегодня вероятней — нам остались считанные дни и часы, которые необходимо прожить достойно и яростно. Никто этого не увидит со стороны, никто об этом никогда не узнает, важно каждому из нас ответить за себя и перед самим собой.

Поперека не советует мне заходить в дом, где заседает Военный совет, загораживает двери своей могучей фигурой, но делает это деликатно, чтобы стоящие тут часовые не потеряли уважения к шпале на моих петлицах. Поперека шепчет, что связи нет ни с Юго-Западным, ни с Южным

фронтами, а радио противника прорвалось на наши волны — предлагают немедленную капитуляцию. Ответ врагу дан ясный и недвусмысленный: мы на своей земле, мы будем сражаться до последней капли крови. Вот тебе и тема для последней листовки, единственная и самая правильная. Действуй!

Подвысокое...

Стереоскопически ясно представляю себе: почти вплотную к селу подступает лес, светлая и таинственная, умытая дождем дубрава с необычным, а может, сказочным названием. Вспомнил: Зеленая брама, в переводе на русский — Зеленые ворота. Как поэтично: дубрава — ворота, свод которых образуют смыкающиеся вверху кроны! Но этот свод не мог прикрыть нас от бомб и пулеметных очередей с воздуха, от навесного артиллерийского и минометного огня. Именно там, в Зеленой браме, был я ранен в голову и руку, именно там потерял бесценных друзей, с которыми побратался в первые недели войны.

Подвысокое...

Редко приходится встречать название этого села в мемуарных и исторических военных книгах, но о событиях, географическим центром которых было оно, сказано во втором томе «Истории Великой Отечественной войны»: «Окруженные войска вели героическую борьбу до 7 августа, а отдельные отряды — до 13 августа, пока не иссякли возможности сопротивления. В ходе этих боев часть войск прорвалась из окружения, но многих бойцов и командиров постигла тяжелая участь фашистского плена».

Итак, борьба у Подвысокого была героической, но подробности начисто отсутствуют, картина боев не восстановлена, не исследована эта схватка и как военная операция. Не будучи специалистом в военных науках, я все же, как участник, как очевидец, могу определить, что был бой в тактическом и стратегическом окружении, длившийся — ни много ни мало — две недели без перерыва.

И если уж вся битва в районе Умань — Подвысокое осталась почти безвестной, не мудрено, что именно там пропали без вести тысячи красноармейцев и командиров кадровой службы, с рассвета 22 июня находившихся на линии огня.

В горестном огне этой битвы сгорели, исчезли, развеялись в дым и важнейшие документы, относящиеся к предыдущим боям, во всяком случае — к тем, что гремели во второй половине июля 1941 года, когда 6-я и 12-я армии находились в полукольце, а дивизии и полки буквально

кочевали из окружения в окружение, продолжая отчаянно сражаться на свой страх и риск...

Что говорить о письмах и депешах, если мне после войны не удалось найти ни в одном архиве комплекта или хотя бы разрозненных номеров ежедневно выходившей до первых чисел августа газеты 6-й армии «Звезда Советов». (Я был направлен из Москвы в эту редакцию на должность «писатель» 23 июня...)

Ни стихов, ни газет, ни однополчан...

Все же хоть и редко, а случалось встречать людей из сорок первого года, в чьих поисках родных и товарищей, в розысках документов чуть-чуть приоткрывалась завеса тайны и забвения.

Я получил письмо от брата человека, считавшегося пропавшим без вести,— капитана Якова Савченко из 80-й стрелковой дивизии. Металлург Илларион Савченко два десятилетия отдал поискам, пока не выяснил, что в районе Зеленой браны Яков повел в атаку группу бойцов и пал смертью храбрых в рукопашной схватке. Илларион Савченко ездил в Кировоградскую область, побывал в Новоархангельском районе (Подвысокое до войны было районным центром, а позже вошло в Новоархангельский район), обошел четырнадцать братских могил в девяти селах. В этих братских могилах покоятся 2437 воинов, но из них лишь 111 были известны по именам и фамилиям. Теперь благодаря стараниям брата и памяти оставшихся в живых участников тех трагических событий Яков Савченко стал сто двенадцатым.

Подвысокое...

Никак не удавалось мне побывать там. Но ежегодно в День Советской Армии, в праздник Победы и под Новый год я получаю оттуда поздравительные открытки сельских школьников, складываю эти послания в отдельный пакет и храню бережно. После неожиданного ночного звонка из Кировограда я извлек тот пакет из ящика стола, просмотрел почтовые штампы на открытках, и невольно подумалось, что тем, кто подписывал первые поздравления, поди, уже по пятьдесят лет исполнилось. Жизнь не бесконечна, и я должен успеть побывать в Подвысоком.

Самолет в Кировоград вылетает завтра в десять часов утра.

Глазами родившихся позже

Дорога из Кировограда в Подвысокое...

Более трети века прошло, пронеслось, промчалось мне навстречу. И вот я еду к месту моего первого ранения. Но не с запада, как в сорок первом, а строго с востока на запад по дороге, которая тогда была в нескольких местах перерезана противником. Приказ командующего Южным фронтом выходить из кольца в этом направлении оказался неосуществимым.

Почти не видно характерных для лесостепи Украины оврагов. Ровная-преровная равнина, редкие островки дубрав. Смотришь на такой пейзаж и горестно думаешь: как трудно было здесь отступать, прорываться, пробиваться к своим!..

Да и отвоевывать эти края было нелегко. Бывает ли легко на войне?

Снега сошли с опозданием, и черноземные просторы резко контрастируют с голубизной неба. Я кое-что узнал в Кировограде об этих просторах: в незасушливые годы с них снимают урожай, вчетверо превышающий довоенные, считавшиеся рекордными. Чернозем Кировоградчины — самый глубокий в республике, самый плодоносный...

В русской речи есть слова, несущие двойную нагрузку, в виде двух понятий и двух значений. Они близки друг другу, связаны единым именем, но и вполне самостоятельны.

Это Мир и Земля.

Земля и мир.

Мы именуем миром земной шар, планету свою называли Землей. Но еще понятие «мир» включает в себя все, что противостоит войне, что так дорого людям всегда, а особенно в наше время ядерной угрозы.

И у слова «земля» есть второе, не уменьшительное, но уменьшенное, ставшее обиходным значение. Земля, почва, она может быть песчаной или глинистой, черной или красной; ее можно держать в горсти, просыпать между пальцами. В нее надо бросать зерна, и она вернет их стоицей...

Наверное потому так больно отозвался в моем сердце рассказ одного из пожилых местных товарищей, колхозника с 1930 года: оккупанты заставляли снимать лопатами верхний слой кировоградского чернозема, грузили его в товарные вагоны, согнанные сюда со всей оккупированной Европы, и увозили землю в Германию.

Они захватили и силились украсть даже землю, не говоря уж о рудных и топливных богатствах недр, а еще хватали все, что под руку попадет. (В размытом оттепелями и туманами начале сорок пятого года в аккуратных и добротных полугородских домах пруссаков мы обнаруживали доскуты рушников, вышитых алыми петухами, тех самых, переходивших в наших хатах от прабабушек к бабушкам, находили макитры и миски — немудреные изделия кировоградских гончаров...)

Чернозем обратно не вернешь...

Земля родная...

Названия сел выплывают из забвения. Некоторые имена я запомнил неправильно. Вот Копенковатое, а я почему-то все твердил — Копенковата, Копенковата...

Мост через реку. Она, если можно так выразиться, компактна, не расходится на волошки и русла, не раскидывается в плесах — видимо, вся ушла в глубину и в крутых берегах течет быстро (где-то повыше ее образуют две речки с сичевыми именами: Горный и Гнилой Тикичи). Такую водную преграду сложно форсировать, а понтонные парки 6-й и 12-й армий, сколько я помню, еще в июле были отправлены на Днепр, и у нас переправочных средств не осталось: Но об этом потом...

Вода синевато-вороненая, поблескивает. Это река Синюха...

Та самая Синюха, что запомнилась красной от крови. Тогда, в августе сорок первого, бойцы прозвали ее Краснойхой. Нет, я не пользуюсь художественными образами, мне не до образов. Местные жители подтверждают, что в начале августа 1941 года вода в Синюхе стала розовато-коричневой и пить ее было нельзя. Позже в одном из писем ветеранов я прочитал: «Воды реки стали седыми от пепла».

В Новоархангельске в нашу машину садятся секретарь райкома партии Иван Зубец и председатель райисполкома Тамара Наута. Она депутат Верховного Совета республики как раз от этих мест. Не проехав и километра, мы станем добрыми знакомыми, а еще через километр —

друзьями. Тамара Наута, видимо не умеющая, не способная быть просто пассажиркой, привыкшая постоянно что-либо организовывать, властно берет на себя обязанности хозяйки, а заодно и экскурсовода.

Справа от шоссе — высокая дубрава. Еще не зазеленели ветки, но как знаком мне этот не очень ровно саженный лес, где пространство между шеренгами деревьев простреливалось насквозь!

— Узнаете Зеленую браму? — не то спрашивает, не то утвердительно говорит Тамара Наута.— Между прочим, это урочище, то есть лес, имеет хозяйственное предназначение: в свой срок определенная часть деревьев подлежит вырубке и должна поставляться как сырье мебельной фабрике. Но древесину из Зеленой брамы фабрика не принимает: в стволах дубов прячутся осколки снарядов и бомб, пули, всякий металл. С дубом у нас сплошные неприятности. Пилы выходят из строя. Дешевле везти сырье из-за Волги, из краев, где не было войны, чем использовать местную древесину.

Огорчения председателя райисполкома пробуждают у меня смутную догадку: может быть, в каком-то из деревьев Зеленой брамы, нарушив порядок годовых колец, прячутся осколки немецкой мины или снаряда, один из которых закапсулировался в моем теле. Выходит, я с тем деревом родственник...

На опушке — памятный знак из красного гранита. На лицевой стороне высечено:

«В этих краях 2—7 августа 1941 года вели героические бои воины 6-й и 12-й армий под командованием генералов И. Н. Музыченко и П. Г. Понеделина.

Вечная память героям, погибшим за Советскую Батьковщину».

Тамара Наута скороговоркой сообщает, что красный гранит — местный, кировоградский, что округа богата его залежами. Начата разработка карьера, и из этого самого гранита сооружена могила Неизвестного солдата в Москве.

Так, значит, здесь, на опушке Зеленой брамы,— подвысокое отделение могилы Неизвестного солдата!

Неизвестный солдат...

Но мне-то он известен. Я знал его, видел в яростной штыковой атаке. Видел, как он умирал с обидой в гаснущих очах: мало удалось уничтожить врагов, несправедливо мгновение, когда пуля ворвалась в него и нестерпимо жжет изнутри...

Я прикасаюсь рукой к холодному граниту. Если янтарь — смола древних деревьев, то красный гранит, быть может, окаменевшая человеческая кровь?

Около памятного знака — группа пионеров. Двое держат высоченный золотой каравай на холщовом полотенце, расшитом украинским узором, красной ниткой. Таким рушником по совету генерала Огурцова кавалеристы примотали меня к седлу, чтоб я, раненный, не свалился с коня. Как мне повезло тогда: пробив каску, осколок потерял убойную силу, вонзился в голову, но глубоко не проник!

Нахожусь в каком-то странном, быть может, подобном невесомости состоянии: со мной ли все это происходило и происходит? Смутный страх гнездится где-то на дне сознания — вот сейчас еще один осколок или пуля, пущенная тогда, тысячи раз уже облетевшая вокруг Земли, здесь, в Зеленой бреме, все-таки настигнет меня...

Мы стоим, сняв шапки, и теплый, весенний ветер пошевеливает наши седые волосы. А что говорит девочка с косами, такими же золотыми, как каравай, лежащий на ее вытянутых руках?

Хозяйка района Тамара Наута, видать, заметила, что я не в себе. Ишь поэт размечтался, а тут мероприятие! Она вежливо, но четко поворачивает меня, чтоб я принимал хлеб-соль по всей форме, не растерялся, когда надо будет поцеловать каравай.

Но что говорит девочка с косами?

— Примите. Наш хлеб выращен на нивах, политых кровью ваших боевых друзей!

Откуда, из каких сердечных глубин добыла пионерка столь проникновенные слова? Ведь она знает Великую Отечественную войну лишь по рассказам дедушек да по учебнику истории. Или существуют радиоволны, идущие из глубин времен, и не пули и осколки, метящие мне в сердце, а эти волны благодарной человеческой памяти идут от поколения к поколению, живут на земле и во вселенной?

Вы слышите голос пионерки, товарищи по сорок первому году — защитники нашей государственной границы, герои Перемышля и Львова, участники танкового сражения под Бродами, схваток под Монастырищем и Погребещем, круговой обороны в Зеленой бреме, мученики Уманской ямы, подпольщики Винницы, готовившие взрыв ставки Гитлера, партизаны Норвегии и Франции, погибшие и живые красноармейцы, командиры 6-й и 12-й армий Юго-Западного направления?

Вы слышите голос пионерки, те немногие, кому посчастливилось после долгих мучений перейти фронт, вновь стать в строй атакующих, выстоять под Москвой, защищать Сталинград, еще раз перейти Днепр — ступить с его левого берега на правый, отомстить за Подвысокое в Корсунь-Шевченковской битве, вернуться на госграницу, а потом пройти до Вены и Белграда, до Праги и Берлина?..

В селе Подвысоком местные жители взяли гостей в плотное кольцо. Опять окружение, только совсем иное... Всматриваюсь в лица: может, узнаю кого? Но, кажется, все здесь моложе событий, на место которых прибыл я более чем через треть века.

Идем по селу. Оно неровно раскинулось на холмах, и это — единственное, что соответствует сохранившемуся в моей памяти. Но уже и сады другие (век яблони и вишни куда короче человеческого), и хаты непохожи на те хаты; ни одной нет под соломенной крышей, торжествует оцинкованное железо. Новое здание десятилетки появилось на месте низенькой деревенской школы, где размещался штаб немецкой дивизии, куда нас приволокли, захватив в плен. Парты тогда были выброшены на улицу и стояли полукругом, словно бы с укоризной поглядывая на школу, изменившую своему назначению.

В толпе, сопровождающей нас теперь, — улыбчивая женщина в дубленке. Поправляя седые волосы, выбивающиеся из-под платка, приближается ко мне вплотную и сообщает, что это она, учительница здешней школы, и ее ученики присылали мне поздравление с праздником Победы еще в 1950 году. Теперь она на пенсии, а ее ученикам, поздравившим меня, — уже за сорок. Вот какие дела!..

А где усадьба, в которой размещался перед неудавшимся прорывом штаб группы Понеделина (так именовались объединенные управления 6-й и 12-й армий)? На ее месте, оказывается, стоит ныне двухэтажный универмаг из силикатного кирпича, с огромными зеркальными стеклами. Но память жива: на гранитных досках высечены надписи, свидетельствующие, что в августе 1941 года здесь был командный пункт.

Напротив высится здание Дома культуры с вместительным зрительным залом, с танцевальным фойе, кабинетами для клубной работы. Здание, как говорится, типовое. По пути сюда в селах, которые мы проезжали, я видел несколько таких же Домов культуры. Но то и хорошо, что их много, что они стали неременной принадлежностью современного села.

Самое важное и волнующее в подвысоцком Доме культуры — народный музей. Здесь мы узнаем о трех стоянках древнего человека эпохи неолита, обнаруженных в районе Подвысокого, о следах трипольской культуры, об инвентарной переписи 1771 года, когда в селе было 277 дворов, о том, как правили этой своей вотчиной графы Потоцкие и как вспыхнуло пламя народной борьбы.

История ведет нас от стенда к стенду. Вот уже 1924 год — возникновение в Подвысоком первого пионерского отряда, организация ликбеза, создание библиотеки. Вот 1929 год — коллективизация.

А на следующем стенде — времена, которые я воспринимаю не как историю, а просто как дни собственной жизни: постепенно вновь превращающаяся в рыхлую руду сталь карабинов и автоматов, солдатские котелки и противогазы слоновьего профиля, давнего осоавиахимовского образца.

Мне трудно оторваться от этих экспонатов под стеклом, трудно себе представить, что проржавели, прохудились, рассыпались вороненые стволы оружия, из которого мы вели огонь, а вот сами мы живы и стоим над этим прахом. Значит, сравнение человека со сталью и ее закалкой — лишь образ. В жизни человеческая закалка для стали — образец.

Поднимаю глаза и вздрагиваю.

Со всех сторон глядят на меня боевые мои товарищи — в гимнастерках со шпалами и «кубарями», в фуражках с треснувшими козырьками. Некоторые в современном обличье — в пиджаках и штатских пальто, в золоте погон.

Преобладают все же фотографии старые, наверное много раз переснятые со случайно сохранившихся документов.

Удивительно свойство портретов: под каким углом ни стань, а застывшие на портрете глаза, как живые, следят за тобой, движутся, наблюдая.

Дольше других не отпускает меня от себя портрет человека с добрым широким лицом, овал которого близок к кругу. На черном, явно выходном сюртуке — ордена Ленина и Трудового Красного Знамени. Узкие прорезы глаз поучительно зорки.

Что это за генерал?

Девочка-школьница, экскурсовод, отвечает:

— Нет, он не генерал, а почти рядовой красноармеец. Был младшим политруком, старшиной, но в общем-то рядовой. Только в нашей экспозиции он как бы первое лицо. В том смысле, что музей наш и поиск пионерский именно с него начались. Это новая фотография, недавно прислана из Верхневилуйска.

Дорогой читатель, не жди стройности и последовательности от моего повествования. Я должен скорее рассказать о якуте Михаиле Андреевиче Алексееве, невольном ставшем зачинателем подвысоцкого музея.

В конце шестидесятых годов попалась здешним школьникам на глаза газета «Известия» с корреспонденцией Э. Максимовой. Там рассказывалось о замечательном педагоге, создавшем в глубине Якутии свою систему обучения, выявления талантов и способностей детей, заслуженном учителе РСФСР и своей автономной республики. Попутно сообщалось, что этот учитель М. А. Алексеев¹ был младшим политруком и в августе сорок первого воевал на реке Синюхе.

Пионеры послали ему письмо и получили ответ. Это ответное послание из Верхневилуйска, датированное 1969 годом, и стало первым экспонатом народного музея.

Михаил Андреевич писал: «Земля, на которой стоит ваша школа, пропитана кровью героев нашей Родины. Там, при неслыханной в истории войн попытке выхода из окружения штыками, легли тысячи неписанных героев».

Учитель Алексеев утверждал, что все расстояние и время — от Перемышля до Подвысокого — это один бой, практически непрерывный. Кульминации своей он достиг в Зеленой бреме. Окруженные там советские войска в ночь на 6 августа вывесили на опушке длинное кумачовое полотнище с размашисто написанным известью проклятием фашистам. Слова были соленые, крепкие — нечто вроде ответа запорожцев султану.

Аккуратным учительским почерком Алексеев описал ту страшную ночь, когда бойцы 99-й стрелковой дивизии многократно поднимались в штыковую атаку. После одной из таких атак Михаил Андреевич, весь израненный, очнулся в плену. Только встал на ноги — бежал. Прямая внешность мешала ему скрыться. Его вновь хватали жандармы, полицаи. Он вновь и вновь бежал. Хранил и сохранил под лохмотьями, как святыню, свою алую звездочку с пилотки и пуговицы с гимнастерки.

В заключение учитель из Верхневилуйска призывал подвысоцких школьников собирать сведения о боях, напоминал, что в Зеленой бреме закопана документация многих штабов и политорганов, а также личные документы его товарищей. «Ищите! Это будет что-то новое в истории...»

¹ 17 июня 1982 года Президиум Верховного Совета СССР присвоил М. А. Алексееву звание Народного учителя СССР.

Память об августе сорок первого года жила, разумеется, в этих краях, но неслись десятилетия, и она становилась как бы пассивней. Конечно, подновлялись оградки на братских могилах, возлагались венки. Иногда приходили в Подвысокое письма от родных и близких — запросы о погибших, об исчезнувших...

Бывало и такое: сходил с автобуса (железнодорожная станция далеко отсюда) человек незнакомый, явно приезжий... Разные появлялись гости, но как бы общий знаменатель, рассказывают жители села, седина, а на лбу и на скулах — сразу не различишь — то ли морщины, то ли шрамы.

Незнакомцы оглядывались настороженно, держались сторонкой. Одного пионеры застали что-то откапывающим в глубине леса, а другой вошел без стука в крайнюю хату на Зеленобрамской улице, опустился на колени перед хозяйкой, целовал ее старые жесткие руки, а слова ни одного выговорить не мог — захлебывался немим рыданием.

Хозяйка его не узнала: тогда, в августе, столько перепрятывали, переодевали, столько промывали страшные раны, столько белья и рушников израсходовали на бинты.

Разве всех тогдашних, всех перебывших упомнишь?

Да и времени прошло много...

Запомнили, конечно, оставшихся после боев в селе, ставших подпольщиками да партизанами. Но и они с войсками ушли на запад после освобождения этих мест, ушли и уже не вернулись.

В этих красивых местах, на идиллических берегах реки Синюхи и в зеленой-презеленой Зеленой бреме, жила еще смутная, как ночной туман, память о штыковых атаках на опушке, о раненых в исподнем и бинтах — в одной руке костыль, в другой — взведенная граната, — о комиссарах в кожаных тужурках, хрипло кричавших: «За мной! За Родину!»

Не забыли люди старшего поколения, как они по приказу фашистов стаскивали трупы их солдат — горных егерей и штабелями складывали в грязи у дорог. Дождь почти не унимался в те дни, чернозем раскис до невозможности.

Забыть нельзя, как жандармы с литыми металлическими бляхами на груди собирали израненных, шатающихся от голода красноармейцев, волокли за колючую проволоку, расстреливали безоружных.

Однако очень многое оставалось в тумане, в неопределенности, в тревожном умолчании.

События в Зеленой броне толковались по-разному. Что это было — дикое побоище или героическая битва? Каково значение боев в Зеленой броне для того времени и для последующей нашей Победы? Что скажут о них потомки и почему молчат современники?

Вопросов возникало множество. Только все они как бы повисали в воздухе. Письмо из Верхневилуйска оказалось своего рода поворотным пунктом, толчком к созданию музейной экспозиции, началом многолетнего поиска.

Первым мне показал этот документ подчеркнуто спокойный, исключительно сдержанный, неторопливый в движениях учитель истории Дмитрий Иванович Фартушняк. Я еще не знал тогда, что он, именно он объединил своих учеников вокруг народного музея.

Поначалу Фартушняк показался очень молодым. Я даже составил для себя такую легенду: человек, не видевший войны, вместе с ребятами, родившимися через двадцать лет после нее, знает куда больше меня про то, что здесь творилось в моем присутствии, и мне необходимо с их помощью разобраться в этом. Ведь я видел тогдашние события сквозь пропыленную марлю сползшей на глаза повязки, сквозь красный туман контузии.

Видел рукопашные схватки — они отпечатались в памяти, как древние барельефы. Видел гибель товарищей и смерть ненавистных врагов. Слышал проклятия и клятвы, хриплые призывы «вперед!» и сам проклинал и клялся... А все-таки насколько легче и счастливее тысяч судеб оказалась моя судьба! И разве это не обязывает меня, оставшегося тогда в живых, участника последующих победных битв — Сталинградской, Курской, Белорусской, участника освобождения Польши и штурма Берлина, — разве это не обязывает меня, одного из немногих, вырвавшихся из Подвысокого, постоянно помнить о горестных августовских днях сорок первого года? Разве не должен я сделать все от меня зависящее, чтобы та все еще не вполне проявленная страница истории четко и определенно проявилась для современников и потомков?

Кажется, такие же чувства владеют и директором народного музея, заслуженным работником культуры УССР Дмитрием Ивановичем Фартушняком. Я быстро разобрался в своей ошибке — учитель немолод, он из моего поколения. Не от него самого, от других людей мне удалось узнать, что подвысоцкий учитель истории воевал с рассвета 22 июня, был ранен, попал в плен, бежал, вновь воевал, освобождал страны Европы, заслужил орден Славы...

После Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии, после прихода мира в Европу довелось Фартушняку воевать еще и на Дальнем Востоке.

Живая география, открывшаяся перед молодым историком, разбередила в нем интерес к языкам. Изучение их стало постоянной потребностью, и теперь он владеет французским, немецким, английским, испанским, чешским, норвежским, болгарским, румынским. Школьный клуб международной дружбы ведет переписку с детьми и юношами всех континентов, что не представляет трудности, так как Фартушняк свободно переводит любой текст, написанный латинским шрифтом, — я тому свидетель.

Получив высшее образование уже в послевоенные годы, Дмитрий Иванович, так же как и его якутский коллега М. А. Алексеев, нашел свое место в так называемой «глубинке». Здесь он тоже почтеннейший человек и кумир своих учеников. Да и не только здесь. Добрая слава о нем вышла далеко за пределы Подвысокого.

Вот что писал о подвысоцком историке знаменитый советский педагог Сухомлинский (богата Кировоградчина замечательными педагогами!): «Живет у нас в Кировоградской области, в селе Подвысоком, учитель Дмитро Иванович Фартушняк. Преподает историю в десятилетке. Это чудесная личность. Перед ним снимают шапки все — от седого старика до маленького ребенка, уважая в этом человеке невиданное, без преувеличения, дивное богатство знаний. Дмитро Иванович изучил тысячу первоисточников из истории нашей Батьковщины и зарубежных стран. Проживая в селе, он самостоятельно овладел девятью языками. Он в оригинале читает Шекспира и Сервантеса, Гете и Сент-Экзюпери. Уроки истории для его воспитанников стали настоящими праздниками...»

Между Якутией и Украиной, между Верхневилуйском и Подвысоким, между двумя беззаветными воинами, ставшими учителями, как между двумя полюсами, возникло магнитное поле дружбы, взаимодействия и, наверное, взаимообогащения. С 1963 года Фартушняк, его сотоварищи-педагоги и их ученики собирали материалы по истории села от древних времен, а с 1969 года к этому прибавилось восстановление картины отгремевшей здесь битвы в относительно недавнее время — в августе сорок первого года. Перед глазами родившихся позже из-за туманной завесы лет стала явственно проступать одна из невоспетых, необъясненных страниц истории Великой Отечественной войны.

Я приехал в Подвысокое, рассчитывая погостить там всего один день. Завтра уеду в Новоархангельск, в Новоукраинку и, может быть, никогда уже не вернусь на место своей несостоявшейся гибели. Пионеры Подвысокого будут по-прежнему писать мне по праздникам. Я постараюсь вовремя поздравлять их... Но утолю ли я таким образом жгучую жажду узнать все, что еще можно узнать о происходившем на этих землях со мной и с моими боевыми товарищами летом 1941 года?

Или я обязан отныне объединиться с кровными своими земляками, с теми, кто родился позже, и искать, искать, чтобы поведать людям о суровом сражении?

Ночные раздумья в Подвысоком

Меня поставили на квартиру в семью старого учителя-пенсионера по фамилии Выхристюк. Учитель и его жена-фельдшерница всю жизнь трудились здесь, вырастили детей, теперь живут вдвоем. Они радушно предоставили мне одну из комнат, куда Дмитрий Иванович Фартушняк вместе с товарищем по работе, Григорием Куприяновичем Симоненко (одному не под силу было!), принесли объемистые папки с интересующими меня материалами народного музея.

Заслуженный учитель УССР Григорий Куприянович Симоненко, секретарь парторганизации школы,— человек немногословный, тихий, с приветливым лицом. Глядя в его глаза, никогда не представишь себе, сколько горя они видели...

В 1943 году Григория — тогда еще подростка — угнали в Германию.

Бежал. Его поймали, он стал не просто острабочим, но политическим преступником, узником Освенцима, а затем и Дахау. Новый побег (уже победной весной)... Беглеца, скрученного брюшным тифом, нашли в лесу американцы. По выздоровлении он вернулся на родину...

Ни Фартушняк, ни Симоненко не были свидетелями местных событий, по которым теперь, как по кругам ада, ведут своих учеников. Но собственные жестокие судьбы дали им ключ к этим, окованным шипами, оплетенным колючей проволокой воротам истории.

Время за полночь. Мои хозяева отдыхают, учителя разошлись по домам, а я сижу, разложив на обеденном столе карты, схемы, книги военных мемуаров, пачки писем.

Наверное, уснуть не удастся. Мне предоставлена возможность — в который уже раз! — но впервые вот здесь, в Подвысоком, восстановить в памяти события 1941 года, проверить на местности, уточнить, подкрепить собственные, наверное слишком субъективные, воспоминания сведениями из позднейших источников, быть может более объективных.

Итак, что же произошло в Зеленой бреме?

На основе скурых документов и свидетельств очевидцев юные следопыты составили историческую справку, в которой вырисовывается такая картина:

Две наши армии (6-я и 12-я), ведя упорные бои с первых часов войны, к началу августа 1941 года были оттеснены в район Умани и окружены здесь превосходящими силами противника. В окруженных стрелковых дивизиях — лишь по нескольку сот штыков. В танковых соединениях уже не оставалось танков.

Еще до полного тактического окружения — к 25 июля — ослабленные войска этих двух армий фактически слились, это подтверждено приказом Ставки Верховного Главнокомандования. Они получили наименование «группа Понеделина» и тогда же были переданы из состава Юго-Западного фронта в состав Южного. Переподчинение войск, ведущих бой в замыкающемся окружении, — дело непростое. Мера эта была вынужденной: противник отрезал 6-ю и 12-ю армии от двух других армий Юго-Западного фронта, а локтевое соприкосновение с левым соседом — армиями Южного фронта — еще существовало (правда, недолго).

Мне кажется, что в рассуждениях о войне, в частности о сорок первом годе, сетуя на наши неудачи, обсуждая задним числом и подчас осуждая тогдашние решения и приказы, мы сплошь да рядом не принимаем во внимание временных, но очень тяжелых для нас успехов врага. Обстановка ведь была критической, положение наше — отчаянным. И прежде чем кого-то или что-то осуждать, следовало бы ответить на главный вопрос: было ли сделано командиром любого ранга и подчиненными, и войсками все, что возможно сделать именно в тех условиях?

Рассматривать окружение в Зеленой бреме отдельно от всех прочих событий первого периода войны нельзя — мы не восстановим всей картины и места этих боев на двухтысячекилометровой линии схватки двух миров.

Тяжело было не только на нашем участке, не только на Украине, но и на Севере, и под Ленинградом, враг приближался к Москве, уже была потеряна Прибалтика, оккупирована Белоруссия...

Зеленая брама — всего лишь один из квадратов карты...

Нам было невыносимо тяжело, так же как и другим фронтам, армиям, дивизиям, полкам, батальонам, ротам.

И все же к концу июля 1941 года всему миру стало видно, что рухнет гитлеровский план «Барбаросса», рас-

считанный на молниеносную победную войну с «большевистской Россией».

Это стало понятно даже опьяненному успехами фашистскому командованию — есть немало подтверждающих документов. Это почувствовали и рассчитывавшие на легкий и прибыльный поход немецкие солдаты. При выходе из окружения я слышал разговор в хате. Один храбрый гренадер изрек: «Мы возьмем всю Россию, но в последний советский город войдет последний немецкий солдат», и никто из товарищей по взводу не возразил ему.

Ну, а мы? Что мы думали, что мы чувствовали?

Мы иступленно, свято, бескомпромиссно верили в нашу победу. Никогда так плотно не смыкались судьба Отечества и судьба каждого ее сына.

Участь Франции и других покоренных стран Европы здесь не повторится! — с этой убежденностью бросались мы в неравный бой.

Время — бинокль Истории.

Не перевернутый, уменьшающий, а бинокль в основном своем предназначении. Его увеличительные стекла — последующие события. То, что поначалу кажется обыденным и несущественным, может со временем оказаться огромной величиной, заслоняющей многое из того, что когда-то волновало и даже потрясло нас. Потому-то очевидцу выступать в роли историка сложнее, чем людям, непричастным лично к минувшим событиям, рассматривающим эти события со стороны. И все же я рискну.

Не собираюсь реабилитировать ошибки и смягчать беды 1941 года. Они остаются всенародной драмой. Но за драмой, как известно, последовало торжество Победы, которая никак не далась бы нам без отваги и выдержки защитников Бреста и Либава, Перемышля и Заполярья. Городами-героями названы не только выстоявшие Москва и Ленинград, не только Сталинград, но и, выражаясь старомодным языком, павшие в 1941 году Одесса, Киев. На этом основании я беру на себя смелость называть участников боев у Подвысокого — и тех, кто убит в Зеленой бреме, и тех, кто с величайшими муками выбрался из нее, — истинными героями, а не жертвами войны...

В хатах Подвысокого давно погашены огни. Цепочка фонарей освещает улицу, и мимо моего окна проходят обнявшись двое молодых людей, конечно же родившихся много позже событий, заставляющих меня не спать в эту ночь.

Хлопотливые мои хозяева тоже, кажется, не спят, о чем-то тихо разговаривают в смежной комнате, отделенной портьерой. Ведь и они фронтовики. Мое появление в этом доме, наверное, нарушило не только привычный распорядок, а и растревожило души.

Возвращаюсь памятью к 1941 году.

30 июля танковые дивизии Клейста прорвались через Шполу к Новоархангельску, 2 августа они вышли к Первомайску и соединились с 17-й полевой армией. Вокруг группы Понеделина образовалось двойное кольцо.

Командованию Юго-Западного направления еще в середине июля стало ясно, что противник стремится окружить 6-ю и 12-ю армии. Однако разгадать замысел противника — это еще не значит сокрушить его. Были приняты срочные меры: в помощь изнемогающей в боях пехоте направляется 2-й мехкорпус генерала Новосельского. Кстати, это единственное соединение, прибавившееся к войскам 6-й и 12-й армий с начала войны.

Перед тем 2-й мехкорпус уже выдержал тяжелые бои в Молдавии, да и до них он не был укомплектован полностью. Броневая мощь группы Понеделина не слишком возросла. Тем не менее, вступив здесь в бой 20 июля, танкисты держались стойко, ощутимый урон нанесли врагу под Христиновкой и даже продвинулись вперед на пять-шесть километров, но притом и сами практически потеряли последние танки.

В мехкорпус Новосельского входила 11-я танковая дивизия, которой пришлось сражаться с немецкой танковой дивизией с таким же номером. Ветераны-танкисты Константин Бурин и Александр Баренбойм нашли в архивах и прислали мне некоторые данные о боевых действиях их дивизии, вырвавшейся из кольца и позже ставшей 4-й гвардейской танковой бригадой.

Политдонесение от 27 июля:

«21—23 июля дивизия вела бои с противником, который стремился прорваться к Умани. Противнику нанесены большие потери, он отступил, оставив на поле боя подбитые танки, орудия, машины. 11 ТД (немецкая) отступила...»

Сохранился интереснейший документ — наградной лист на старшего лейтенанта Алексея Ивановича Бабку:

«...В боях в районе Умани 21—30 июля рота проявила образцы мужества и храбрости. Десантом на танках проникла на 30 км в тыл противника, внезапно налетела и разгромила штаб немецкого корпуса... Ст. лейт. Бабка лично снял охрану, ворвался в помещение штаба и расстрелял

офицеров; доставил ценные сведения и документы... Тов. Бабка два раза водил роту в атаку в штыковой бой...»

Танкисты, идущие в штыковой бой. Невероятно. Но так было.

Должен покаяться перед читателем: цитируя этот документ, я очень хотел, мягко говоря, «опустить» строку насчет того, как этот Бабка забрался на тридцать километров в глубину захваченной противником территории. Задумывался: может быть, прорвались километра на три, так и сообщили, а при передаче откуда-то выскочил еще и нолик да и прикрепился, и само собой утвердилось, что тридцать километров.

Когда первое издание этой книги было уже сверстано и у меня оставалось на поправки несколько часов, я отправился в издательство с твердым намерением вычеркнуть строку о тридцати километрах. Выйдя из дому, встретил почтальона, он вручил мне очередную пачку писем.

Читал их, едучи в автобусе.

Первое оказалось от человека, который был в сорок первом мальчиком и жил в селе севернее Умани. Материнская хата — рядом со школой.

Село было занято противником, оккупанты вели себя так, будто обосновались здесь навсегда. В школе остановился какой-то, видимо крупный, штаб. Немцы, явно довольные тем, что оказались в глубоком тылу, благодумствовали, поставили на крыльце школы граммофон, слушали танцевальные песенки.

И вдруг, среди бела дня, откуда-то нагрянули три танка с красными звездами на башнях. С брони соскочила группа бойцов — десант. Началась в штабе страшнейшая паника, да еще и под музыку. Граммофон с раструбом, как гигантский цветок повилики, продолжал играть. Советские танкисты выскочили из люка, в школе стрельба, крики, суматоха. Отстреливаясь, два танкиста, заскочившие в школу, вернулись к танку, все три машины развернулись, и, как говорится, поминай как звали.

Второе письмо было от ветерана Ивана Трофимовича Струпова, который называет себя одним из тех, кому гитлеровцы не дали доспать 22 июня. Он служил в отдельном разведбатальоне и помнит, как прибывшие из Молдавии танки генерала Новосельского с марша вступили в бой, погнавши фашистов от Умани, потеснили их километров на тридцать. (Вновь та же цифра — тридцать километров!)

Я погасил свои сомнения, оставил эту страницу в неприкосновенности.

В начале августа маршал С. М. Буденный приказал генералу Ф. Я. Костенко вести на выручку окруженным 26-ю армию. Она грозно двинулась на врага. Ей удалось, идя навстречу войскам, пробивавшимся из окружения, врезаться в боевые порядки противника на глубину до 20 километров. Но 7 августа возникла критическая ситуация под Киевом, и пришлось 26-ю армию повернуть туда. А все же командование Юго-Западного фронта, отдавшее группу Понеделина Южному фронту, продолжало искать пути к ее спасению.

Ослабленный и измотанный боями, Южный фронт тоже пытался выручить окруженных. В районе Первомайска, намеченного как место нашего выхода из окружения, действовала 18-я армия — ею командовал мужественный генерал Андрей Кириллович Смирнов (он погиб в начале октября 1941 года на земле Запорожья). Этой армии тоже угрожало окружение, противник старался отсечь ее от соседа — 9-й армии, а все же она вновь и вновь бросалась в атаки, чтобы оттянуть мощь врага на себя и образовать коридор, по которому могли бы вырваться на юг наши части. Советская система взаимной выручки действовала и в этом тяжелейшем положении, сложившемся на юге нашего государства.

Спасибо войскам 26-й армии.

Спасибо войскам 18-й.

Их действия по спасению окруженной группировки не должны быть забыты.

Тяжелы были гири на весах войны! И не вдруг определишь, какая из них перетянет на весах Истории...

Попытки высших штабов связаться с окружаемыми и окруженными войсками предпринимались вновь и вновь и постепенно обрели отчаянный характер. И вот — последний день июля.

В распоряжении Южного фронта находилась эскадрилья самолетов У-2, или По-2 («кукурузников»). Эскадрилья входила в состав 169 авиаполка гражданской авиации.

31 июля пилот Виктор Шершов и механик Михаил Г. получили задание отвезти пакет в штаб 6-й и 12-й армий в город Умань, вернуться с ответом...

Летчикам полагалось доставлять делегатов связи с пакетами («делегат связи» — так тогда именовался офицер связи), а не просто пакеты. Однако данный случай носил характер чрезвычайный, могли полететь лишь двое, в полете по неизведанному маршруту механик был необходим.

Шли на бреющем, 5—7 метров над землей. Не долетев до Умани километров 30, увидели большое скопление войск и, убедившись, что это наши, произвели посадку на поле.

— Умань в наших руках? — спросил пилот у артиллеристов, как ему показалось, напряженно стоявших у орудия.

— Утром еще была нашей. Улетайте поскорее, разве не видите, подходят ихние танки! Сейчас будем бить... Самолетик взмыл над полем боя и вскоре приземлился на уманском аэродроме.

Город горел. Шершову выделили полуторку, он помчался в парк Софиевка. Дежурный по штабу принял пакет и вскоре вынес другой — на имя маршала Буденного.

Вылетев из пылающей Умани, самолет взял курс на юг.

Вновь маршрут проходил над скоплением войск. Пыль на дорогах не позволяла различить, свои внизу или противник.

Вдруг мотор стал давать перебои. Шершов почувствовал резкую боль в ноге. Мотор замер. Самолет скапотировал на нескошенную ниву. Пули пронизывали брезентовую камуфлированную обшивку самолета.

Пилот, как ему казалось, быстро пришел в себя, выбрался из-под обломков, окликнул механика. Но Михаила Г. не было возле машины, следы, врезавшиеся в высокую траву, показывали лишь направление его бегства.

Отстреливаясь, Шершов уничтожил пакет. Это ему удалось.

Раненый пилот гражданской авиации был схвачен мотоциклистами, когда от пакета ничего не осталось.

Он хлебнул лиха, а все-таки бежал из-под охраны и направился на восток. Слово «бежал» употреблено мною условно — Шершов ковылял на костылях до самой линии фронта, нашел свой полк и узнал, что механик Михаил Г., бросивший своего пилота, значительно раньше выбрался и явился в часть с рассказом, как погиб его командир.

На основании показаний механика имя Виктора Шершова занесли в потери полка, семье послали «похоронку».

...Виктор Васильевич Шершов и поныне служит в гражданской авиации, учит орлят летать над просторами Сибири. Его самоотверженный труд отмечен орденом Октябрьской Революции.

Ну, а как сложилась судьба механика Михаила Г. и почему я не публикую его фамилии?

Шершов ни в чем не стал обвинять Михаила Г., но само возвращение пилота стало приговором трусу, бросившему

раненого командира и товарища. Может быть, хорошо во-евал потом человек, проявивший малодушие, но не поднимается у меня рука написать его фамилию в повествовании о героях сорок первого года...

Вероятно, Шершов доставлял очень важное донесение.

Враг не узнал, а теперь уж никто никогда не узнает, что докладывал штаб окруженных войск маршалу Буденному...

Я листаю не труды профессиональных военных историков, а материалы, собранные юными следопытами. Они записали: «В междуречье Большая Виска — Синюха — Ятрань попали в окружение 65 тысяч советских воинов».

Я не встречал этой цифры в печати. Как очевидцу и человеку не совсем военному, мне трудно судить, насколько она точна. Одно могу утверждать, опираясь на вполне достоверные документы: в окружении оказалось более десяти госпиталей, переполненных ранеными. А это уже многие тысячи человек. Вспоминаю: в группе бойцов, которых я и незнакомый мне дотоле старший батальонный комиссар повели в атаку, чтобы вырваться из кольца, раненые составляли подавляющее большинство; они ковыляли в нижнем белье, иные опираясь на розданные им винтовки, как на костыли.

Ну, а что представлял из себя противник?

На этот вопрос ответил следопытам-пионерам генерал-лейтенант Баграт Исакович Арушанян. Вот его письмо, написанное мелким, но твердым почерком. Очень объемистое письмо, и в основе его — большая статья, опубликованная генералом в «Военно-историческом журнале».

Генерал Арушанян с группой бойцов вырвался из окружения.

Я встретился и познакомился с бывшим начальником штаба 12-й армии, начальником штаба группы Понеделина через много лет после событий.

В Подвысоком мы не встречались — хотя две армии слились, я все же принадлежал 6-й армии, а Арушанян был из 12-й.

Но я знал о нем, читал потом в годы нашего наступления его фамилию в победных приказах Верховного Главнокомандующего, был уверен, что упоминается тот самый Арушанян.

Приехав из Подвысокого, я перелистал московскую телефонную книгу и сразу нашел его телефон.

Оказалось, что мы живем по соседству — из окна моего кабинета можно увидеть его окна.

И невозможно самому себе объяснить, и непонятно, как и почему мы не нашли друг друга, не встретились раньше. Ведь так просто было это сделать и так нужно!

Старый воин встретил меня так, будто мы виделись только вчера.

— На чем мы остановились?

И я понял, почему так потянулись душой к Арушаняну пионеры Подвысокого, Каменечья, Копенковатого и других сел, стоящих на берегах Синюхи и Ятрани.

Есть люди, вокруг которых сразу возникает магнитное поле доверия. У него удивительно ясный взгляд и лицо сохраняет несколько удивленное выражение. А улыбка вообще почти детская.

Генерал-лейтенант развернул карты и схемы, показал мне лекторской указкой положение на первое августа, на все другие числа.

Я увидел в его кабинете шкафы с плотно выстроившимися на полках материалами. Он сосредоточил свою исследовательскую деятельность на сорок первом годе, хотя и после занимал высокие командные и штабные посты и участвовал во многих победных сражениях.

Я почувствовал, что наши трудные две недели он полагает важнейшим периодом своей жизни.

Показал он мне и папки с письмами. Ветераны обращаются к нему, как к старшему начальнику, оставшемуся за командующего, за всех в группе Понеделина.

На основании изучения наших, к сожалению, скудных оперативных документов, а также трофейных карт и вышедших на Западе книг Баграт Исакович составил достаточно подробную схему окружения у Подвысокого.

К северу и востоку от Новоархангельска наши войска отражали натиск 16, 11 и 9-й танковых дивизий, а также двух механизированных (одна из них тоже значилась под номером 16, другая называлась «Адольф Гитлер»). С запада надвигались 297, 24, 125 и 97-я пехотные дивизии. На юге и юго-западе (а мы-то рассчитывали пробиться на юг!) против нас были выставлены 1-я и 4-я немецкие горнострелковые, 257-я и 96-я пехотные, 110-я и 101-я легкопехотные дивизии, да еще венгерский и румынский корпуса. Здесь же находилась итальянская дивизия, впоследствии оккупировавшая Первомайск.

Может быть, сегодняшнему читателю мало что говорит этот перечень номеров вражеских дивизий. В таком случае добавлю, что за каждым номером — до 12 тысяч солдат,

десятки танков, сотни стволов артиллерии и минометов. И воинственный раскат по дорогам Европы...

По немецким данным, наши 6-я и 12-я армии сковали двадцать две (да, двадцать две!) полнокровные дивизии противника с приданными им всевозможными средствами усиления (отдельные артиллерийские дивизионы, отдельные понтонные батальоны, «пионерные», то есть саперные, части, наконец, батальоны фельджандармерии и зондеркоманды). А в воздухе против нас действовали наиболее отличившиеся на европейском театре эскадрильи бомбардировщиков и истребителей общей численностью более 700 самолетов...

Для чего я вслед за генералом повторяю номера немецких дивизий? Уж не затем ли, чтобы показать, в каком безвыходном положении мы находились, чтобы вызвать запоздалое сочувствие?

Нет, речь о другом.

Отчаянные бои, которые вели 6-я и 12-я армии сначала в оперативном, а потом и в тактическом окружении с конца июля почти по середину августа, оказались в историческом плане вкладом в разгром гитлеровского блицкрига!

Вспомним: Гитлером и его фельдмаршалами было запланировано к началу июля захватить Киев, Днепропетровск, Запорожье, растоптать юг Украины, пройти Донбасс. Но «график» был сорван уже у границы пограничниками и войсками прикрытия. А затем в районе Умани, вокруг таинственной дубравы Зеленая брама, на полмесяца застряли двадцать две немецкие дивизии и почти все войска сателлитов. Без этих дивизий вермахту не под силу было развивать успех на Украине. 6-я и 12-я армии грудью прикрыли Днепропетровск — крупнейший район сосредоточения нашей промышленности, которую необходимо было эвакуировать, а пока она работала на оборону! Заслоненные этими же двумя армиями, героически трудились граждане Запорожья, до последней возможности не останавливали турбин Днепрогэса.

Мы говорим о заводах, о прокатных станах, о вывезенных складах и ценностях. Непреклонность защитников Зеленой брамы дала возможность на юге страны планомерно эвакуировать промышленность, запасы продовольствия, сокровища музеев и многое другое.

Однако мы, советские, ставим выше всего спасение нашей главной ценности — людей: под прикрытием стоящих насмерть 6-й и 12-й армий осуществлялась мобилизация на правобережной Украине и эвакуация населения.

Трудно, а может, и невозможно определить в цифрах эту горькую, а все же победу. Все уйти не могли, но сотни тысяч жителей приднепровских городов, а также беженцев, двигавшихся из западных областей, вырвались, спаслись. А потом их приняли Средняя Азия, Урал, Сибирь, и это уже другая высокая и красивая легенда, а точнее — была, ставшая легендарным подвигом советского тыла.

Живущий теперь в Херсоне врач Гарри Иванович Зубрис вспоминает эвакуацию Кировограда, начавшуюся 3 августа (ему тогда исполнилось 11 лет; вместе с матерью и братом, позже достигшим призывного возраста и павшим в бою в 1944 году при освобождении Латвии, он покидал родной город). Зубрис пишет: «Я сроднился с теми, кто пал в Зеленой бреме, с Героями, со Спасителями. Ведь, дрогши они, не сдержи Клейста, тлеть бы нам во рву под Кировоградом вместе с оставшимися в городе престарелыми тетушками, расстрелянными осенью 1941 года...»

Щит, образовавшийся из войск, окруженных в Зеленой бреме, на какое-то, пусть недолгое, время облегчил положение нашего Южного фронта, дал возможность другим его армиям закрепиться на новых рубежах.

Предвижу ироническое замечание: «Две армии погибли, а ты изображаешь это чуть ли не как нашу победу».

Нет, трагедия у Подвысокого не была победой, это всем ясно.

Но вкладом в далекую будущую Победу наше сопротивление у Подвысокого все-таки было!

Подвигу далеко не всегда сопутствует немедленная победа, но высота его этим отнюдь не принижается. История знает примеры, когда очевидная военная неудача таила в себе поражение противника в будущем, и наоборот, не раз случалось — достигнутый с легкостью и шумно обставленный военный успех предшествовал сокрушительному провалу.

Постановление Государственного Комитета Оборона об эвакуации Днепропетровска, Кривого Рога, Днепро-дзержинска, Никополя, Марганца принято в самом начале августа, то есть в разгар боев у Зеленой браны, а эвакуация началась шестого числа. На Урал и в Сибирь было отправлено 99 тысяч вагонов с промышленным оборудованием.

Мне не пришлось увидеть это своими глазами, но, побывав через много лет после нашей Победы в южном Приднепровье и слушая рассказы сталеваров, энергетиков, партработников, машиностроителей, я испытывал чувство

гордости: сражаясь в Зеленой бреме, мы оказались причастными к всенародному подвигу — спасению огромных богатств советского Юга. История эвакуации заводов напоминает сказку о богатыре: враг рассек его надвое, и поднялись два богатыря. После освобождения Украины вновь возродились заводы у Днепра, но и там — за Уралом, в Сибири, на Дальнем Востоке, где они пребывали в эвакуации, — остались заводские корпуса, выросла могучая промышленность.

Это тема для другого рассказа. Я говорю лишь о боях, в которых враг был задержан на дальних подступах к Днепру.

Ну, а как складывалось положение севернее?

Хотя группа Понеделина оказалась в составе Южного фронта и вошла в список его потерь, ее упорство сыграло определенную роль и в обороне Киева.

Враг подступил к стенам Киева еще 11 июля. Страшно подумать — в планах фашистского генерального штаба было взять его с ходу! Называю ближние подступы к великому городу нашей истории стенами не потому, что привержен языку древних летописей. Знаю, что сохранилась до наших дней лишь малая частица крепостной стены, сложенной из узких камней, — Золотые ворота. Но о стене мужества и непреклонности, окружившей Киев в 1941 году, можно говорить — это будет не пафосное преувеличение, не символ, не образ, а простая правда.

Действия 6-й и 12-й армий еще до окружения сбили темп и на ряде участков задержали рвавшегося в Киев противника.

И вот он все-таки атакует с ближних подступов.

Гитлер объявил во всеуслышание, что Киев будет захвачен им 8 августа.

Первая неделя августа: непрерывные бои, четырнадцать вражеских дивизий пытаются взять столицу Украины.

Но город обороняют доблестные войска 5-й армии, недавно сформированная (вернее — формирующаяся в сражении) 38-я армия, гарнизон укрепленного района (УРа) и пограничники, полки народного ополчения и истребительные отряды.

Оказавшая помощь нашей группировке 26-я армия наносит удар по врагу в районе Мироновки.

Нет, сил четырнадцати полностью укомплектованных дивизий вермахта явно недостаточно, чтобы справиться с непосредственными защитниками Киева. А сил у противника больше нет под Киевом! Другие дивизии не могут

совладать в Зеленой бреме с последними сводными частями 6-й и 12-й армий.

Ощущали ли мы себя тогда, сражаясь в 240 километрах южнее Киева, участниками его защиты?

Несомненно!

Мы прикрывали Киев с рассвета 22 июня.

А в первую неделю августа помогли отражению решающей вражеской атаки. Восьмого августа противник ничего не достиг; после грозной, но безуспешной попытки он был вынужден перейти к позиционной войне, и положение в общем-то стабилизировалось.

Первого сентября дети Киева пошли в школы. Работали заводы. Формировались новые и новые воинские части. Театры давали спектакли для защитников прифронтового города.

То, что Киев держится, имело важнейшее психологическое значение для советских людей и на фронтах и в тылу.

К тому дню пятого августа, когда мы пошли на прорыв колонной, из Киева было вывезено 85 295 вагонов разных грузов. Сам по себе наш прорыв не увенчался успехом. Но группа Понеделина была в те дни как бы южным щитом столицы Украины. Высокая обязанность и высокая честь!

Так мы оказались защитниками Киева.

Это подтверждено документально.

Это подтверждено Историей.

В 1961 году, когда Родина отмечала двадцатилетие начала Великой Отечественной, Киев был награжден орденом Ленина, а в 1965 году город получил звание Героя.

Правительство учредило медаль «За оборону Киева».

Тогда же военкоматы и отделы кадров стали разыскивать воинов Зеленой браны, чтобы вручить им медали на зеленой муаровой ленте...

Первые пять недель

О первых пяти неделях войны вспомнить необходимо. Ведь мы пришли к берегам Синюхи с самой государственной границы.

Как приняли на себя первый удар пограничники, известно теперь довольно широко. Гарнизоны застав и комендатур, выполняя свой долг, сразу открыли огонь по противнику, перешедшему границу. Пограничники несли привычную службу, задача, вставшая перед ними, была для них не нова. Непривычными были только масштабы: не лазутчик, не группа, не банда нарушили охраняемый участок государственной границы, а несметные орды захватчиков, армады танков.

К началу схватки я опоздал. Но когда прибыл из Москвы на Юго-Западный фронт, а затем в распоряжение политотдела 6-й армии, приграничная битва на многих участках еще не перешла в отступление. Держась на привычных рубежах, защитники границы дорого отдавали каждый метр земли. Врагу удавалось сделать шаг вперед лишь после того, как на заставе не оставалось ни одного живого бойца. Каково было соотношение сил? Думаю, примерно наша пуля против тяжелого снаряда.

13-я застава Владимир-Волынского погранотряда под командованием лейтенанта А. В. Лопатина держалась до 2 июля.

По трупам своих автоматчиков все-таки подползли немецкие саперы к развалинам казармы, где укрепилась последняя горстка пограничников. Над развалинами реял красный флаг. При взрыве он взвился в небо еще выше.

Через годы из трофейных документов стало известно, что младший лейтенант А. З. Ливенцов с 4-й заставы того же отряда при пленении схватил за горло и задушил вражеского офицера.

Перемышльский погранотряд. О нем теперь мы знаем больше, чем о других. Вместе с 99-й дивизией (она справедливо считалась перед войной лучшей дивизией Красной Армии) его бойцы штурмовали занятый противником Перемышль и вновь овладели городом.

Рава-Русский отряд. На одной из его застав группа пограничников, окруженных превосходящими силами врага, пошла с гранатами на танки с пением «Интернационала».

В связи со своими поисками я получил много писем. Написали артиллеристы, танкисты, понтонеры, кавалеристы, ну и пехотинцы, конечно.

А вот от пограничников — меньше всего посланий.

Думаю, что, процитировав один из немногих откликов, я проясню картину. Товарищ, описывая невероятный, словно из легенды заимствованный бой 22 июня, со свойственной пограничникам сдержанностью докладывает:

«Я остался единственным свидетелем. Мы, пограничники, так обучены — факт проверяется перекрестными показаниями. Пусть теперь мои одинокие показания будут приняты молодежью за вымысел, за неуклюжую и неопытную художественную литературу. Но так было, память у меня хорошая.

Не пишите обо мне, но поверьте. Вы же тоже, кажется, свидетель».

Верю, товарищ. Видел. Подтверждаю!

Свидетелей мало, но никто никогда и нигде не видел бегущих пограничников. Пограничники доблестно выполнили свою задачу — продержались до подхода полевых войск, а затем так же героически воевали в их составе.

Не могу не привести строки из письма участника тех боев — в то время политрука — Петра Кулакова:

«Где-то в районе Подвысокого есть село Вишнополь.

Утром бригадный комиссар собрал политруков на «летучку», поставил задачу: подпустить атакующих как можно ближе, открыть кинжальный огонь и контратаковать.

Еще нам сказал комиссар, что надо продержаться, устоять, а тем временем к нам на помощь подойдет полк пограничников, и двинемся на прорыв.

И вот я увидел: подходят пограничники. Не полк, даже не батальон. С пропитанными пылью и кровью бинтами на головах. Но идут бодро, уверенно. Их шутки, улыбки подбодрили и моих бойцов.

На плечах они несли пулеметы «максим», сразу расставили их.

Тут гитлеровцы пошли в атаку.

Мы, как было приказано, подпустили их цепь на очень близкое расстояние и открыли в самый последний момент кинжальный (шквальный) огонь. Шли в контратаку буквально по трупам фашистов.

Хотя мы и не прорвали кольцо, но километра три шли вперед, пехота и пограничники — в единстве».

Трудно сейчас определить, из какого отряда были пограничники, но я полагаю, что из 22-го: этот отряд дислоцировался в глубине нашей территории — в районе Волочиска-Подволочиска — и влился в состав 6-й армии. Являя чудеса храбрости, возникая на самых трудных участках, эти парни имели свою присказку — там, где мы, там и защита границы!

Я знаю больше о том, что происходило в полосе 6-й армии, поскольку состоял в ее штате. Но после 1 июля разграничия между 6-й и 12-й армиями оказалась размытой.

Это не свидетельствовало о порядке, однако не считалось пока бедствием. Бедственное положение создано на правом фланге, где в стык между 6-й и 5-й армиями вонзился танковый клин противника. Образовавшаяся здесь брешь нарушила устойчивость всего Юго-Западного фронта.

Что мог я понять в возникших тогда сложностях?

На этот вопрос современного читателя, вопрос законный, отвечу честно: далеко не все. Как корреспондент-газетчик, я видел своими глазами, наверное, гораздо больше, чем другие офицеры в моем звании. А вот разобраться в увиденном было трудновато. Помог счастливый случай.

Когда я прибыл в 6-ю армию, штаб ее находился под Львовом. Почти одновременно со мной туда явился с назначением быстрый в движениях черноглазый подполковник. Мы познакомились. Он назвался Василием Андреевичем Новобранцем и сказал, что назначен начальником разведки 6-й армии. Я оценил, насколько важно такое знакомство для корреспондента. И не ошибся: в последующем многим был обязан Новобранцу. Он не только держал меня в курсе быстро меняющейся обстановки, но и помогал разобраться в происходящем вокруг. От него я узнал в те дни, что против нас действуют 1-я танковая группа Клейста и 17-я полевая армия в полном составе и, как выразился Новобранец, «в большом кураже».

Что же касается нашей 6-й армии, то война застала ее в процессе формирования: в строю — лишь половина личного состава, большой некомплект материальной части; в механизированных частях преобладали устаревшие танки Т-26, БТ-5, БТ-7; машины новейших образцов КВ и Т-34 исчислялись единицами.

Известно, какое несчастье постигло в первые дни войны нашу авиацию. Враг обеспечил себе господство в воздухе, и это, может быть, больше всего осложняло боевые действия не только 6-й армии, а и всех советских сухопутных войск.

Одной из главных причин наших первоначальных неудач была плохая связь. Всепобеждающий век радио еще не наступил, считалась надежной преимущественно связь по проводам, и противник быстро разгадал наше слабое место. Диверсанты, заброшенные в наши тылы, перерезали провода, а легкие бомбардировщики и штурмовики специально нацеливались на уничтожение линий, идущих вдоль дорог.

Поначалу мы удивлялись: почему самолеты пикируют не на самую дорогу, а чуть в стороне? Но после штурмовки и бомбежки, увидев разнесенные в щепки столбы и беспомощно повисшие плети проводов, начинали понимать — в первую очередь враг торопится внести расстройство в управление войсками, считая это главным условием своей блиц-победы.

Надо ли объяснять, что из-за этого нарушалось расположение войск, что противник вклинивался и окружал, отсекал корпуса, дивизии, полки, а несколько позже и армии, — в частности, нашу 6-ю и 12-ю.

Отправляясь из своей редакции армейской газеты «Звезда Советов» в ту или иную дивизию, я никогда не знал, доберусь ли, где ее найду, по какой дороге и куда возвращусь или хотя бы отправлю корреспонденцию, торопливо нанесенную на странички «полевой книжки».

Но что значили мои корреспондентские страдания, если связь с дивизиями терял штаб армии, если ненадежна и непостоянна была его связь со штабом фронта?

Еще и еще раз с гордостью вспоминаю: окруженные и отрезанные от основных сил в самые первые дни приграничных боев соединения и даже просто горстки бойцов сражались отчаянно и беззаветно. И связисты не виноваты: они делали больше, чем могли!

Невозможно судить задним числом, что было бы, если бы то, что уже состоялось, произошло по-иному, хотя для выводов на будущее это тоже важно. И все же есть доказательство, я бы назвал его историческим, точное доказательство, что связь в июне еще держалась. Именно потому, что она действовала, получили приказ на отход и успели отойти некоторые пограничные отряды и части войск прикрытия границы.

А если бы уже не было связи? Что произошло бы тогда?

А то, что случилось с частями, которые по разным причинам, а в подавляющем большинстве случаев — из-за отсутствия связи, не получили приказа на отход.

Они продолжали сражаться.

Они стояли насмерть.

Они погибли, нанеся врагам огромные, многократно превышающие нашу численность, потери.

Они держались до конца июня и еще сражались бы, пока оставался живым и способен был вести огонь последний воин.

Бессмертен, незабываем подвиг гарнизона Брестской крепости.

Он стал символом.

Но величие подвига гарнизона крепости на Буге именно потому утвердилось в истории, вошло в кровь и плоть нашего народа, что подвиг этот был не одиноким и не единственным.

Образ мыслей, система действий, личное поведение защитников Брестской крепости были типическими и характерными для советских людей, выросших, духовно и физически сформировавшихся за два с небольшим десятилетия, прошедших после Великой Октябрьской революции.

После нападения фашистской Германии на Советский Союз сразу же образовалась, правда, прерывистая, цепь подобных Бресту беззаветно сражавшихся крепостей (с фортами и стенами и без них).

Решая задачу стратегического характера, высшее командование дало приказ на отход; в тех случаях, когда приказ дошел до частей и еще имелась возможность отступить, он выполнялся.

С каждым днем июля положение со связью ухудшалось и ухудшалось.

Переговоры по радио подчас искажались при передаче и расшифровке. Трудны были и опасны разговоры по проводам — при рваной линии фронта враг легко мог подключиться и подслушивать.

Но все же приходилось использовать обычные телефонные линии. Однажды, ведя переговоры между штабом фронта и штабом 12-й армии, начальник оперативного отдела штаба фронта полковник Баграмян и начальник штаба 12-й армии генерал-майор Арушанян, старые товарищи по службе, использовали хитроумный прием: они заговорили на своем материнском армянском языке, разумно предполагая, что противник, если он подслушивает, сразу не разберется.

Но это удачное изобретение поломалось самым неожиданным образом: контролирующим линию связистам показалось, что переговоры по нашим проводам ведет противник на своем немецком языке, и они поспешно оборвали связь...

Крайне усложнена была связь корреспондентов центральных газет с Москвой. Их статьи и очерки безнадежно опаздывали, а то и просто терялись в пути.

Тем удивительней и невероятней случай, свидетелем которого я оказался в конце июня, а может быть в самом начале июля.

Знатные собкоры «Правды» и «Известий» в открытую завидовали нам, работникам армейских газет, а еще больше — шустрым политрукам из дивизионных редакций, чуть ли не на поле боя сдававшим в набор свои сочинения, а иногда и собственноручно набиравшим их в опустевших типографиях районных газет...

Среди них особенно отличался оперативностью младший политрук Федя Сетин из газеты 140-й дивизии «Боец-сталинец», с которым я встретился и подружился в древнем Изяславе на реке Горынь. Неутомимый корреспондент дни и ночи проводил на передовой. Из одного кармана у него торчали рукописи, из другого — граната. Он ухитрялся писать довольно длинные очерки, не уместившиеся на страничках «дивизионки». Товарищи подшучивали над ним: Федя пишет очерки исключительно для «Правды».

— А что? — не смущаясь, парировал Федя, — могу и для «Правды».

Дивизионный корреспондент демонстративно достал из кармана переписанный от руки очерк, законвертовал его, надписал — «Москва, редакция газеты «Правда» и на глазах у изумленных корреспондентов центральных газет опустил конверт в почтовый ящик, криво примостившийся на штакетном заборчике полудеревенской улицы Изяслава.

В самый раз бы посмеяться над младшим политруком: корреспонденты центральных газет в отчаянье не могут связаться с Москвой, а этот самонадеянный юноша...

Но смеяться было просто некогда. По улицам Изяслава шли баварские стрелки, паля из автоматов.

Беспорядочный бой не удался, пришлось нам отойти по шепетовской дороге...

В 913-м стрелковом полку народ был упрямый. Командир собрал поредевшие батальоны, выкатил противотанковые пушечки, контратаковал противника... Зацепились за окраину Изяслава, вновь откатились, а на рассвете следующего дня древний городок снова оказался в наших руках.

Федор Сетин участвовал в контратаке и, увы, того криво висящего на заборе почтового ящика больше не встретил и вынужден был расстаться с мечтой напечататься в «Правде».

Еще несколько часов продержался городок, но силы были неравные, пришлось нам уйти с берегов реки Горыни. Дивизия отступила за Шепетовку.

Восьмого июля самолет-кукурузник облетал неровную линию фронта, разбрасывал пачки газет. В расположение разведроты, где в это время наш неугомонный корреспондент собирал материал для очередного номера дивизионки, залетело несколько номеров вчерашней «Правды». Восхищенные разведчики и изумленный автор увидели на второй полосе очерк «Храбрость» и подпись: «Ф. Сетин. Действующая армия».

Как сетинская «Храбрость» добралась до Москвы из почтового ящика, висевшего на улочке городка, дважды, если не трижды переходившего из рук в руки, ни понять, ни объяснить невозможно.

Эту историю мы всегда вспоминаем, когда встречаемся с доктором филологических наук, профессором Федором Ивановичем Сетиным. Его специальность — детская литература, объект его исследований — творчество Аркадия Гайдара, погибшего в бою у Днепра. Гайдар воевал в партизанском отряде, сформированном и из воинов Зеленой браны.

Но вернемся на пылающие дороги того лета.

Может быть, участники первых сражений и нашего отступления помнят одну подробность отхода: мы старались идти по дорогам даже в тех случаях, когда прямой путь через пшеничное поле был бы и удобней и безопасней.

Были уверены — завтра повернем на запад, надо сохранить хлеба.

Были душевно не подготовлены к уничтожению того, что было общим, стало собственностью всех и каждого.

Существовали и другие трудности, которые правильнее назвать психологическими. В предвоенные годы в боевой учебе войск не был должным образом отработан такой сложный маневр, как отступление. В политической работе отступление тоже обходилось стороной. Да и можно ли было заранее готовить бойцов к такому отступлению? Представьте себе политзанятия, ну, скажем, в 1940 году. Политрук или там командир взвода говорит о возможности нападения врага и притом напоминает, что поскольку мы недостаточно еще вооружены, поскольку вообще, как поется в песне, «мы мирные люди», то не исключено, что в случае войны придется отступить на тысячу километров, чтобы оборудовать где-то в глубине страны непреодолимый рубеж, закрепить на нем, а потом уж перейти в наступление. Да его бы

за сумасшедшего сочли, а то и хуже — за пораженца! Его бы и слушать не стали.

Как каждый красноармеец тридцатых годов, я запомнил ПУ-36, то есть временный полевой устав РККА.

В первом параграфе устава говорилось:

«Всякое нападение на социалистическое государство рабочих и крестьян будет отбито всей мощью вооруженных сил Советского Союза, с перенесением военных действий на территорию напавшего врага».

Сейчас можно сказать, что в Великую Отечественную войну мы действовали в соответствии с ПУ-36 и неукоснительно выполнили первый параграф. Однако нам потребовалось более трех лет, чтобы перенести военные действия на территорию напавшего врага, а ведь воспитаны мы были в уверенности, что нападение «отбито всей мощью» будет немедленно, что на нашу землю врагу ступить не удастся...

Вот почему так тяжело переживали мы неудачи первого периода.

Катастрофа в редких случаях может быть прогнозирована. Мы не могли себе представить, в каком отчаянном положении окажемся, и так скоро!

В первой же командировке, в стрелковом полку я почувствовал всю тяжесть сегодняшних и предстоящих боев...

Но, вернувшись на командный пункт армии, я встретил Новобранца с телеграфной лентой в руках. Глаза его горели.

— Штыками бьются наши! — торжествовал он. — Противник не выдержит штыкового удара!

Но возможно ли было повернуть противника вспять при тогдашнем соотношении сил?!

Против обороняющей Рава-Русский укрепленный район 41-й дивизии наступал 4-й армейский корпус вермахта — пять полнокровных дивизий!

В то время как о боях в Перемышле многое известно, опубликованы воспоминания, газетные статьи и исторические исследования, о Рава-Русской (впрочем, и о других укрепрайонах) почти ничего не вошло в историю начального периода войны. Причина все та же: свидетелей почти не осталось, а молва бродила, будто война началась со сплошного отступления, а если так, значит, и укрепленные районы были сразу же оставлены.

Живет в Киеве замечательный человек — подполковник в отставке Илларион Федорович Евдокимов, бывший военком Рава-Русского укрепленного района, а затем — Киевского УРа. Вот уже полтора десятка лет все свое время, все свои силы (позволю себе добавить — и свои средства,

союзную персональную пенсию) он отдает на поиски героев сорок первого года, на восстановление истории тех малых крепостей, комиссаром которых ему пришлось быть. Его усилиями 500 пропавшим без вести возвращены имена, фамилии, узнаны место и обстоятельства их гибели.

И. Ф. Евдокимов хранит в личном архиве интереснейшее свидетельство «с той стороны». Доктор Отто Корфес, командовавший в начале войны полком, а позже, уже в чине генерала, пехотной дивизией, писал в журнале «Германская Демократическая Республика» (№ 2 за 1963 год):

«С выносливостью и потрясающим героизмом советских солдат я столкнулся впервые в июньские дни 1941 года. Мы продвигались вперед между Равой-Русской и Львовом и натолкнулись на цепь бетонированных, снабженных орудиями маленьких укреплений, которые упорно сопротивлялись. Когда у советских солдат не оставалось никакой возможности дальше удерживать укрепленный пункт, они подрывали его и погибали в нем сами».

Илларион Федорович Евдокимов считает, что статья бывшего генерала вермахта не совсем точна:

«Мы в ДОТах совершенно не имели подрывных средств на всякий случай, так как не воспитывался наш воин в оставлении ДОТа, не сражаясь до смерти».

Можно поверить бывшему комиссару укрепленного района, его бойцы бились до последнего патрона. И. Ф. Евдокимов, вопреки немецкой версии, утверждает, например, что красноармейцы не взрывались на гранатах, но бросались с гранатой под танки врага. А это другое дело...

Укрепленный район Рава-Русская держался пять дней.

В героической обороне принимала участие не только 41-я стрелковая дивизия, но и 159-я, и пулеметчики 3-й кавалерийской дивизии, и пограничники, и, конечно, артиллерия, то есть гарнизоны ДОТов.

Для того чтобы сломить их отчаянное сопротивление, пяти вражеских дивизий оказалось мало, пришлось им вызвать на подмогу еще одну...

Совершенно не зафиксирован и подвиг жителей Равы-Русской, вступивших в первые часы войны в истребительные отряды для борьбы с диверсантами, которых забрасывал враг.

Конечно, УР не мог выполнить своего назначения в условиях, когда танковые клинья противника глубоко врезались в глубь нашей территории, а все-таки пять дней Рава-Русская держалась!

Сохранились некоторые приказы и оперативные сводки 6-й армии за первые дни войны.

Из боевого приказа 6-й армии, Бжуховице (Брюховичи), 24 июня 1941 года:

«Наступление противника в течение 23.6.41 г. на фронте 3-й Кавдивизии, 41-й и 159-й стрелковых дивизий приостановлено и частично отброшено».

Из боевого донесения штарма 6 № 0011, 3.00, 25 июня 41 года:

«41-я стрелковая дивизия, опираясь на опорные пункты УРа, сдерживает противника, нанося ему серьезные потери».

Ясно одно: и Рава-Русская — укрепленный район — сопротивлялся достойно, а остатки войск на этом участке вынуждены были отойти лишь по приказу фронта.

О многократном превосходстве сил противника на нашем направлении сохранилось немало свидетельств.

Против 97-й стрелковой (она обороняла полосу в 30 километров по фронту) наступал 49-й армейский корпус, имевший в своем составе четыре дивизии. Это — к примеру...

Попытаюсь объяснить, почему в истории Великой Отечественной войны бедновато документированы подвиги начального периода.

О героизме так называемых войск прикрытия некому поведать — гарнизоны укрепрайонов бились до последнего снаряда, до последней пули. Красноармейцы без преувеличения бились до последнего вздоха. Их душили дымом, жгли огневыми струями. Плененные нами немецкие солдаты при допросе жаловались еще тогда:

— В глубине не всегда достроенных железобетонных дотов у вас сидят какие-то дьяволы! Их ничем невозможно взять.

Через годы, когда мы вернулись на государственную границу, открылись дополнительные свидетельства — в развалинах дотов были найдены выцарапанные на бетоне и стали надписи: клятвы, имена, слова прощания, обращенные к родным и потомкам, домашние адреса погибших здесь героев, номера частей, в которых они служили. Если напомнить, что противник мистически боялся этих развалин, таивших гибель, не покажется удивительным, что такие надписи сохранились.

Так гибли парни, рожденные и выросшие при Советской власти.

Когда подполковник В. А. Новобранец раскладывал на столе свою рабочую карту, честно говоря, мне становилось

не по себе. Карта свидетельствовала, что на нашем направлении у врага пятикратный перевес.

Но, странное дело, вместе с ознобом и каким-то спокойным предчувствием собственной гибели я испытывал чувство гордости: вот в рядах какой армии я нахожусь! Будто исчез у людей, окружавших меня, извечный страх, инстинкт самосохранения.

Землю свою мы теряли, но сопротивлялись яростно. Враг продвигался к Подвысокому пять недель. Если подсчитать, получается не более пяти — семи километров в сутки.

И это было вовсе не планомерное движение — сегодня пять — семь километров и завтра столько же. Врагу приходилось не только останавливаться перед несокрушимой стеной мужества, но и откатываться назад, неся большие потери.

Начальник генерального штаба гитлеровских сухопутных войск Гальдер записал в своем дневнике:

«Бердичев: в результате сильных контратак противника с юга и востока 11-я танковая и 60-я моторизованная дивизии были вынуждены перейти к обороне. 16-я танковая и 16-я моторизованная дивизии продвигаются очень медленно». А ведь гитлеровские генералы рассчитывали, что их танки будут проходить в день по 50 километров.

Право же, мне не надо ни на кого ссылаться, утверждая это. Ни на Новобранца, ни на позже прочитанные книги — я сам был там. Досадно только, что не вел записей. Записывать нам ничего не разрешалось. Доходило до смешного — на передовой говоришь с командиром батальона, хочешь записать имена отличившихся красноармейцев, а он за руку хватает: «Давайте не будем!..»

По некоторым повестям и романам первые недели войны можно себе представить чуть ли не как паническое бегство. Я читаю такие книги с недоверием, да еще и с некоторым ощущением превосходства очевидца. Мне довелось видеть иное — отступление в непрерывных боях, отступление с открытым выражением досады: «Пока живы, зачем отходить? Можем стоять насмерть».

Я видел отход по приказу, а это уже не бегство. Правда, картина была не из веселых: пыльные дороги, параллельное преследование, потоки беженцев вливаются в колонны войск, и все вдруг перемешивается — повозки и детские коляски, отрывистые команды и жалобное мычание недоенных коров. В смысле и звучании слова «беженцы» соединились и переплелись два корня: бег и беда. Есть ли слова горестней в лексиконе нашего времени?

Эти картины навечно впечатались в память.

А сохранились ли кино- и фотодокументы?

Я обратился к фотокорреспондентам, своим старым товарищам. (Так мало осталось у меня адресов и телефонных номеров!) Репортеры сохранили, донесли до нас драгоценную зримую летопись Великой Отечественной. Ныне их скорострельно отснятые кадры демонстрируются на выставках, награждаются золотыми медалями.

При разборе архивов, относящихся к 1941 году, обнаружилось немало портретов героев: артиллеристы, ведущие огонь, конники с шашками наголо... Нашел я и лица первых пленных: самодовольство столкнулось с растерянностью и страхом. Есть в государственных архивах трофейные кадры — леденящие кровь документы о зверствах. Наш бесстыдный противник любил позировать около виселиц.

Но мне не удалось найти фотографий, которые запечатлели бы дороги отступления, трагические сцены: мы взрываем плотину Днепрогэса, мы оставляем город, горят наши танки, бредут беженцы вдоль дорог, а по краям их — трупы после налета авиации.

Даже перечисление наших горестей кажется мне сейчас, когда я пишу, безнравственным.

Мог ли стоять на обочине с фото- или кинокамерой молоденький командир-корреспондент и снимать разгул нашего горя?

Невозможно, невыносимо...

Борис Иванович Бондаренко, офицер запаса, ныне проживающий в Крыму, напомнил мне, как отходила его 58-я стрелковая. Снимали пулеметы с тачанок, несли на плечах, чтоб на тачанках, на повозках больше выкроить места для детей и старух, покинувших Львов и Тернополь (ныне Тернополь) и отходивших по военным дорогам...

Мне известно, что до последней возможности продолжали сражаться некоторые полки и даже дивизии, не получившие приказа на отход, утратившие связь с вышестоящими штабами. Но как и на каком рубеже — это в ряде случаев выяснилось лишь через годы.

Вот история исчезновения целой дивизии — невероятная, но невыдуманная.

В составе 36-го корпуса 6-й армии была 140-я стрелковая. Считалось, что дивизия погибла 7 июля 1941 года. Оставшиеся в живых командиры и политработники не нашли ни в одном архиве материалов, выходящих за рубеж этой даты.

Но люди сражались в составе своих полков еще целый месяц. «Мы не считали себя погибшими, а вернее, не знали, что нас считают погибшими», — пишет по этому поводу бывший командир артиллерийского полка Владимир Лисовец, проживающий ныне в Одессе. Надо, чтобы героизм бойцов 140-й дивизии не было забыто.

Ведь они на третий день войны в районе Дубно приняли на себя таранные удары танков и мотопехоты. Дивизия не дрогнула, держалась на первом своем рубеже до 30 июня.

Она отошла лишь тогда, когда стало достоверно известно, что сосед справа растоптан превосходящими силами врага.

Примеров того, как трудно было выполнять приказ на отход, я мог бы привести много, но расскажу только один эпизод, относящийся к первым дням войны.

В пограничном Перемышле, на берегу реки Сан стоял ДОТ, замаскированный забором. Гарнизон этого бронеколпака — всего два пулемета, первый и второй номер. Дот начал действовать в первые минуты войны. В нем находились младший лейтенант Чаплин и рядовой Ильин — воины 99-й стрелковой дивизии. Противник к исходу первого дня наступления ворвался в город. Наши отошли. Два пулеметчика остались на своем посту. Сутки без перерыва вели они огонь по переправе.

Как известно из истории, на второй день войны Перемышль был отбит воинами 99-й и пограничниками. Товарищи застали пулеметчиков на их бессменном посту. Чаплин и Ильин коротко отдохнули в казарме и снова в течение всей недели, пока город держался, участвовали в боях, вели огонь по врагу.

Но противник на флангах глубоко вонзился в нашу территорию, необходимо было отвести войска, пришел приказ.

Чаплин и Ильин как раз вновь дежурили в доте. Они сказали уходящим пограничникам, что останутся в бронеколпаке, будут вести огонь и ждать нового освобождения города.

— Продержимся, только скорей возвращайтесь...

Они не могли предположить, что Перемышль отобьют только через три с лишним года.

Вот какой случай невыполнения приказа героями, дорого отдавшими свою жизнь. Но смертниками они себя не считали, и мы не посчитаем. И пропавшими без вести не назовем...

Но продолжим рассказ о 140-й стрелковой...

Артиллеристы 361-го гаубичного артполка, входившего в состав дивизии, 6—7 июля били по танкам прямой наводкой из своих гаубиц калибра 152.

Не знаю, применялся ли раньше и позже такой калибр в ближнем бою. Во всяком случае для стрельбы прямой наводкой по танкам эти гаубицы отнюдь не предназначены!

Седьмого июля все нити связи оборвались: штаб дивизии во главе с комдивом полковником Лукой Герасимовичем Басанцом был отторгнут от полков и разгромлен.

Часть командиров погибла, некоторые были захвачены в плен. Комдив с небольшой группой (теперь выясняется, что в ней было человек двадцать) вырвался и ушел на поиски партизан, чтобы присоединиться к ним. Полковник Басанец перешел линию фронта в начале 1943 года. Позже он командовал рядом соединений, стал генералом.

Начарт дивизии полковник М. А. Шамшеев нашелся после войны — он был членом комитета восстания в концлагере Маутхаузен. (Я пытался связаться с ним, но был извещен о том, что 22 августа 1981 года он скончался...)

Полки продолжали сражаться.

Боевая задача была ясна: бить врага! По карте можно и не ориентироваться — противник виден и без бинокля.

Пополнялись боеприпасами, в том числе и трофейными, перебивались кое-как с продовольствием, но личный состав не голодал — были среди своих, на родной земле!

Все полки дивизии — три стрелковых и два артиллерийских, — ослабленные, поредевшие, согласовывая свои действия с соседями, 10—14 июля участвовали вместе с танкистами группы Огурцова в успешных боях за Бердичев, а потом — в разгроме вражеской группировки под Оратовом.

Дивизия, отсутствующая в донесениях и сводках, наступала!

Несколько дней командовал подполковник (его фамилию ветераны запомнили), он был тяжело ранен; его сменил полковник — кавалерист, успевший покомандовать лишь несколько часов... И тогда командование дивизией, оставшейся без штаба, взял на себя полковой комиссар Семен Борисовский. Ему пришлось руководить исчезающими полками в Зеленой бреме. Он героически погиб в бою близ села Нерубайка.

В ночь на седьмое августа, то есть через месяц, дивизия действительно перестала существовать, но отдельные горсточки ее воинов еще сражались в окрестных лесах и полях...

Случай со 140-й дивизией свидетельствует все о том же: сражаться и стоять насмерть, бить врага из последних сил и в любых обстоятельствах было и оставалось первой заповедью не только отдельного бойца или отдельной роты, но и дивизии, отделенной от боевых порядков армии и фронта.

Июль сорок первого — время возникновения и формирования партизанского движения. В определенном смысле боевые действия полков дивизии, отрезанной от соседей и лишившейся штаба, родственны партизанской войне. Сто сороковая примыкала то к одному, то к другому соединению и по обстоятельствам координировала с ними свои атаки. Несколько позже партизанские отряды взаимодействовали с регулярными частями — я был свидетелем тех совместных операций и зимой 1942-го на Белгородчине, и осенью 1943 года при форсировании Днепра.

Ну, а как квалифицировать боевые действия отряда, про который рассказал мне лейтенант запаса агроном Сергей Васильевич Соболев, человек, прошедший все круги ада, бедовавший во многих концлагерях?

Через неделю после начала войны на реке Збруч стихийно образовалась группа командиров, только что поскорому выпущенных из училищ и направленных с назначениями в части 6-й армии.

Попытки разыскать штабы, куда им надлежало явиться, оказались тщетными. Но юные и необстрелянные лейтенанты сочли невозможным присоединиться к потоку отступления, так и не встретившись с врагом лицом к лицу.

На переправе у старой границы неизвестный майор объединил их и повел на прорвавшегося противника. Первый бой подтвердил убежденность в своих силах. Более месяца, не просто отступая, но маневрируя, сражался этот отрядик. Может быть, правильней назвать его пулеметной боевой группой? Они действовали в тылу врага, вот уж действительно на свой страх и риск. А ведь справедливо считать их партизанами!

Последний бой Соболев с товарищами выдержал в конце июля под Христиновкой. Лейтенант очнулся у разбитого пулемета, подняться уже не мог. Он обнаружил, что выбиты все зубы, но успел окровавленным ртом разжевать, проглотить свой партийный билет, прежде чем был схвачен немецкими танкистами.

Мучительным было абсолютное господство вражеской авиации. Она бомбила и штурмовала повозки с детьми, санитарные машины с крестами на покрывающем их бре-

зенте. Я видел такое потом только во Вьетнаме, когда там бесчинствовали заокеанские агрессоры.

И все же, повторяю, наш отход в июне и в июле сорок первого года не был паническим. Отвергаю подлое словечко «драп», просочившееся в художественную литературу из уголовного жаргона. Трусами оно придумано.

Приезжал в Москву с группой красных следопытов из села Верховья Орловской области учитель географии Виктор Максимов. Заходил ко мне. Он тоже участник боев у Подвысокого, был там ранен, и лишь в 1943 году ему удалось вновь стать в строй. Воевал отчаянно, получил еще два ранения и вернулся домой из Магдебурга с тремя боевыми орденами. Меня потрясла одна подробность из рассказов Максимова об отходе наших войск от Тернополя на старую границу, а потом на Винницу. Из суточного распорядка целиком исключалось время на отдых: днем вели бои, а по ночам отходили. Люди засыпали на ходу. Иные падали, ушибались. Чтобы уберечь людей от травм, лейтенант Максимов вел бойцов не по-уставному: при построении на марш он ставил в голову своего подразделения тех, кто казался пободрей,— им надлежало следить за дорогой, а остальные шагали за ними с закрытыми глазами, положив руки на плечи товарищей, оказавшихся впереди. И помогало, получалось.

...Память вновь возвращает меня в Подвысокое.

Седьмого августа, уже на шестой неделе войны, новая встреча с начальником разведотдела 6-й армии. Могу теперь признаться: я полагал в тот раз, что мы никогда больше не увидимся на этом свете. Новобранец, возбужденно сверкая украинскими черными-пречерными глазами, говорил:

— Мы набили их превеликое множество, но вырваться из капкана вряд ли удастся. Будем драться до смерти.

Мне запал в душу образ этого человека, сохранилась в памяти необычная фамилия, видимо связанная с рекрутскими наборами в Российской империи. Долгое время я был убежден, что Новобранец погиб там, у Зеленой браны, но через многие годы после тех трагических событий неожиданно, как выражаются военные разведчики, «вышел на него».

Вот эта история из серии «очевидное-невероятное».

Был я в командировке в Норвегии, на краю Европы, за Полярным кругом, в местах, погруженных в долгую ночь, расцвеченную северным сиянием. Меня пригласил в гости старый рыбак, член Общества дружбы с Советским

Союзом. Придя в его домик, стоящий на скале у фиорда, я уютно устроился в кресле, застеленном оленьей шкурой, и стал рассматривать семейный альбом. На фотографиях — женщины в накрахмаленных чепчиках, мужчины в воскресных сюртуках, благочестивые пасторы, младенцы в колыбелях, наконец, король Хокон.

Старый рыбак комментировал:

— Да, это наш король. Когда после войны правые требовали запрещения компартии, он с ними не согласился.

Рядом с портретом короля — еще один портрет.

Человек средних лет, в вязаной фуфайке, в суконной шапочке. Может, каменщик, может, моряк... А глазищи-то нездешние! Где я их раньше видел, эти пронзительные черные глаза?

— Простите, это кто?

— Товарищ Базиль. Немцы содержали его под особой охраной в штрафном концлагере в скалах. Но он сумел связаться с нами, через нас устраивал побеги своим товарищам, переправлял ваших солдат в партизаны или в нейтральную Швецию. Когда началось освобождение, пленные избрали его своим главным.

Его даже король принимал и благодарил русских за мужество. Вот потому и портрет его в альбоме рядом с портретом короля.

Уезжая на родину, Базиль оставил записку. Мне показали потускневший листок из школьной тетради в косую линейку. Там было написано: «Спасибо вам, норвежские друзья. Василий Новобранец». И тут же адрес: Москва, 2-я Извозная.

Боже мой! Неужели мне предстоит новая встреча с Василием Новобранцем, да еще и на той улице, где стояли наши метростроевские бараки?

Вернувшись в Москву, я поспешил в Дорогомилово. Извозной улицы там нет, она теперь Студенческая. Но номер дома и квартиры совпадают. Мне открыл дверь Василий Андреевич Новобранец, собственной персоной. Уже не подполковник, а полковник.

Я передал ему приветы: один из Норвегии от северных друзей, а другой — из сорок первого года, из Зеленой брамы.

Несколько дней июля

С рассвета — бой.

Противник предпринимает очередное, мощное и наглое наступление. Артиллерийский налет заставляет нас вжиматься в землю, искать укрытий.

Почти одновременно с интенсивным обстрелом появились бомбардировщики. Бомбы вонзаются в холмы и поля, тяжело взрываются, вздымают столбы земли. Бомбят не прицельно, но все равно тяжело. Солдатский телеграф уже оповестил всех, что на нашем участке фронта истребителей застигли на аэродромах, потери велики, так что в небе «он» хозяйничает, наших самолетов не жди.

Обстрел и бомбежка такие, что кажется (это противнику, наверное, кажется!) — все на нашей стороне уничтожено. Сейчас «он» двинет танки, погонит вперед пехоту, сметая на своем пути то, что еще не сметено окончательно.

Я нахожусь на наблюдательном пункте полка, вместе с командиром и комиссаром. Вижу: немецкая пехота растянулась в цепь. Наш майор с орденом на гимнастерке, командир полка, одолжил мне отличный трофейный бинокль «Цейс Икон», и я имею возможность разглядывать каждого солдата в отдельности. Впрочем, достаточно и хватит с меня, если круги бинокля выхватят из голубизны июльского дня несколько фигур.

Лица загорелые, даже можно разобрать, что надменные. Каски заломлены на затылок. Ворота мундирчиков расстегнуты, рукава закатаны. Черные автоматы своими прикладами, похожими на жесткое кавалерийское стремя, прижаты к животам, поперек которых свободно болтается ремень, а на нем — я уже знаю — металлическая пряжка со словами, вписанными в круг, «с нами бог».

Пришельцев встречает огонь, кажущийся беспорядочным, но именно эта беспорядочность создает для них ад, из которого не выйти, от которого не спрятаться никуда, не спастись. Пусть получают свое!

Что ведет их? Умело внушенное им ощущение превосходства и вседозволенности — это ведь основные психологические признаки фашизма. Мы для них недочеловеки, низшие организмы. Как жаждут они нашей земли!

Что руководит нами? Приказ? Хриплые команды? Наверное, и они тоже.

Но прежде всего самовозгоревшееся в душе чувство родины и непреложная необходимость защитить ее, и только защищая ее, защитить и себя, и свои семьи, и своих друзей, и товарищей. И революцию нашу Октябрьскую и все другие, что были в прошлых и в этом столетии и будут еще, но только в том случае, если мы не пропустим этих наглицев через зеленые пологие подольские холмы.

Командир полка, давший мне свой трофейный бинокль, пользуется для руководства боем исключительно связными. Телефонные провода не успели размотать, радиостанция разбита. Командир говорит связному, чтоб бегом, с его почерневших, запекшихся губ слетают не команды, не приказы, а просьбы.

Как зовут майора, не помню, конечно, не помню, больше сорока лет прошло; вспоминаю, было все словно вчера. Из глубин забвения, вопреки уходящему времени, выплывает его образ, да и имя тоже — комиссар звал его ласково «Михмих», значит, он был Михаил Михайлович.

Я еще помню, он сказал: «Эта местность так похожа на испанскую... То ли горы, то ли холмы. Чисто, как под Теруэлем...»

Идут цепи автоматчиков, приближаются.

Михмих наклоняется в мою сторону и почему-то шепчет: — Сейчас увидишь — бой переломится. Только бы у моих выдержки хватило еще минуты на три. Только бы они не побежали раньше времени.

Что значить «побежали»? Вперед или назад побегут?

Местность открытая, все видно.

С левого фланга, опережая цепи автоматчиков, выползают их приземистые танки. Кресты на башнях, на броне отчетливо видны.

Вроде бы и выстрелов нашей артиллерии не слышно, но смотрите, смотрите — один танк, приблизившись к едва намеченным в поле траншеям, задымился. Пламя плохо видно при таком солнце, а дым косматым клоком болтается по ветру, словно какой-то зверь в черной шкуре вскочил на броню.

Потом узнаю, как загорелся первый танк, и еще один, и еще.

Их подожгли, метнув бутылки с зажигательной смесью.

Берлинские газеты с издевкой писали: против танков русские выходят с бутылками из-под молока и вина, наполненными бензином. Внесу поправку — не просто бензином наполняли бутылки, но зажигательной смесью, самодельно приготовленной дивизионными химиками.

Несколько позже, к исходу лета, бутылки с зажигательной смесью стали прибывать из тыла уже как боеприпасы, впрочем тоже изготовленные кустарным способом в какой-нибудь мирной-премирной артели, спешно перестроившейся на военный лад.

Насколько я помню, задача состояла в том, чтобы замедлить пылание и быстрое сторание бензина; к нему добавляли и керосин и даже деготь.

И танки вспыхивали, и оказалось, что сперва загорается краска, а потом и сталь раскаляется, рвется под броней боезапас.

Но дело, разумеется, не в рецепте зажигательной смеси.

Для того чтобы поджечь танк, красноармеец должен выйти на него — один на один, — почти инстинктивно выискать зону, не простреливаемую на таком близком расстоянии, но все равно смертельно опасную, вернуться от наползающих гусениц и швырнуть бутылку прицельно, метя в сочленение башни и корпуса или смотровую щель, чтобы запылавшая смесь проникла в утробу машины.

Поединок человека и танка, требующий от метателя невероятной отваги и беззаветности.

Оказалось все-таки, что бутылки из-под молока или вина — грозные снаряды, способные уничтожать танки.

Потом пришлось видеть другие бои и в других обстоятельствах, наши танки надвигались на врага, он оборонялся не только артиллерией, бьющей прямой наводкой, но и гранатами, и фаустпатронами. А вот бутылок с зажигательной смесью у него не было.

Нечего скрывать, фаустпатроны не раз причиняли нам потери и горе, но я все-таки думаю, что причина отсутствия у немцев столь немудреного оружия, как бутылки с горючей смесью, в том, что не было среди них людей, которые могли бы подойти к танку на три метра и вот так, почти как спичкой, поджечь его. Позже у них появился фаустпатрон. Фаустпатрон — как ни оценивай его — оружие, поражающее на расстоянии и применяемое для стрельбы из-за угла.

В Германии газеты еще высмеивали наши бутылки, а их танкисты на фронте страшились и приходили в отчаяние, увидев в смотровую щель парня в рваной гимнастерке,

с проклятием на губах вырастающего перед танком. А в руке его — эта самая высмеянная бутылка.

Бой рассыпается на отдельные рукопашные схватки, на штыковые поединки.

Оказывается, надменный и обнаглевший противник умеет не только наступать. Он бежит трусливо и растерянно, да еще с какими-то жалкими воплями.

Наши контратакуют. Переходят к преследованию.

Не знаю, насколько удастся отогнать горных егерей, на километр, может быть, на полтора. Но это возвращенные полтора километра территории Союза Советских Социалистических Республик, очевидная победа на поле боя, хотя и стоившая немалых жертв.

Санинструкторы эвакуируют раненых. Замечу, что подбирают не только наших, но и брошенных солдат вермахта. Они стонут и с нескрываемым ужасом и удивлением смотрят на восемнадцатилетних девчонок (пилотка не может усмирить косы, они приподымают ее, выползают золотыми змеями), склоняющихся над ними.

Наша взяла! Какое счастье, что я видел все своими глазами! Какая статья будет в армейской газете «Звезда Советов»! Но нет, не как газетчик радуюсь я. Это было бы мелко, честное слово. Я видел, как немцы попятились, побежали, откатились!

Противник притих, затаился, лишь изредка постреливает гаубица. Снаряды ложатся беспорядочно.

В эти минуты относительного затишья у людей есть потребность общения друг с другом. Поскольку я человек новый, больше обращаются ко мне.

Положение на этом участке сложилось трудное, но, пожалуй, не труднее, чем на других дорогах отступления нашей армии. Однако в полку атмосфера такая, будто ничего страшного не происходит, воюем, помирать не собираемся. Я заметил и вывел для себя нечто похожее на формулу: «Спокойствие на передовой обратно пропорционально опасности».

Мне с веселыми комментариями рассказали интересную историю, которую я тогда записал, хотя надежд на ее опубликование в армейской газете никаких не было. Помню ее и поныне, попробую воспроизвести.

Отступая, мы дошли почти до старой границы. Отход проводился довольно организованно — не только марш, не только контратаки, не только оборонительные и арьергардные бои, но и биваки, паузы, кстати, довольно продолжительные.

Недавно впервые призвали в Красную Армию молодежь областей Западной Украины, менее двух лет бывших советскими и теперь оставляемых нами. Значит, двадцатилетние новобранцы до восемнадцати росли и жили в панской Польше. Политработники старались создать обстановку, при которой не было бы различия в отношении к «новым» и «старым» советским гражданам. Но разница все же чувствовалась: одни — советские с рождения, другие выросли в старом мире, за границей.

И вот к командиру первого батальона обратились два «западника» — так их называли — и попросились... домой. Смущенно и сбивчиво они твердили пану начальнику, что их родная «вулька» совсем рядом, вон за тем бугром, что они только переночуют в материнской хате, попрощаются с семьями и утром вновь будут в своем взводе. Комбат развернул карту: покажите свою деревню, — но оказалось, что в карте они не разбираются, да и вообще неграмотны.

Комбат, контуженный, полуоглохший, трое суток без сна, выслушал их, что называется, вполуха, невозможная их просьба скользнула мимо его сознания, и он их отпустил, махнув рукой. Когда две неуклюжие фигурки скрылись за бугром, комбат опомнился: куда они девались, да еще и с винтовками?

Он смущенно доложил о происшедшем командиру полка и получил от Михмиха предупреждение о неполном служебном соответствии, замешанное на выражениях, которые в печати не воспроизводятся.

— Ты еще и за винтовки, и за патроны отчитаешься!

Догонять парней было уже поздно. В среде командиров эта история, явное «ЧП» (чрезвычайное происшествие) и безобразии обсуждалось без должной серьезности. Командира первого батальона любили, все видели, в каком он состоянии. Темных «западников» иначе, как дезертирами, уже и не называли, хотя повар, пользующийся репутацией мудреца и оракула, глубокомысленно изрек:

— А если бы твой дом был за бугром, ты б не сбегал до мамки? Утром явятся, как миленькие, будьте уверены.

На исходе короткой летней ночи из-за бугра была слышна беспорядочная стрельба, на нее особого внимания не обратили. Стрельба с 22 июня не прерывалась.

А повар оказался прав. «Местные» с рассветом явились, понурые, грустные, неразговорчивые. Комбат хотел было их отругать, но вспомнил, что сам отпустил до дома, до хаты, и тоже загрузил. Наверное потому, что им позави-

давал — они побывали в своих семьях, и корил себя за недоверие, которое всю ночь росло в нем.

— Чего носы повесили?

— Мотоциклы уже там...

Комбат сказал им что-то утешительное, но вряд ли утешил и их, и себя самого. Отправил во взвод.

Было это, говорят, дней за пять до моего прибытия в полк. Жаль, что я не свидетель...

Я хотел найти этих хлопцев, поговорить с ними.

Но оказалось, что на следующий день после возвращения из дома оба погибли в бою за свою Советскую Родину.

Матушка-пехота окапывается.

Настроение возбужденное — вот бы сейчас рвануть вперед! Сегодняшний бой убедил — враг штыкового удара не выдерживает.

Эх, и погнали бы «его»!

Но приказ — закрепиться.

Тоже не так плохо: отвоеван кусок родной земли, в него врасем, используем передышку, а завтра вновь ударим, да еще покрепче, чем сегодня.

Я достал из сумки свою тетрадку в косую линейку. Надо попробовать написать стихи. Ритм задан, первая строчка есть:

Атака, атака, атака!

На наблюдательном пункте оживление. Прибыл капитан из оперативного отдела армии — я его видел там в первый день своего пребывания на фронте. Он от макушки до каблуков так обработан волнистой серой пылью, будто вылеплен из глины.

Непонятно, почему оперативщик из армии оказался в полку.

Он отвел Михмиха в сторонку, они о чем-то мрачно разговаривают, развернули карту, водят по ней карандашом, поворачивая ее то так, то этак. К ним подошел комиссар, только что улыбался, был явно обрадован итогами боя, но вдруг тоже посуровел...

Держись сбоку, чтобы не мешать. Но стихотворение, которое я начал набрасывать на косо расчерченную страницу школьной тетрадки, что-то не идет, застопорилось.

Атака, атака, атака...

Но каким-то неведомым и подлым образом в мозг проникает рифма, которая мне здесь ни к чему, может только нарушить пафасное настроение стиха:

Однако, однако, однако...

Здесь на командном или наблюдательном пункте существует таинственный барометр настроения. Стрелка явно повернула на «пасмурно», хотя июльский день сияет во всем своем великолепии.

Тревога заползает в душу. Физическое ощущение еще неизвестной, но неотвратимой беды как лихорадка: надо взять себя в руки. Улыбаюсь, и мне самому улыбка кажется жалкой и глупой.

Однако, однако, однако...

Командир полка подзывает меня. В его руках квадрат карты, стараюсь боковым зрением разглядеть, что на ней нарисовано синим и красным карандашом. На севере, то есть на правом фланге, много синих ромбиков. Они уходят на восток, за сгиб карты... Я уже знаю, что это за значки.

— С наступлением темноты,— потупясь, глядя куда-то в сторону, говорит Михмих,— начнем отход. Надо сняться по возможности скрытно, по дороге пустим только обоз и пушки, а роты пойдут полем — три километра открытого пространства, а там втянемся в лес. Надо нам спуститься в батальоны. После такого удачного дня одного приказа на отход недостаточно. Необходимо каждому стрелку разъяснить обстановку.

Я здесь всего лишь представляю редакцию газеты и оказался в полку для сбора материала. Об успешной контратаке надо скорей написать. Могу распрощаться с командиром полка, с комиссаром, сесть на попутный транспорт и выскочить из этой явно назревающей ловушки.

Вот сейчас сниму с шеи, отдам Михмиху его превосходный бинокль и прогулочным шагом, чтоб не подумали, что спешу, отправлюсь в восточном направлении.

Имею право. Вроде бы даже обязан отбыть в свою часть, то есть в редакцию.

А все эти люди, с которыми пережил этот мгновенный и длиннейший бой, которых видел в контратаке и разделил с ними ни с чем не сравнимую радость победы, пусть небольшой, частной, местного значения, а все-таки реальной и обнадеживающей... Все эти мои товарищи (как я хочу, чтоб они признали меня своим боевым товарищем!) останутся здесь, а ночью выставят заслон и начнут тяжелый и опасный отход, и неизвестно еще, выберутся ли, обойденные танками с флангов. А я выскочу, я везучий, я счастливчик.

Возможно, и даже наверное, получу благодарность редактора за своевременно сочиненные и доставленные в номер стихи.

Но останусь ли я честен перед самим собой, а значит, останусь ли я поэтом — вдруг мне еще долго жить на земле? Как я смогу жить с такой тяжестью на душе?

Невозможно сейчас отбыть к месту службы!

Получаю разрешение командира полка и иду с ним и комиссаром в батальоны.

Представитель оперативного отдела остается с начальником штаба, у них свои дела.

С того дня прошло более сорока лет. Много горестного, трудного, страшного пришлось мне пережить и увидеть в разные времена и при всяких обстоятельствах. Когда-нибудь расскажу...

Но клянусь памятью матери, не было в моей жизни более тяжкого испытания, чем тогда, когда я объяснял окапывающимся стрелкам, что с наступлением темноты (как поздно в июле темнеет!) мы начнем отход.

Отход не просто с нашей земли, но с возвращенной сегодня, отбитой, вырванной из рук врага.

Мы должны оставить в этой земле только что похороненных наших товарищей.

Мы отдаем эти поля и холмы даже без сопротивления.

Солдат сорок первого года, каких-нибудь две недели кочующий из боя в бой, не может разбираться в вопросах тактики, а тем более стратегии. Он не хочет поверить мне, что единственно правильное решение в создавшейся обстановке — оторваться от противника и отступить на рубеж реки с детским именем Мурашка.

Я говорю, что в сегодняшнем бою он был героем. Не лгу, говорю то, в чем убежден.

Он смотрит на меня исподлобья, воспринимая мои слова как неуместную лесть. Кому нужен такой героизм — гнать противника полтора километра, а потом отойти на двенадцать?

Известие о предстоящем отходе распространяется быстрее, чем наша запланированная разъяснительная работа. Тем более что всей серьезности создавшегося положения я выдать не имею права. Меня, что называется, не уполномочивали.

Где-то в этих наскоро отрытых окопах возникает черное подозрение: не является ли немецким агентом этот неизвестный старший политрук, который лишь позавчера

показался здесь и все время что-то записывал в тетрадочку в косую линейку?

Чувствую на себе тяжелые, недоверчивые взгляды.

Командир полка майор Михмих ведет разговор с лейтенантом, заменившим только что умершего от ран комбата. До меня доносятся лишь обрывки слов, но видно, что разговор идет на крутых виражах.

Лейтенант не может понять командира полка, да и сам командир рад бы оказаться лгуном, но, увы, он говорит правду, невыносимо горестную и знающую лишь единственный путь к спасению полка, а дальше и дивизии, а может быть, и армии.

Надо отступить, отойти как можно скрытней и быстрее.

Я отходил с этим полком. Страшная была у нас ночь.

Разговоров пришлось послушаться всяких. И даже, что командир полка продался, а прибывший на наблюдательный пункт капитан с пакетом — вовсе не из штаба армии, а черт его знает откуда.

И конечно же кто-то в темноте уверяет, что, не остановив преследование, так бы и гнали «его» до новой государственной границы, что был приказ самого Сталина двинуться вперед и овладеть городом Люблином, а наши начальники его не выполнили, все отходят и отходят.

Утром, когда полк остановился на рубеже, предписанном в армейском приказе, выяснилось, что капитан с пакетом промахнулся — искал дивизию, а попал прямо в полк, — поэтому другие полки не получили приказа, и теперь с ними нет никакой связи, и дороги перерезаны. Потом стало слышно, что еще один полк и часть танковой дивизии вырвались, потеряв много людей и техники.

А я на какой-то шальной полуторке, принадлежавшей понтонно-мостовому батальону и потерявшей его, проскочил на Подволочиск и услышал там, что армия отходит на старую границу и уж дальше в глубь страны не сделает ни шагу.

Две недели августа

1 августа

Ночью группа войск и ее штаб оставляют Умань. Приказ командования Южного фронта: отойти на рубеж реки Синюхи.

На рассвете Военный совет двух армий радирует командованию Южного фронта и Государственному Комитету Обороны: «Положение стало критическим. Окружение 6-й и 12-й армий завершено полностью. Налицо прямая угроза распада общего боевого порядка 6-й и 12-й армий на два изолированных очага с центрами в Бабанке и Теклиевке. Резервов нет. Просим очистить вводом новых сил участок Терновка — Новоархангельск. Боеприпасов нет. Горючее на исходе».

Дошла ли радиограмма до Ставки?

Но до штаба Южного фронта депеша дошла, и командующий И. В. Тюленев немедленно радирует ответ:

«Прочно удерживать занимаемые рубежи...»

По названиям населенных пунктов, указанных в радиограмме, можно определить, что Понеделин нацеливался на прорыв в юго-восточном направлении.

1 августа, возможно, прорыв удался бы...

Штаб Южного фронта располагал сведениями, к сожалению не очень достоверными, будто противник выдохся и остановился. Кроме того, некоторые донесения укрепляли надежду. Вот, например, сводка № 071, тоже датированная 1 августа и дошедшая до штаба Южного фронта:

«13 часов. Пограничники и войска 10-го укрепленного района овладели Нерубайкой и продолжают наступление на Торговицу».

Но следующая депеша — записка от начштаба 6-й армии, переданная с оказией (эвакуация раненого на самолете), полна тревоги:

«15 часов 45 минут. Для принятия эффективных мер и выбора направления выхода из окружения прошу срочно (лучше самолетом, чем по радио) сообщить, где находятся

ваши силы, направление действий противника и ваши планы на ближайшие дни. Самолетов связи мы не имеем. Иванов».

И опять — надежда!

«17 часов 00 минут. 44-я горнострелковая дивизия, разрывая кольцо противника, овладела Новоархангельском...»

К сожалению, закрепиться ей не удалось.

Вечер того дня был тихий и душный. Противник вел редкий артиллерийский обстрел.

В поисках ночлега я разыскал землянку штаба 99-й дивизии. Комиссар А. Т. Харитонов с шутовой досадой сказал: «И ты на мою голову!» Во время боя в Ивангороде к нам явились писатели Иван Ле, Леонид Первомайский и Виктор Кондратенко. Они прямо из Киева, привезли, оказывается, поздравление маршала Буденного с орденом Красного Знамени и песню дивизии, сочиненную Александром Твардовским. Вот, посмотри!

Я увидел знакомый почерк Твардовского. Он послал в подарок дивизии рукопись. Полковой комиссар Харитонов прочитал:

*Били немца-фашиста,
Били крепко и чисто
И сегодня идем добывать.*

И добавил, раздумывая вслух:

— Не очень актуальный куплет. Нынче они нас бьют. Но мы еще споем эту песню в Берлине и Гамбурге!

Я точно запомнил поразившее меня тогда упоминание о Берлине и Гамбурге...

2 августа

Военному совету вручается радиограмма, полученная из штаба Южного фронта. Приказано ликвидировать просочившегося противника. Это определение могло бы вызвать улыбку, но сейчас не до улыбок: мы окружены достаточно плотным кольцом, сквозь него не просочиться, его надо пробивать, не то чтоб «ликвидировать просочившегося». Но разрешения идти на прорыв нет.

Войска занимают круговую оборону. Таков приказ Военного совета. За ночь открыты траншеи, поставлены противотанковые заграждения и мины. Мы затаились.

Противник самоуверенно предполагает, что многократное превосходство принесет ему скорую победу. Он уже назначил даты, когда будут захвачены Киев, Днепропетровск, Запорожье, когда его орды распространятся по левобережью Днепра.

Клейст торопится — ему нужно выслужиться, скорая победа необходима, чтобы затушевать возникшие подозрения в недостаточной его верности фюреру.

У нас мало боеприпасов. Ведется только прицельный огонь по атакующим. В ход пошли гранаты.

Предпринимаются контратаки — старый верный штык.

Мы знаем, что командование юго-западного направления, в частности Юго-Западный фронт, которому 6-я и 12-я армии формально уже не принадлежат, предпринимает упрямые попытки помочь окруженной группировке. Ставка вновь и вновь тревожно запрашивает маршала Буденного, какая помощь оказывается группе Понеделина. Полковник Владимир Судец наносит силами своего корпуса удары с воздуха по танковым колоннам Клейста.

Дивизии изготовились к обороне пока еще в своем составе, но возникло и как-то само собой утвердилось правило: отбившиеся от своих красноармейцы тут же зачисляются в те отряды, на участке которых они оказались.

Перестраивается характер подразделений и частей. Это уже во многих случаях не роты, не батальоны (слишком поредел их списочный состав), а отряды. Изменился — по обстоятельствам — боевой порядок. Для отряда характерно то, что у него нет тылов. Бойцы всех тыловых служб стали стрелками.

Артиллеристы стреляют только прямой наводкой. Экономия снарядов. Но и отсутствие закрытых целей...

Накопившись на опушке дубравы, большой отряд наших идет в контратаку.

Задача на местности ясна, нет нужды даже в карте: надо пройти, пробежать, преодолеть огромное — километра два — подсолнечное поле (подсолнухи все же представляют собой укрытие) и выбить егерей из другого леса.

Почему-то все уверены, что преодоление этого участка все решит, выбить врага из того леса — значит прорваться.

Если бы...

Атака захлебывается.

Громадный красноармеец (в те годы великаны еще редко встречались) несет на плече, как куль, командира. Он дотягивает до опушки, вместе со своей ношей опускается на землю, густо усыпанную прошлогодними желудями и свежими патронными гильзами.

Командир убит — понятно это всем: рана видна, но не заметно кровотечения (если человек убит, кровь почти не проступает, видимо, сердце уже не подгоняет ее).

Четверо бойцов, торопясь, иступленно, молча, штыками колот землю: роют могилу. Вспоминаю: где-то в невозвратной мирной жизни, в московской юности, было у меня и у моих товарищей любимое стихотворение, а в нем такие строки:

*И бедная почестъ в ночи отдана;
Штыками могилу копали;
Нам тускло светила в тумане луна,
И факелы дымно сверкали.*

Мы читали стихи наизусть, но не могли согласиться, что факелы сверкали. Может быть, мерцали?

Но сейчас они не сверкают, не мерцают. Никаких факелов. Стихи называются «На погребение английского генерала сира Джона Мура», написаны ирландским поэтом Чарльзом Вольфом о командующем, который погиб в сражении с войсками Наполеона при Корунье в Португалии.

Значит и раньше генералы гибли на поле брани. Имя генерала утвердилось в веках именно через стихи, а поэт забыт — это было единственное его сочинение...

Разве еще существуют стихи?

На полевых петлицах убитого четыре шпалы. Полковник? Полковой комиссар? На гимнастерке орден Красного Знамени. Не свинчивается, впаялся в ткань. Орден вырезают ножом, захватывая большой участок гимнастерки, вместе с левым карманом — наверное, там документы. Над убитым склоняется генерал, приникает лицом к его плечу. Генерал поднимается, я узнаю его — это командир дивизии, его фамилия Верзин. Я видел его при прорыве линии Маннергейма в прошлом году. Лицо мокрое, словно он умывался, но это неудержимые слезы.

Тело полковника поспешно присыпают землей. Из леса вышел лейтенант, подвел сюда красноармейцев с винтовками, наверное, хочет дать над могилой залп, как положено. Но Верзин, вытирая лицо рукавом, тихим голосом говорит: «Патронов мало, если стрельба залпом, то исключительно по врагу!»

На какие-то считанные минуты мы с Сергеем Владимировичем Верзиным оказываемся, что называется, с глазу на глаз, один на один.

— Прости, что я так расстроился, тяжело пережить гибель товарищей, а своей смерти не боюсь, — жестко говорит он, и я не могу не поверить генералу. В его дивизии — 173-й стрелковой — я успел побывать во время тяжелых июльских боев, видел не раз, как он четко и умело управляет боем,

не мог не заметить, каким уважением подчиненных он окружен.

Комиссар дивизии Карталов сказал мне при первой встрече:

— Наш Сергей Владимирович — гордость Киевского Особого военного округа, самый строгий и душевный человек, какого я знал!

Генералу Сергею Верзину остается жить лишь считанные дни и ночи, составляющие один сплошной бой. К 9 августа дивизия превратится в горстку израненных красноармейцев и командиров; он поведет их в штыковую атаку, а когда останется один, выстрелит себе в сердце.

Полковой комиссар Карталов, могучий человечище, в этой последней схватке будет скручен и связан врагом, но через несколько дней совершит дерзкий побег и вскоре объявится среди подпольщиков и партизан Винничины, чтобы сражаться, вновь сплачивать людей. Схваченный гестапо, он пойдет на казнь спокойно, палачи будут в страхе отворачиваться перед его ненавидящим и презирающим взглядом.

Пройдет много лет.

Весенним днем я окажусь в новом высотном и голубостенном микрорайоне на окраине Москвы, среди людей разных поколений, друг с другом, однако, чем-то схожих и очень знакомых мне, — глубоко в орбитах светлые, как говорят, стальные глаза.

Дети, внуки и правнуки генерала Сергея Верзина слушают мой рассказ о нем, о тяжком и героическом начале августа сорок первого.

Со стены смотрит на нас портрет нестареющего (только что перейден рубеж сорока) задумчивого человека со стальными глазами, в мундире со звездочками еще не на погонах, а в петлицах.

Два ордена и медаль «XX лет РККА» у него на груди, а третий орден — Отечественной войны I степени — посмертный, врученный семье, привинчен к углу фотопортрета...

...Это будет не скоро, это будет потом, но в том же мире и на той же планете.

А пока в дубраве и по всей округе идут — лишь с минутными передышками — тяжкие бои. Обе стороны несут большие потери.

Вот строка из сохранившейся сводки штаба тыла Южного фронта № 035: «Артыстрелов 5—10 на орудие. Обеспеченность горючим близка к нулю. Для танков и самолетов горючего нет...»

3 августа

В широко известном теперь дневнике бывшего начальника генштаба сухопутных войск Германии генерала Гальдера сказано, что в этот день передовые отряды 17-й немецкой армии и 1-й танковой группы «соединились севернее Первомайска, захлопнув в кольцо 6, 12 и 18-ю армии». Это обычное бахвальство — 18-я армия вырвалась из окружения.

Противник меняет тактику. Горные егеря опасаются фронтальных атак. Горят танки Клейста, подожженные последними бутылками с горючей смесью. Вражеская авиация предпринимает ожесточенные бомбежки и штурмовку окруженных. Самолеты идут волнами. Наша зенитная артиллерия бессильна против них — снаряды кончились.

Войска втягиваются в дубравы. Здесь мечутся наши кони и мулы немецких альпийских дивизий, обезумевшие от бомбежки.

Один из участников сражения «с той стороны» в опубликованных в Федеративной Республике Германии мемуарах вспоминает, несомненно, именно этот бой:

«Русским удалось пробиться в лесочек, где стояли сотни лошадей и мулов. Ответный удар надо было нанести так, чтобы не пострадали животные».

Бесстыдно ханжеская запись!

Гуманность по отношению к лошадям и мулам особо отвратительна на фоне чудовищной жестокости, свидетелями которой мы оказывались на каждом шагу в те дни на поле боя, потерявшем свои четкие очертания, с перемещающимися и быстро изменяющимися позициями сторон.

Горные егеря расстреливали раненых красноармейцев, добивали тех, кто не мог подняться. Мы наталкивались и на зверски изуродованные трупы своих товарищей. В наших рядах оказалось немало военнослужащих (врачей, телеграфисток и телефонисток), а также вольнонаемных молодых женщин. Среди них мало кто был вооружен. Как издевались над ними, как палачествовали современные псы-рыцари!

Позже, допрашивая немецких пленных, мы узнали, что у них спущено в войска следующее распоряжение главного командования: обращаться с женщинами в военной форме как с солдатами регулярной армии, а с вооруженными женщинами в гражданском — как с партизанами.

На оговорку о женщинах вооруженных опьяненные кровью пришельцы внимания не обращали. Любая служила им мишенью.

Исполнение директивы становилось садистским наслаждением, зато теперь благообразные старички бюргеры вспоминают, как жалели лошадей...

Воспоминание одного из седых ныне жителей Подвысокого, записанное мной в 1980 году: «Когда битва отгремела, мы, мальчишки, отправились в браму. Конечно, на поиски оружия. В лесу всегда бывало прохладно, густая зелень создавала даже сумрак. А в тот раз нас удивила жара. Мы не узнали свою браму — в ней отсутствовала тень! Деревья больше чем наполовину лишились листвы. Лес стоял, как обмолоченный...»

Что это? Разве война убивает и тень?

Едва стихала бомбежка, возобновлялись наши контратаки. Каменечье и другие окрестные деревни переходили из рук в руки. Отдельным контратакующим отрядам удалось прорваться, форсировать Синюху по разбомбленным переправам, уйти от егерей, обложивших нас со всех сторон.

Смотрю сегодня на мирную-премирную карту Черкасской и Кировоградской областей и убеждаюсь, что не сумею нанести на нее точные данные и границы кольца окружения. Обстановка менялась с такой быстротой, что и тогда невозможно было показать ее на карте.

Вероятно, картину можно сложить лишь из мозаики эпизодов, писем, воспоминаний товарищей, розыска красных следопытов, обрывков документов...

4 августа

Запомнилось многим... Я написал два этих слова и вдруг почувствовал какую-то их неправильность. Тот год и годы боев потом, а теперь уже и беспощадное время отобрали у меня право говорить, что многим запомнилось.

Нас осталось так мало!

И все же воспоминание, которое я не могу не привести, повторяется в нескольких письмах.

На пшеничном поле между западной окраиной Подвысокого и Копенковатым стоят без горючего последние танки 15-й дивизии. Это Т-26, их восемь, у них действуют только пулеметы. Их обгорелые остовы противник потом гордо зачислит в свои трофеи.

И вдруг из дубравы, подходящей вплотную к ниве, вырывается «тридцатьчетверка». Поначалу даже трудно

понять, что это танк: броня, башня — все облеплено бойцами в нижнем белье. Раненые — все до одного, видимо, покинувшие лазарет, чтобы сражаться. Многие без касок — не напялишь ее на забинтованную голову!

Только что горные егеря, расстегнув мундиры и засучив рукава, заняли Копенковатое. Но беспечность будет стоить им дорого.

Форсируя ход, мчится, как гигантский белый клубок, «тридцатьчетверка». Пушка молчит — снаряды израсходованы. Зато раненые ведут огонь из немецких автоматов, подобранных тут же, швыряют лимонки, кричат — не разбираешь что: проклятия, ругательства, ура, за Родину, за Сталина! Половина Копенковатого отбита этим трагическим десантом.

В опубликованном много позже в Федеративной Республике Германии дневнике одного из горных егерей — Рихарда Вурстера из Штутгарта я прочитал строки, несомненно, относящиеся к этому эпизоду:

«...На нас снова напала конница... Но тут вырвался русский танк на полной скорости и стал палить изо всех орудий...»

Что это значит — «изо всех орудий»?

На вооружении наших танков — одно орудие, ну еще и пулемет. Изо всех орудий ведут огонь крепости, форты, боевые корабли, неправда ли?

А тут всего один танк.: «Тридцатьчетверка»...

Но так увидел и так записал этот Рихард Вурстер, видимо, ошеломленный дерзкой вылазкой.

И местные жители, и оставшиеся в живых участники боев, и немецкие мемуаристы утверждают, что Копенковатое не менее шести раз переходило из рук в руки.

Каким образом распространился и как дошел до частей приказ Военного совета выступить утром пятого августа, прорываться в северном направлении?

Трудно это объяснить.

Связи по проводам уже не существовало.

Но последние остатки 190-й дивизии и приданного ей артиллерийского полка ночью приказ получили.

На рассвете собрали и сожгли документы.

«Все командиры и красноармейцы, — вспоминает артиллерист В. Кадашев, проживающий ныне в Минске, — собираясь идти на прорыв, старательно приводили себя в порядок. У кого еще оставалось что-либо в вещмешках, перебирали имущество, освобождаясь от всего, что может стать обузой в бою».

Сохранившие пару чистого нательного белья надевали его.

Прилежно умывались у колодца — давненько не приходилось. Пыль и гарь сделали всех смуглыми, а теперь лица посветтели.

Словно не к бою готовились, а к смотру.

Надевать чистое белье перед решающим боем — старинный благородный русский обычай, вот его и соблюли без всяких команд и вне расписания того дня. Не уверен, что многие в Зеленой бреме знали, что так поступали воины Александра Невского перед битвой на льду Чудского озера.

Выступление назначено на девять ноль-ноль.

В восемь тридцать артиллеристы простились со своими орудиями.

Сводный отряд был построен — пятьсот активных штыков. И всего пятьсот человек. Когда вышли за Подвысокое, поняли, что прорваться не удастся, надо биться здесь. И бились до вечера. Потери с обеих сторон страшные...

Управление войсками нарушено.

Штаб Южного фронта получает клочковатую информацию, на основании которой командующий фронтом отправляет донесение в Ставку: «Понеделину вновь подтверждаю приказ новыми атаками пробить себе путь и выйти из окружения».

Упомянутый в донесении приказ (боевое распоряжение № 0047) доставляет в Зеленую брему самолет санитарной авиации. Командующий Южным фронтом разрешает «своими силами организовать выход из окружения в восточном направлении».

Но переправы уничтожены.

Река Синюха на этом участке шириной до 80 метров, глубиной до трех.

В книге «Через три войны», вышедшей в 1972 году, Иван Владимирович Тюленев (он в 1941 году командовал Южным фронтом) с солдатской прямоотой признается: «...в тот день, когда писалось донесение в Ставку, 6-я и 12-я армии, измотанные кровопролитными боями, были уже полностью окружены под Уманью».

Бывший сержант из 15-й Сивашской стрелковой дивизии, теперь капитан запаса Гавриил Колчин (он вырвался тогда из кольца, сражался в Сталинграде, штурмовал Кенигсберг) вспоминает:

«Кажется, как раз 4 августа был ранен командир нашей дивизии Николай Никифорович Белов. Каким-то

чудом к нам прорывается санитарный самолет (наверное тот, что доставил боевое распоряжение № 0047.— Е. Д.). Белов улететь из кольца отказался. Генерал ответил летчику так: «В гражданскую я служил рядовым в дивизии, которой теперь команду. Со своими бойцами останусь до конца».

Командир 44-й танковой дивизии Василий Петрович Крымов ранен в атаке на кукурузной плантации. Связной офицер (ныне лектор общества «Знание» в Львовской области) А. А. Каменцев получает от раненого комдива задание:

— Найди Соколова и передай: еще час продержимся!

О каждом участнике тех боев можно писать рассказы и поэмы. Стоило лишь упомянуть о ровеснике века Василии Петровиче Крымове, товарищи полковника прислали воспоминания о нем, сыне печника и прачки, с семнадцати лет ставшем в строй защитников Советской власти.

С боями отводил он свою дивизию от границы.

Последнее письмо от него семья получила в июле 1941 года, оно было датировано третьим числом.

Полковник дает в нем бытовые практические советы: чтобы дедушка купил козу — надо обеспечить молоко детям,— что осенью надо записать детей в школу, не надеясь на скорое возвращение главы семьи. А в конце Василий Петрович сообщает, что положение напряженное, что он будет до последней капли крови сражаться с германским фашизмом.

Лишь через двадцать лет после победы семья узнала, как мужественно сражался Крымов. Его дочь Ирина Васильевна прочитала выросшим своим дочерям письмо комдива. Девушки удивились — последняя фраза какая-то газетная, а дедушка пишет своей семье...

Пришлось Ирине Васильевне объяснить, что для ее отца эта фраза и другие, ей подобные, не были лозунгами. Люди поколения Крымова были так воспитаны, это был их образ мыслей. И они доказали это своей жизнью и своей смертью...

Командир корпуса (он в старом звании комдива — с ромбами на петлицах) Александр Дмитриевич Соколов ведет отряд на прорыв. Приказано выходить в восточном направлении — командиры выполняют приказ.

Отдельные отряды прорываются на север, даже на запад. Оказывается, на этих направлениях враг не ожидал дерзких ударов. Вот бы и прорываться всей группе на север, с последующим поворотом на восток!

Ах, как легко потом, задним числом, в тишине и покое решать и судить, что надо было делать в тех мгновенно меняющихся обстоятельствах.

5 августа

Не знали мы тогда, как яростно сражаются части 18-й армии, как успешно пробиваются они в северном направлении!

Перед ними была поставлена задача открыть путь войскам 6-й и 12-й армий для выхода на Первомайск. Почему-то эти действия, имеющие все основания считаться героическими, совершенно не отражены в истории.

В нескольких километрах от Копенковатого — маленькая станция Перегоновка. К ней пробился один полк 141-й стрелковой дивизии, возглавленный бригадным комиссаром Кушевским. Перегоновка вновь в наших руках!

Но группа бригадного комиссара не знает, что в трех километрах западнее, в деревне Семидубы, — разведка 18-й армии, а километром южнее, в селе Вербове, ведет бой, доходящий до рукопашных схваток, 96-я горнострелковая дивизия, которой командует полковник Иван Шепетов. За доблесть, проявленную именно в этом бою, полковник Шепетов и командир полка Николай Миклей еще тогда, в сорок первом, будут удостоены звания Героя Советского Союза. Миклей погиб в том бою — близ Вербова ему поставлен памятник...

Еще одно усилие — и кольцо окружения на этом участке было бы прорвано!

Но окруженные об этом не ведали, а я узнал через сорок лет, изучая документы и воспоминания и сопоставляя их на карте местности.

Между тем командование 6-й и 12-й армий направляет войска на прорыв несколько восточнее, рассчитывая, что, форсировав Синюху, удастся по левому берегу реки двинуться к Первомайску.

Командир 141-й стрелковой дивизии генерал-майор Яков Иванович Тонконогов собрал остатки своего соединения. Это небольшой по численности, но отчаянный отряд, а главное — впереди комдив.

Яков Иванович Тонконогов — кумир своих бойцов. Он защищал Валенсию и Мадрид, он был советником-добровольцем в той дивизии, что осуществила окружение фашистских войск под Теруэлем.

Я слышал и записал летом 1941 года солдатскую байку о нем: во время боя на холмах Украины он облетает свои

полки на связном самолете, приземляется, наводит порядок, ведет в атаку, а после ее успешного завершения вновь вскакивает на второе место в своем биплане и взмывает в небо. Запись моя, разумеется, погибла, но легенда не умерла.

Инвалид войны, кавалер ордена Славы Василий Должиков (он был ранен в Подвысоком) рассказывал участникам клуба «Дорогой отцов» (с. Каменка Орловской области) вот какую легенду:

Колонна отходила по открытой местности, преследуемая автоматным и минометным огнем. Вдруг над головами красноармейцев застрекотал мотор. Обстреливаемый противником, связной самолет сел на жнивье, поблизости от дороги. Его замаскировала поднявшаяся пыль. Думали, что самолет подбит, но пропеллер вращался, и из самолета выскочил худой, быстрый в движениях генерал-майор. Должиков узнал командира дивизии и запомнил его фамилию — о нем стрелки говорили — Тонконогов. Комдив остановил колонну, несшую бессмысленные потери, приказал развернуться в боевой порядок, занять позиции, сообразуясь с местностью.

В эти минуты на подмогу преследователям пришли еще и танки. Но полк уже был иной — не отходящий, не обстреливаемый с флангов и главным образом в затылок. Он стоял на указанном командиром рубеже. Он занял оборону.

Это был бой не мгновенный — казалось, что он тянется бесконечно. И в течение всего боя неподалеку, на жнивье, маленький биплан, из тех, что звались и «кукурузниками» и «огородниками», стоял с вращающимся винтом как ни в чем не бывало, поджидая, когда освободится командир дивизии.

Атака врага была отбита. Генерал подошел к самолету, перекинул в кабину ногу, как конник прыгает в седло. Самолет разбежался, оторвался от земли, низко-низко полетел — наверное, искать другие части своей дивизии.

Легенда?

Я навестил Якова Ивановича Тонконогова в 1980 году в Киеве, возвращаясь после очередного посещения Подвысокого. Мы вспоминали Зеленую браму и говорили об Испании, куда я собирался плыть на теплоходе... «Увидишь гору Санта-Барбара — поклонись ей. Там мы дали им духу!»

Я рассказал генералу легенду о нем, спросил, был ли у него самолет. Яков Иванович рассмеялся:

— Пятого августа не было даже коня, и ясно всем, что вырваться из окружения можно лишь чудом. Но уничтожить как можно больше солдат противника, биться до последнего патрона было необходимо.

Этим и занимались.

В ночь на 6 августа

В 22 часа из уст в уста (проводной связи нет, о радиосвязи и говорить нечего) передается приказ: ночью всеми наличными силами возобновить прорыв в направлении Первомайска.

Сосредоточение — юго-восточная опушка браны. Сигнал атаки будет дан в час ночи. Артиллерийской подготовки не ждуть — снарядов нет.

В прорыв пойдет автоколонна. Главные люди сейчас — шоферы, главная задача — горючее. Сцеживают бензин из баков подбитых грузовиков.

Выстраивается колонна: во главу поставлены артиллерийские тягачи, тракторы. За ними — автомашины с пехотой и ранеными, затем пешие стрелки, два уцелевших танка, несколько броневиков, какие сегодня кажутся нам похожими на детский рисунки.

Прорыв начинается не в час, как было назначено, но лишь в два тридцать.

Тогда ночь прорыва казалась мне актом отчаяния.

Ныне, располагая сведениями, позволяющими составить всю картину, вижу, что это была спланированная операция. Тогда я не мог представить себе, что под минометным обстрелом, на грани гибели, штабисты планируют спасение как операцию. Так что не просто построили остатки войск в колонну, ринулись, что называется, очертя голову.

Оказывается, были, правда наспех, а все же сколочены отряды заслона; для каждого бойца таких отрядов (их было по крайней мере три) была ясна задача — обеспечить прорыв основных сил, было понятно положение — на собственное спасение надежда минимальна.

Тыл колонны прикрывал отряд, оседлавший дорогу, идущую от хутора Шевченко.

Стояли насмерть.

Защитник Перемышля, участник боев в бране и узник Дахау Иван Жмайло (ныне он живет в Ростове-на-Дону) помнит отчаянный арьергардный бой. Задача была простая: прикрыть колонну.

А своя жизнь, свое спасение?

Задача одна — прикрыть колонну.

Рев тракторов, лязг гусениц ошеломляет противника, он бросается вспять. Это моторизованная психическая атака второй четверти XX века. Едва высветлило, противник опомнился, понял — никакого танкового соединения перед ним нет. (Все же потом в хвастливых сводках он будет кричать о сотнях танков!)

Кинжальный огонь вражеской артиллерии. На рассвете — налет бомбардировщиков. Машины горят, но колонна движется. Она растянулась уже километров на десять.

Может быть, прорвались?

Но впереди, справа, слева — засады...

Подбит танк генерала Ивана Николаевича Музыченко. Генерал ранен.

Вот каким запомнилось то утро рядовому взвода разведки 88-го полка Федору Тюрину. Он пишет из города Шахты, где проживает, выйдя на пенсию:

«Лавина наша еще стихийно катилась по степи. Возле леска (эх, карту бы мне!) нас остановил полковой комиссар. Рукав засучен, рука толсто перебинтована. Он тянул к себе всех, как магнитом. Так как мы все тут перемешались (из своего полка мы, разведчики, никого уже не встретили), то каждый считал, что полковой комиссар и есть комиссар именно его дивизии. Я тоже считал, что это наш, которого ни разу в глаза не видел.

Мне казалось тогда, что нас вокруг комиссара тысячи три-четыре пеших и 500—600 верхом на лошадях. Лично я, да и не только я, узнали здесь, что мы еще к своим не вышли, а вышли в тыл, и к очередному бою комиссар в короткий час сколотил боевые группы. Бой в полдень был пострашней ночного».

6 августа

При полном отсутствии связи командования группы с подчиненными войсками, притом, что врагу удалось разбить окружение на несколько колец, все равно важнейшие сведения каким-то неведомым и невероятным образом становятся достоянием всех. Распространяются слухи, но, увы, они не ложны.

Сражающиеся отряды — на многих участках уже сборные, они включили в себя бойцов и командиров из разных частей и родов войск. (Все стали пехотой, у всех оружие — только штык, а если еще сохранилась — то и граната.)

Хотя отряды и группы создаются мгновенно, в этом раскаленном котле они мгновенно спаиваются в боевом единстве.

Связь разрушена, но «солдатский телеграф» работает.

Становится известно, что командармы Понеделин и Музыченко попали в засаду, схвачены врагом, пленены.

Передают подробности: Музыченко был блокирован в танке, Понеделина свалили наземь в рукопашной... А командиры корпусов? Снегов был захвачен тяжело раненым, на носилках, Кириллов был оглушен...

Но все же! Невероятно, немислимо!

Штаба группы более не существует.

Признаться, все ошеломлены этой вестью.

Иные не верят, утверждают, что командармы сложили головы во вчерашнем бою.

Другие готовы сгоряча взвалить на Понеделина и Музыченко всю ответственность за катастрофу.

Тут же яростные контрдоводы: ведь командармы предпринимали все меры, возможные в сложнейшей обстановке. Наконец, не они ли вместе с бойцами пошли в прорыв, показывая пример личной храбрости и отваги?

...Ивану Николаевичу Музыченко тридцать девять лет. Участник гражданской войны, краснознаменец. Родился в Ростове-на-Дону в семье матроса, окончил два класса учительской семинарии, стал красным командиром. Потом учился военному искусству — одним из его учителей был Павел Григорьевич Понеделин. Это человек, пользовавшийся большим уважением в Красной Армии. Учитель, сын крестьянина, он вырос в Ивановской области и добровольцем вступил в Красную Армию в дни ее основания. Он был соратником Фрунзе. В 1918 году стал коммунистом.

На гражданской войне командовал полком, а потом бригадой, ранен, награжден двумя орденами Красного Знамени.

Будучи на рубеже тридцатых годов преподавателем военной академии, оказался наставником многих, впоследствии отличившихся и ставших знаменитыми военачальников.

В Ленинградском военном округе он прошел путь от комдива до начальника штаба округа, был награжден орденом Ленина. Он участвовал в подготовке нового Устава и принял 12-ю армию за месяц до войны...

Разрозненные группы продолжают сражаться.

Вскоре на наши головы посыплются поганые листовки с фотографиями якобы изменивших Родине генералов и текстами будто бы сделанных ими пораженческих заявлений. Лишь через много-много лет американский историк Даллин в своей книге «Немецкое правление в России 1941—1945 гг.» опубликует найденный им в немецких архивах доклад о допросе 9 августа.

Вот, оказывается, что сказал советский генерал только что схватившим его врагам:

«Музыченко. Русские будут сражаться до последней капли крови даже в Сибири, потому что, когда речь идет о судьбе родины, ошибки, совершенные режимом, не имеют значения».

Надо иметь в виду, что это не стенограмма, а немецкое штабное изложение его слов, записанное каким-то военным переводчиком, потом включенное в некий сводный доклад, а теперь переведенное с немецкого на английский и уже с английского — на русский. Уверен, что слово «режим» Музыкаленко не мог употребить, такого слова не было в его словаре, вообще в нашем словесном обиходе тех времен.

Но позиция командарма-6 ясна и определена!

Что касается листовки с ошеломляющей фотографией — наш командарм Понеделин в окружении немецких генералов поднимает бокал шампанского, — то перед нами искусный образец монтажа — ловко сфабрикованная фальшивка. В тексте, с орфографическими ошибками отпечатанном на русском языке, командарм ко всему прочему назван еще и «предводителем дворянства».

Я видел провокационные листовки своими глазами. Не знаю, сохранились ли образцы в каком-либо архиве. Дело в том, что листовки приказано было уничтожать, и приказ выполнялся неукоснительно и с удовольствием.

В боях сорок первого года нашлось еще одно применение листовкам: их накальвали на штык, вместе со штыками они в атаке обагрялись вражеской кровью...

7 августа

Весь вчерашний день я провалялся среди убитых слева от дороги, на которой, когда я очнулся, громоздились разбитые машины, повозки, орудия, тракторы.

Что-то мне снилось, как в старину говорили, грезилось, но сразу исчезло и растворилось в безжалостной действительности. А жаль. Может быть, я побывал по ту сторону жизни.

Был уже вечер, и я обнаружил, что в разбитой руке у меня расщепленная винтовка, что гимнастерка почернела и задубела от крови. Когда меня перевязывали, понял, что ранен и в голову. Злило то, что вижу каждым глазом как бы отдельно — два изображения.

К счастью, я не знал, сколько потерял крови, наверное, именно неведение позволило мне подняться и зашагать. Куда? Раненым положено уходить в тыл. Не было тыла, вокруг бой. Ночью 7 августа я опять очутился в дубраве.

Оказывается, не я один вернулся в Зеленую брану.

В украинской газете «Сильски висти» опубликовано воспоминание Александра Шаповалова, командовавшего взводом в 75-м полку 10-й дивизии НКВД. Бойцы из колонны нашего неудачного прорыва объединились в отряд и ринулись обратно — на исходные позиции. Они ворвались в горящее село. Украина уже была занята врагом. Егеря располагались на отдых. Под неожиданным натиском они в панике бежали.

Отряд из 80 человек вряд ли мог рассчитывать на серьезный успех. Просто Шаповалов и его товарищи знали, что воин обязан сражаться, и приняли решение навязать егерям неожиданный бой. Шаповалову и еще трем удалось вырваться.

8 августа

Тяжелейшие бои по всей округе.

Произошло как раз то, чего мы более всего опасались: на разных участках — отдельные очаги нашего сопротивления, кольца, из которых не выбраться.

Южнее браны дерутся возле Мартыновки и Терновки, севернее — у Небеловки, Нерубайки, Оксанино, Каменечья.

Крупнейший узел сопротивления у Терновки, уже на левом берегу Синюхи.

Имена этих сел вновь — и грозно — прозвучат лишь весной 1944 года в сводках Совинформбюро. Будет сказано, сколько тысяч солдат и офицеров противника взяты в плен или сами сдались.

Наши не сдаются!

Не было случая, чтобы какой-либо — большой или малый — начальник завел с врагом переговоры о капитуляции. В применении к Советской Армии такого слова «капитуляция» вообще не существует. Нельзя же всерьез принимать появление трясущегося солдатика без ремня и винтовки. Он уже побывал у егерей, обработан и послан

уговаривать своих бывших товарищей. Жалкий у него вид и шаровары мокрые. Пули на него не тратят, достаточно одного удара прикладом.

Генерал Огурцов на базе остававшегося в резерве 21-го кавалерийского полка создал конный отряд.

Он взял меня в свой отряд. Шагать уже не могу, да и на коне держусь плохо — кажется, что голова, руки, ноги — все отдельно и вот-вот отвалится.

Из чувств осталось, кажется, одно: гордость. С какими храбрыми и чистыми, верными и спокойными людьми встречу свой смертный час...

Не буду отвлекать читателя подробностями собственной судьбы: по сравнению с товарищами я легко выскочил из той беды: раны оказались несмертельными; в последнем бою вместе с генералом Огурцовым мы были повалены егерями на подсолнечном поле, я попал в Уманскую яму, но мне еще в августе удалось бежать с этапа...

Я писал об этом и в стихах и в прозе, а сейчас считаю главным говорить о героях тех боев...

...О бое в Терновке рассказывает бывший красноармеец, ныне колхозник Анатолий Соловьев: «К концу дня нас на батарее осталось шестеро, в том числе комбат старший лейтенант Лейко, раненный в обе ноги. Вечером немцы с танками начали прорываться в Терновку. Нам пришлось отходить к Синюхе. Отход прикрыл старший лейтенант Лейко, который наотрез отказался, чтобы мы несли его на руках. Отошли в противотанковый ров, над самой речкой, где скопились бойцы и командиры из других частей. Вместе пошли рвом вдоль села и опять напоролись на немцев. Один из больших командиров — говорили, что это генерал, другие называли его комиссаром — тихо скомандовал всем: «Кругом!» Сказал, что будем прорываться через село, прорываться яростно, но так, чтобы не очень привлекать к себе внимание фашистов, — стрельбы поменьше, больше работать штыками. Это была яростная и тихая атака, в каких мне не приходилось участвовать ни разу за всю войну. Лежали кучи немецких трупов. С нашей стороны также были большие потери, но те, кто уцелел, пробились, ушли в степь».

9 августа

Еще трудно признаться друг другу, что бой уже не за выход из окружения, а за то, чтобы подороже отдать свои жизни.

Ничего не должно достаться врагу: уничтожаются оставшиеся без снарядов орудия, автомашины с сухими баками и рваными скатами, всякая техника, до штабных пишущих машинок включительно.

Трудно сказать, сколько дней люди не спали и не ели. Но что с 5 августа — это точно.

Бензина — ни капли. Для того чтобы сжечь грузовик, его надо обложить со всех сторон соломой. Кажется, что горит просто стог.

Офицер в отставке Владимир Кошурников (он проживает в Днепропетровской области) первое ранение получил 22 июня в 6 часов утра в Перемышле и окончил войну 9 мая 1945 года в Праге. С ним можно согласиться, когда он утверждает: «Бои сорок первого года по своей ожесточенности и тяжести несравнимы с последующими, в которых мне пришлось участвовать».

Цитирую письмо ветерана. Нарисованная им картина сродни народному эпосу:

«Девятого августа пошли в атаку по свекловичному полю в сторону реки Синюхи. На рубеже атаки застали только двух бойцов-казахов с пулеметом «максим». Их мужество, верность долгу всю войну служили мне эталонном солдатской обязанности: остались без командиров, среди погибших товарищей, но еще три дня (то есть с той ночи, когда рухнула надежда на выход автоколонной.— Е. Д.) оставались на посту, не давая фашистам пройти.

Ураганный огонь противника.

Атакующие дрогнули, попятились.

Вот тут и выросла впереди фигура, затянута в командирские ремни, в пограничной фуражке. У него в руке блестела сабля.

Он был от меня метрах в тридцати, я его хорошо помню — и русский чуб, и кубики на петлицах. Он стоял под огнем во весь рост и звал нас вперед.

И мы пошли навстречу танкам. В этом бою я был ранен...»

Насчет сабли сегодняшний читатель может усомниться: что за сабля, неужели это в нашем представлении старинное оружие было у пограничников?

Полагаю, Владимир Кошурников не делает различия между саблями и шашкой, когда описывает человека с клинком в руках. Называли и так и так. Но именно сабли нам попадались в качестве трофеев — румынские, мадьярские, итальянские.

Так что образ пограничника достоверен.

Могу в дополнение засвидетельствовать, что пограничники редко пользовались касками, не расставались с фуражкой, отличавшей их в строю и в бою.

Пограничная служба как бы продолжалась, несмотря на потерю границы. Там, где сражались пограничники, подразделениями и группами влившиеся в полевые войска, будь то оборудованный рубеж или опушка леса,— там и проходила в их сознании и представлении граница. Они отстаивали ее так, как если бы это был участок заставы.

10 августа

Группы и отряды, вырвавшиеся из кольца у Зеленой браны, кочуют теперь по тылам противника.

Ведет своих товарищей полковник Иван Андреевич Ласкин.

Тяжело у бойцов 15-й Сивашской на душе. Обсуждаются детали прорыва, и подтверждается подозрение, что час атаки выдал врагу какой-то презренный перебежчик. Упредив на пять минут, противник накрыл огнем накопившуюся на рубеже пехоту.

Разрывом снаряда был убит любимец воинов генерал Белов. Его тело донесли до опушки дубравы, а когда закапывали, погибло еще несколько сивашцев.

С группой танкистов далеко от кратера боев находится командир мехкорпуса Ю. В. Новосельский. Задача — выйти к Днепропетровску. И выйдут. И Ласкину удастся пробиться...

Группы Огурцова уже не существует. А все-таки дорого стоил врагу наш последний бой на плантации подсолнечника!

С горсткой бойцов вышел из браны ночью старший батальонный комиссар Михаил Поперека. Его обязанностью было охранять штаб, но теперь уже нечего охранять.

Бойцы Попереки (по преимуществу пограничники) шли сложным и извилистым маршрутом, не раз принимали бой, к счастью, с незначительными силами противника. В конце концов группа пробилась к штабу Юго-Западного фронта. Поперека доложил по всей форме о том, что произошло в Зеленой бране, написал объяснение (я получил недавно копию).

Однако испытания на этом не кончились: оказалось, что уже и штаб Юго-Западного фронта в окружении. Пришлось Попереке пережить вновь все то, что, казалось, неповторимо и дважды не бывает.

Там, в урочище Шумейково, погибли тогда командующий фронтом генерал-полковник М. В. Кирпонос, начальник штаба В. И. Тупиков, один из руководителей Компартии Украины М. А. Бурмистенко и член Военного совета молодой дивизионный комиссар Е. П. Рыков.

Командующий 5-й армией М. И. Потапов, тяжело раненный, захвачен в плен.

Поперека оказался счастливее — выбрался из окружения и на этот раз. Я увиделся с ним вновь (уже с генерал-лейтенантом) через сорок лет. Нам было что вспомнить.

11 августа

Захваченные в плен наши товарищи томятся в загонках, в колхозных конюшнях, на скотных дворах во многих окрестных селах. Постепенно свою добычу — раненых и обессиленных бойцов — конвойные команды сгоняют в Умань, в то страшное место, которое останется в истории под именем Уманской ямы.

Жители выходят на дороги, ставят кадушки с водой, оставляют на обочине хлебы, шматы сала и масла, вареный картофель, куски мяса на лопуховых листьях.

Конвойные опрокидывают кадушки, расшвыривают и топчут оставленную для пленных пищу.

Беспорядочно стреляют, но все равно на дорогах толпы людей.

Прослышав о том, что здесь произошло, сходятся и съезжаются на подводах жители отдаленных районов: ищут своих, надеясь хоть что-нибудь узнать, — ведь многие с 22 июня не имеют вестей.

Невероятную историю рассказал мне Павел Топейцын, кавалер ордена Славы двух степеней. Он тоже шел тогда в колонне пленных. С ним рядом был политрук, все время грезивший вслух о побеге. Звали его Сергеем.

Проходили село.

К колонне близко подошла женщина с младенцем на руках. Может быть, она не знала, какой опасности себя подвергает. Она стояла впереди толпы, отличаясь своим спокойствием и величием.

Она была как монумент.

Сергей успел что-то сказать ей. И вдруг она преобразилась, пошла рядом с колонной, стараясь найти общий ритм, хотя все шли не в ногу.

Она передала своего ребенка Сергею.

Тот, с ребенком на руках, скользнул в толпу и мгновенно в ней растворился, благо был в гражданской одежде...

12 августа

Брама остается крепостью — без крепостных стен, башен, рвов.

После нескольких безнадежных попыток войти в лес враги, видимо, предполагают взять ее осадой, заставить выползти и сдаться голодных и израненных людей.

Но, как говорится, не на таких нарвался корпус егерей!

Удивительно и страшно: я получил десятки писем от воинов, остававшихся в лесу после 7 августа, после 12-го, после 15-го. Все до одного задержались в дубраве потому, что были по нескольку раз ранены, приходили в себя. Более того, известны случаи, когда наши военврачи в глубине леса, без обезболивающих средств, а то и без инструментария делали операции, которые и в условиях хорошо оборудованного госпиталя не так просто даются.

Непонятно, откуда брались у людей силы, но они вставали, вновь брали в руки оружие, с боем пробивались или погибали в бою.

Группа кавалеристов из 21-го кавполка была оставлена генералом Огурцовым в Зеленой бреме как заслон.

Это уже заслон заслона, последняя наша позиция.

Возглавил кавалеристов командир пульэскадрона капитан Крестов. У кавалеристов четыре станковых пулемета.

Оставшийся в живых Александр Колесников (он теперь в Одессе — столяр, плотник, резчик по дереву) помнит, что на рассвете при отражении возобновившихся атак противника в «максимах» вода закипела. Собирали в поле охапками на рассвете влажную от росы люцерну, прикладывали к кожухам пулеметов.

Остудить ли росой пулемет в бою...

13 августа

Эта дата фигурирует в исторических исследованиях и мемуарах как завершение битвы у Подвысокого.

Не имею намерения оспаривать дату, хочу только подтвердить, что две недели августа остались н а ш и м и: продвинуться в глубь страны, к Днепру, ворваться в Киев, захватить Днепропетровск и Запорожье пока врагу не удалось.

И все-таки Зеленая брама не покорилась.

В глубине ее держались небольшие группы воинов разных частей, вооруженные трофейным оружием (свои патроны кончились).

Как-то навестил меня киевлянин, доктор философии Николай Федорович Шумихин, бывший парторг 77-го полка 10-й дивизии НКВД. Он вспоминал, как с группой в тридцать сотоварищей держался в дубраве.

Немцы знали, что оставшиеся в броне изнывают от голода и жажды. Они находят в дуплах деревьев лишь дикий мед, без воды им голода не утолишь, а жажду только разожжешь.

В сажене лесу ни ручейка.

Победители углубляться в лес боялись. Орала в мегафоны: «Идите к нам, будем вас накормить!» И у крайней хаты на Зеленобрамской улице расставили реквизированные у жителей столы. Их даже застелили украденными скатертями, завалили всякой снедью, собранной у местных жителей.

Так заряжают салом мышеловку...

Окруженные ели траву, слизывали росу с листьев...

Группа Шумихина вышла из леса в ночь на 20-е. Пробилась.

Батальонный комиссар Шпичак Стратон Лезнтьевич из 140-й стрелковой маневрировал в броне тоже до 20-го. Не грех упомянуть, что к партизанским боевым наградам Шпичака прибавилось в мирное время два ордена за труд...

14 августа

Местные жители вспоминают, что в середине августа специальные команды вермахта разъезжали на тяжелых грузовиках по округе и собирали трупы своих солдат и офицеров.

«Гора трупов» — казалось бы, чисто литературное выражение, превратившееся постепенно в штамп. Но вокруг Зеленой браны, на берегах Ятрани и Синюхи действительно выросли если не горы, то холмы трупов. Они быстро начали разлагаться, солдаты специальных команд натягивали противогазы. В качестве дезинфицирующего средства употреблялся известковый раствор, поэтому в селах у жителей отбирали известь и преследовали за ее утайку (надо ведь белить хату...).

Каковы потери войск противника?

Тогда можно было судить лишь по тому, что специальные команды работали сутками, без перерыва, по тому, что привлекались к похоронной деятельности итальянцы и румыны, да и местных жителей выгоняли в поля помогать.

Еще один красноречивый показатель — санитарные эшелоны, один за другим двигавшиеся на запад, и переполненные лазареты в Виннице, Львове, Ровно.

Опьяненный успехами вермахт печальных цифр не называл, но в послевоенные годы появилось немало книг, в том числе и сваливающих всю вину на Гитлера, в которых красноречиво говорится о потерях.

Я держал в руках, в частности, отчет о действиях 24-го горнонегерского корпуса 17-й армии.

На последних страницах, в разделе «Мемориум», приводится сводка, касающаяся четырех дивизий: от Винницы до Подвысокого они потеряли убитыми 157 офицеров, 4861 унтер-офицера и солдата. Замечу, что в этом документе не учтены вообще раненые и уж конечно умершие позже от ран.

Сведения касаются четырех дивизий, а против нас на этом участке их сражалось более двадцати. Некоторые номера частей более не появлялись в документах и радиоперехватах вообще...

К сожалению, затерялись где-то в архивах данные об уроне, нанесенном противнику теми нашими соединениями, которые погибли в броне.

Лишь недавно один из ветеранов 80-й дивизии, Герой Советского Союза генерал-майор Николай Иванович Завьялов, нашел в архиве Министерства обороны боевой счет своего соединения за 47 дней с начала войны: уничтожено до 20 тысяч вражеских солдат и офицеров, 180 танков...

А пока генерал Эвальд фон Клейст торжествует, шлет Гитлеру рапорты. До Подвысокого он одерживал легкие победы — ворвался во главе танкового корпуса в Польшу, ударил в тыл эвакуировавшейся английской армии у Дюнкерка, привел танки в Югославию.

На Украине пришлось ему потруднее. Всячески скрывая потери своих войск, он легким способом множит потери большевиков — его солдатам разрешено убивать всех и каждого. «Рыцари» Клейста топчут сапогами детей, насиляют женщин, а потом закалывают их штыками, которыми не умели пользоваться в бою.

Клейст еще долго будет править кровавый бал, станет фельдмаршалом.

Лишь в 1945 году за ним закроется тюремная дверь, стальная, решетчатая, как клетка для диких зверей.

В 1948 году вспомнится ему Белград: югославский суд приговорит его к пятнадцати годам каторжных работ.

В 1952 году его будет судить Военная коллегия Верховного Суда СССР.

А пока генерал Эвальд фон Клейст торжествует, будь он проклят!

С точки зрения Типпельскирха...

В послевоенное десятилетие на Западе — не только в Федеративной Республике Германии, но и в Америке и в Англии — вышли десятки книг о гитлеровском «русском походе». Это не только мемуары, не только повести и романы, но и вроде бы «научные труды», вроде бы «исследования» отдельных операций, щедро оснащенные всякого рода таблицами, схемами, картами. Некоторые из них, имеющие какое-то познавательное значение, переводятся и переиздаются у нас.

Я держу в руках книгу немецкого генерала Курта Типпельскирха «История второй мировой войны». Типпельскирх не попал в список главных военных преступников и на нюрнбергскую скамью подсудимых лишь благодаря стараниям некоторых заокеанских покровителей.

В предисловии автор предупреждает, что в его труде дается описание всей войны «с немецкой точки зрения».

Что ж, это интересно.

«Русские держались с неожиданной твердостью и упорством, даже когда их обходили и окружали. Этим они выигрывали время и стягивали для контрударов из глубины страны все новые резервы, которые к тому же были сильнее, чем это предполагалось».

Впервые соглашаюсь с немецким генералом.

Все правильно, все точно.

Но вот Типпельскирх цитирует сводку германского верховного главнокомандования от 8 августа 1941 года о ликвидации группировки советских войск в районе Первомайск — Новоархангельск — Умань: гитлеровцы будто бы взяли здесь в плен 103 тысячи человек, в том числе двух командующих армиями, захватили 317 танков и 858 орудий.

Тут уж во многом приходится усомниться. Точно соответствует действительности лишь то, что два наших командующих армиями попали в руки врага.

Достоверна ли цифра — 103 тысячи пленных?

Как участник тех событий, могу сказать, что в названном районе и всего-то вряд ли было 103 тысячи советских

военнослужащих. Но мои сомнения могут, конечно, не приниматься в расчет. Обращусь лучше к немецким источникам.

В Западном Берлине, в книжном магазине на улице Курфюрстендамм, я нашел книгу «Танковая тактика» (серия «Вермахт сражается»). Автор Оскар Мюнцель утверждает, что в интересующей нас операции в плен взято 80 тысяч советских солдат и офицеров. В скобках, правда, оговаривается, что эта цифра позже возросла до 103 тысяч. Что значит «позже»? Книга ведь издана через многие годы после войны, а 103 тысячи пленных были объявлены 8 августа 1941 года.

Странное «уточнение».

Возникает и другой вопрос: куда же они девались, эти 103 тысячи пленных? Известно, что со всех сборных пунктов пленных, захваченных в районе Первомайск — Новоархангельск — Умань, свезли или согнали в так называемую Уманскую яму. Каждый, кто видел или увидит на окраине Умани территорию бывшей птицефермы и карьер кирпичного завода, подтвердит, что 103 тысячи человек в этом квадрате просто не уместились бы.

У каждого из немецких источников своя арифметика. Одни свидетельствуют, что в Умани было пленено 30 тысяч красноармейцев и командиров. Другие называют 40 тысяч. На Нюрнбергском процессе в свидетельских показаниях бывшего охранника Уманского лагеря названа еще одна цифра — 74 тысячи.

Под фотографией, сохранившейся в официальной фотохронике гитлеровских времен и ставшей нашим трофеем, следующая текстовка:

«Негатив № 1.13/22. Умань, Украина, страна — Россия. Дата съемки 14 августа 1941 года.

50 тысяч русских собрано в лагере военнопленных в Умани».

Обратим внимание на цифру — 50 тысяч. Типпельскирх, видимо, просто удвоил ее, ну, а поскольку известно, что круглым цифрам меньше доверяют, он приписал еще три тысячи. Об этой фотографии еще будет рассказано на страницах этой книги, сейчас мне важна лишь цифра.

В некоторых западногерманских источниках, в частности в книге «Танковые сражения», говорится об окружении в районе Умани восемнадцати наших дивизий.

Допускаю, что наименований, точнее, номеров дивизий там могло набраться столько. А какой была реальная численность окруженных войск?

Участники боев знают, что от полков оставались роты, в лучшем случае батальоны, что дивизии сводились в отряды, насчитывавшие лишь по несколько сот активных штыков.

Нет, я не хочу изображать поражение наше у Зеленой браны как незначительный эпизод войны. Это были тяжелые бои, закончившиеся трагически. Но в кольце оказались лишь остатки былых армий, преимущественно штабы и тыловые учреждения, такие, как полевые почтовые станции, укомплектованные преимущественно девушками, автолебозаводы без горсточки муки, базы горюче-смазочных материалов без грамма бензина, медицинские учреждения, переполненные ранеными.

А теперь о танках. Типпельскирх утверждает, что под Уманью захвачено 317 советских танков!

Эх, будь у нас там 317 танков, неизвестно, как бы повернулось дело! Можно не верить мне, если скажу, что почти не видел танков в окружении. Но ведь не я один, сотни оставшихся в живых участников тяжелейших боев с 4 по 6 августа утверждают, что на нашей стороне действовали тогда лишь 4 танка. Если бы у нас были танки, не потребовалось бы имитировать танковую атаку артиллерийскими тягачами и колхозными тракторами.

Сколько наших соединений попало в котел? Даже в составленном красными следопытами Подвысокого списке командиров наших соединений из группы Понеделина одно и то же лицо фигурирует дважды: то как командир 10-й танковой дивизии, то как командир 49-го стрелкового корпуса. Почему? Да потому, что еще в июле по директиве Ставки Верховного Главнокомандования началась организационная перестройка наших танковых войск: механизированные корпуса упразднились, дивизии реорганизовались в бригады. Так что 10-я танковая дивизия просто не дошла до Подвысокого. Она перестала существовать где-то в середине июля, личный состав и остатки ее техники успели отправить за Днепр на переформирование. Тогда-то бывший ее командир и получил новое назначение.

То же можно сказать и о 8-й танковой дивизии. В Подвысоком этой дивизии не было. Там оказался в окружении лишь ее отважный командир Петр Фотченков с четырьмя танками.

Данные Типпельскирха о захваченной в районе Умани артиллерии мне так же трудно оспаривать, как и согласиться с ними. Одно скажу: пушек в Зеленой бране скопилось много, и, пока не иссякли снаряды, они составляли грозную

силу. Даже немецкие источники отмечают, что наш артогонь был всеограшающим.

А потом? Когда боеприпасы кончились?

Приведу выдержку из воспоминаний артиллериста Д. Тихевича (он живет теперь в городе Первомайске):

«Третьего августа батарея старшего лейтенанта Туровца заняла огневую позицию между Каменечьем и Нерубайкой. Полковой комиссар Харитонов приказал матчасть уничтожить. Выпустили все снаряды по противнику. Оставили по одному снаряду на пушку. Последним снарядом зарядили орудия, с дульной части туго забили землей и ждали команды.

Когда команда последовала, бойцы целовали стволы своих пушек, обнимали, плакали, прощались с пушками».

Если Типпельскирх учел в числе захваченных и эти пушки, можно только задним числом поздравить вермахт с такими трофеями. А за командира взорванной батареи старшего лейтенанта Туровца остается только порадоваться: он дошел до Победы, поныне жив и здоров.

Это о таких, как сам Туровец и его батарейцы, пишет английский историк Д. Ирвинг: «Опаснее всего была тяжелая выдержка советского солдата: он скорее был готов умереть, чем сдаться; он был смел и упорен».

Хочу привести еще некоторые выписки из книги Оскара Мюнцеля «Танковая тактика». Я не нашел в ней данных о бронетанковых и артиллерийских трофеях войск Клейста. Упоминаются лишь повозки и несколько бронемашин. Но от этого не легче было читать ее. Больно резануло глаз и душу немецкое начертание навек запомнившихся мне названий населенных пунктов: Монастырище, Погребище, Оратов, Умань...

Оскар Мюнцель считает, что Умань имела решающее значение для продолжения операции (то есть для захвата Днепропетровска, Запорожья, Донбасса).

Записи ведутся день за днем.

20 июля Накануне опять 16-я танковая дивизия оставила Оратов. 57-ю пехотную дивизию «атакуют большие силы».

22 июля Автор жалуется на дождь, на размытые дороги (позже они будут приписывать свои неудачи снегам и морозам). Далее снова об Оратове: «Противник атаковал Оратов с трех сторон... Оставив почти все автомашины, удается отступить... Противник, предположительно более сильный, чем раньше, используя свой успех, продвигается дальше».

23 июля «Обострение положения в 11-й танковой дивизии».

24 июля «Зафиксировано новое обострение обстановки. Корпус должен бросить в бой последние резервы. 11-я танковая дивизия отходит».

30 июля «Лейбштандарт¹ и 11-я танковая дивизия вынуждены отражать многочисленные удары».

1—2 августа «Ожесточенно атакуются части 11-й танковой дивизии в районе Легедзино. Тяжелые бои, большие потери... Боевая группа «Герман Геринг» не могла пробить сильные вражеские позиции. 16-я пехотная дивизия отбивает атаки, введя последние резервы. Противник наступает с запада и юго-востока».

2 августа «В Каменечье подвергся атакам один из батальонов 16-й мотострелковой дивизии. Он окружен. Село переходит из рук в руки. Полк СС «Вестланд» спешит на помощь — приходится выбивать русских из домов поодиночке».

«...Несмотря на действия пикировщиков и сильный артиллерийский огонь, русские снова и снова атакуют волнами из леса юго-восточнее Каменечья... Несмотря на свои потери, атакуют и севернее Свердловсково. Здесь противнику (то есть нам.— *Е. Д.*) удастся обойти с тыла батальон пехотного полка».

Дальше автор говорит, что у Свердловсково пало 1200 русских, и признает, что немецкие потери «тоже значительны».

Мюнцель сообщает: «Лейбштандарт вновь (подчеркнуто мною.— *Е. Д.*) взял Новоархангельск». Отсюда можно заключить — этот районный центр тоже несколько раз переходил из рук в руки.

В главке, охватывающей период с третьего по восьмое августа, читаю: лейбштандарт отбивает сильные атаки на Новоархангельск с запада; на дороге Тишковка — Новоархангельск упорное сопротивление русских; большие колонны противника (то есть наши колонны.— *Е. Д.*) двинутся из Подвысокого на Терновку; вот-вот может быть прорван фронт 4-й горногерманской дивизии в направлении Голованевска и, видимо, смят заслон, поставленный 24-й пехотной дивизией.

В дневнике Оскара Мюнцеля достаточно данных, по которым можно составить представление о мужестве и

¹ Историки в ГДР объяснили мне, что лейбштандартом назывался отряд личной охраны Гитлера. Но как могло занести этот отряд под Первомайск? Вероятно, Мюнцель называет лейбштандартом один из полков дивизии СС «Адольф Гитлер». — *Прим. авт.*

упорстве наших войск. Я медленно, со словарем разбирал немецкий текст, сопоставляя показания противника с тем, что сам видел и что знаю.

Разноречивые чувства владели мной.

Во-первых, запоздалая досада. Если б мы знали, что возле Оратова у танковых дивизий противника опасно открыты фланги!.. Если бы нам, рвавшимся из окружения, было известно, что у Голованевска уже наметилась брешь!

А вместе с тем росло и чувство гордости: наши окруженные войска бились беззаветно, сделали все, что могли.

Об ожесточенном сопротивлении наших войск у села Подвысокого свидетельствуют и другие немецкие источники.

В Бонне в «объединении фронтовых землячеств» я получил телефон вдовы генерала Хельмута Фрибе, командовавшего в районе Зеленой браны полком 125-й пехотной дивизии, а позже (под Новороссийском) ставшего командиром этой дивизии. Кстати, под Новороссийском дивизия и была разгромлена...

Вдова генерала любезно прислала стенограмму его речи, произнесенной в ноябре 1953 года на сходке ветеранов дивизии в городе Фридрихсхафене.

Читая эту речь, натолкнулся на такое примечательное высказывание: «Дивизия приняла участие в боях, шедших с нарастающей силой, приведших к прорыву «линии Сталина» и достигших кульминации в битве под Уманью».

Упоминание о «линии Сталина» я находил в ФРГ во многих документах вермахта и книгах о войне. Насколько мне известно, такой линии обороны, названной по ассоциации с «линией Маннергейма», вообще не существовало, и мы здесь имеем дело с чисто пропагандистским приемом: линия границы 1939 года изображается как некая неприступная крепость, с тем чтобы похвастаться ее взятием...

А то, что под Уманью были не просто бои и даже не сражение, а битва, повторяется во всех немецких источниках.

Получив от вдовы командира дивизии ряд адресов и телефонов его бывших подчиненных (да и начальников!), я попытался с ними связаться.

Бывший штабной радист Макс Штрауб, сославшись на недавно случившийся инсульт, сказал мне, что помнит лишь название села «Подвысокое», а все остальное забыл.

Не удалось мне поговорить и с бывшим полковником и начальником штаба окружавшего нас корпуса, отставным полным генералом Гансом Шпейделем: перетрудившись на посту заместителя командующего сухопутными войсками

НАТО в Европе, генерал заболел и ныне пребывает в тяжелом состоянии.

Все же мне удалось связаться с одним из участников тех боев — доктором Хельмутом Браймайером. (Он живет недалеко от Штутгарта.) На вопрос об августе 1941 года он ответил браво: «С самого начала нам было нелегко, но под Уманью особенно сильно досталось».

Когда же я представился и сообщил ему, что был там же в группе генерала Огурцова, Браймайер заговорил иным тоном, от встречи отказался, но пообещал спешной почтой выслать наложенным платежом написанную им собственноручно историю 125-й пехотной дивизии.

На следующий день книга нашла меня в Бонне.

На обложке этого крупноформатного издания я увидел нечто знакомое: силуэт поднявшегося на задних лапках зверька — ласки, — ту самую эмблему дивизии, что была нарисована на бортах немецких грузовиков и повозок. Именем этого зверька названа и книга доктора Браймайера.

Браймайер повествует о том, что в Христиновке были захвачены гигантские запасы пива. Далее говорится: 2 августа разведывательный дозор преодолел ручей Ревуха, но тут русские взорвали мост.

История дивизии изложена четким, суховатым штабным языком, а вот некоторые страницы написаны очень живо.

Привожу в своем переводе абзацы, где речь идет об августовских боях:

«Вновь и вновь противник пытается найти слабые места в кольце, где бы он мог прорваться. Его противостояние с каждым днем все крепче и достигает 5 августа высшей точки. Если учитывать, что у них потеряно общее руководство войсками, становится очевидным, что русский солдат — уже не в первый раз — показывает способность ожесточенно бороться.

Победа у Подвысокого не будет легкой!

...В семи километрах от Синюхи — большое село Оксанино. Никто не предполагал, что это будет тяжелейшая битва для 419-го пехотного полка: русские подпускали наших в лесу на 150 метров и встречали на опушке страшным огнем, несущим смерть и гибель. За одну минуту — бесчисленные убитые и раненые. Цепь залегает, чтобы позже вновь наступать.

Второй батальон углубляется в лес на 300 метров и просит помощи. Русские обнаружили брешь. Батальон должен попятиться. Вновь и вновь слышно «ура» русских,

они ведут огонь справа, слева, даже, кажется, изнутри наших боевых порядков.

Между тем первый батальон два длинных часа лежит на опушке в дерьме под неутихающим огнем...

Тяжелый бой за Оксанино.

Очень сильный противник.

Упорное сопротивление.

Контрнаступление противника с другой стороны улицы.

По данным разведки, с нашей дивизией сражаются остатки пяти советских дивизий.

Ожесточенный огонь.

Создаем штурмовые группы.

Они прорываются на 50 метров в лес, но вынуждены отступить: лейтенант и многие солдаты ранены. Эвакуация раненых невозможна.

Потом к ним прорываются на помощь.

Прибыли полевые кухни. Дают кофе, но 400 человек уже не смогут его выпить.

Ужасающий вражеский огонь.

Генерал Кюблер отдает лапидарный приказ: сегодня, 7 августа, 29-й горноегерский корпус в 12 час. штурмует Подвысокое.

Битва у Подвысокого, или, как иногда говорят, битва под Уманью, подходит к концу.

Никто, в том числе и генерал, 7 августа еще не может разобраться в том, как велико или как мало значение этой победы под Уманью. Еще трудней кому-либо представить себе, как долго будет длиться эта война и как фатально она повернется.

8, 9, 10, 11 августа в зеленой жиже (да, дожди шли бесконечно.— *Е. Д.*) завершилась наша победа у Подвысокого.

Потери: 89 офицеров, 1856 унтер-офицеров и солдат».

Надеюсь, читатель простит меня за длинную цитату, но полагаю, что очень важно это красноречивое свидетельство «с той стороны».

Вот еще одна строка из книги «Ласка»: «С 22 июня 1941 года по 7 сентября 1943-го дивизия потеряла 17 тысяч 479 солдат и офицеров...» (То есть полтора кадрового состава!)

Новые знакомые из общества дружбы ФРГ — СССР всячески помогали в сборе материалов. Один из них добыл для меня «Военный дневник главного командования вермахта за 1941 год, подготовленный и прокомментированный Хансом Адольфом Якобсеном».

Вновь с горечью читал я знакомые названия населенных пунктов: Троянка, Каменечье, Копенковатое, Небеливка, Подвысокое...

Но самое важное о результатах августовских боев я нашел в примечаниях ко второму полутому:

«Мнение фюрера 21 августа 1941 года:

Важнее до наступления зимы не взятие Москвы, но захват Крыма, донецкой индустрии и угля, Кавказа и Ленинграда...»

Как бы то ни было, а провал «блицкрига» они признали. Но стали изворачиваться, объяснять, будто не собирались еще летом взять Москву!

Рейхсминистр пропаганды Геббельс записал в свой дневник:

«5 августа

Хуже будет, если нам не удастся до начала зимы закончить восточный поход, и весьма сомнительно, что это нам удастся...» В сообщениях с фронта у них восторги по поводу грандиозной победы в битве у Подвысокого. Но в дневнике, видимо, да и наверное не предназначавшемся для опубликования, Геббельс записывает:

«10 августа

Большевизм, как идея и мировоззрение, еще очень силен, и боевая сила советских войск еще такова, что в настоящий момент ее нельзя недооценивать. Мы еще не достигли цели. Придется еще вести суровую и кровавую борьбу, прежде чем Советский Союз будет разбит...»

«24 августа

Большевики защищаются с ужасным упорством, и пока не может быть и речи о прогулке в Москву».

Какая пропасть между этим разговором Геббельса с самим собой и победными реляциями фашистского генштаба!

Знакомясь с этими высказываниями, я вновь и вновь испытываю чувство гордости. Все-таки оборонительные бои Красной Армии 1941 года дорого обошлись и противнику, показали всю нашу непреклонность, сорвали планы гитлеровцев, спасли промышленность Юга, ставшую грозной силой в глубине страны уже в конце 1941 года.

Легенда о Комиссарах

Я получил бандероль из Германской Демократической Республики. Научный сотрудник Института военной истории доктор Вилли Вольф, узнав, что я пишу о Подвысоком, прислал книгу «Горные егеря под Уманью». Автор — Ганс Штеец, видимо, не просто военный историк, но участник сражения в Зеленой бреме. Уж не знаю, в каких он был чинах, но из текста видно, что Штеец — специалист в вопросах не только тактики, но и стратегии. Книга снабжена картами и схемами, выглядит как научное исследование. Она издана в Гейдельберге довольно давно — через десять лет после нашей Победы.

Битва, участником и жертвой которой был и я, описана по дням и по часам. Автор излагает материал жестким языком оперативных документов. Но, доведя свой отчет до 13 августа, Ганс Штеец срывается, переходит на язык политических эмоций, и мне кажется уместным эту часть его исследования назвать легендой, легендой о комиссарах:

«В восточной части Копенковатого и в окруженном лесу продолжали сражаться отдельные части фанатиков. Только тринадцатого августа могли быть наконец уничтожены восточнее Копенковатого последние комиссарские части» (подчеркнуто мною.— *Е. Д.*).

Вот как нас называли, вот как нас величают!

Фанатики?

Что ж, быть фанатически преданными правому делу — высокая доблесть. Спасибо, господин Ганс Штеец, за уважительную характеристику!

Комиссарские части!

Вот за кого они приняли всех окруженных в Зеленой бреме. Бойцы, потерявшие свои полки и дивизии, рядовые срочной службы довоенного призыва, участники арьергардных боев под Перемышлем и Радеховым, под Равой-Русской и Станиславом, под Бердичевом и Оратовом; артиллеристы без снарядов, экипажи давно устаревших и все же воевавших, пока не сгорели, стареньких учебных танков БТ,

кавалеристы, выбитые из седла, врачи и медсестры, оставшиеся при раненых, штабные работники всех категорий, двадцатилетние, в мае только выпущенные из училищ лейтенанты и сорокалетние высшие военачальники, участники битв с Колчаком и Деникиным и добровольцы интернациональных бригад в Испании!

Гордитесь!

Своим мужеством в окружении вы заслужили высшую аттестацию, в памяти значительно позже разгромленного противника вы запечатлелись и остались фанатиками, а наспех сколоченные в огневом окружении отряды и группы до сих пор кажутся ему комиссарскими частями.

Какая прекрасная легенда!

А таких частей в действительности никогда не было, противник (я не знаю современной позиции Ганса Штеца, но, наверное, могу назвать его тогдашним или бывшим противником), видимо, исходил из «установок», полученных еще перед тем, как вермахт начал осуществление «плана Барбаросса».

На заседании Международного военного трибунала, судившего главных военных преступников, советский обвинитель Л. Н. Смирнов предъявил трибуналу «приложение к распоряжению главного штаба вооруженных сил» (документ № 431). В этом документе говорится: «В первый раз в этой войне немецкий солдат встречается с противником, обученным не только в военном, но и в политическом отношении, идеалом которого является коммунизм и который видит в национал-социализме своего злейшего врага».

Совершенно справедливо оценивало советского воина высшее командование вермахта. Хочу все же внести очень скромную поправку к «приложению к распоряжению» — идеалам не обучают, идеалы и убеждения зреют в процессе бытия в человеческих душах и умах, и то, что советские люди утвердили для своего общества и для себя идеал, и помогло нам одолеть сильного и злобного врага. Советской власти шел двадцать четвертый год — новый мир успел стать реальностью.

Комиссарские части... Эта высокая оценка наших войск дана не только в книге «Горные егеря под Уманью». Летом 1982 года я получил командировку Союза писателей СССР и отправился в Федеративную Республику Германии разыскивать следы Зеленой брамы (некоторые материалы, собранные в этой командировке, — в предыдущей главе).

В городе Дортмунде, центре Рурской области, приветливые молодые люди из Общества дружбы с СССР привели

меня в Институт газетной информации, где мне была предоставлена возможность ознакомиться с подшивками фашистских газет и журналов, и я, начав с 22 июня, прошелся по пожелтевшим и страшным, как труп, страницам до середины августа 1941 года.

В еженедельнике «Ди вермахт», выпускавшемся германским верховным командованием, выражение «тяжелые бои» появились впервые 13 августа.

В номере органа штурмовых отрядов фашистской партии и имперского управления СС «Дас шварце корпс» от 28 августа 1941 года бросился в глаза заголовок на всю страницу: «Эсэсовцы против советской элиты». Интересно, кого военный обозреватель Пауль Курбьон называет советской элитой?

В первой же строке определяется место действия: «...наша рота получила приказ вновь взять Свердловиково». Если вновь взять, значит, уже брали! Красноречивая подробность!

Обозреватель рассказывает, что происходило в Свердловиково: «...убитые советские солдаты лежат на улицах, в садах, в домах. Многие и мертвые сжимают в руках винтовки и автоматы, замахиваются гранатами...»

Итак, мы уже не просто «комиссарские части», но «советская элита»! Читаю дальше: «Дивизии сталинской гвардии и сталинские курсанты из Москвы атаковали нас в тот день. Ночью дождь, а они опять атакуют... Им было все равно, они напились крепкого шнапса...»

Эсэсовский обозреватель полагает отвагу замешанной на шнапсе. Увы, у нас и воды-то не было, чтоб утолить жажду, разве что губами силились поймать каплю дождя... ‘

Кто же мы такие в их представлении?

Комиссарские части...

Советская элита...

Курсанты из Москвы... В 6-й и 12-й армиях москвичей раз-два и обчелся. Но это так, к слову...

Уж не провидцами ли были эти ошалевшие эсэсовцы? Ведь они назвали нас гвардейцами в номере своего человеконенавистнического журнала от 28 августа 1941 года, за двадцать дней до того, когда приказом Верховного Главнокомандующего образцовые и особо отличившиеся в боях соединения Красной Армии были преобразованы в гвардейские. Некоторые из сражавшихся под Уманью и в Зеленой броне соединений много позже тоже стали гвардейскими — назовем хотя бы 99-ю стрелковую.

Чувство гордости охватило меня, и я склонился над старой подшивкой журналов, как победитель над побежденным.

А завершаются эти страницы, так же как и многие другие, сообщениями в траурных рамках: поминают группенфюрера и генерала Людвиг фон Шредера (подписано самим Гиммлером), группенфюрера и генерала Мюльферштедта и еще бесконечных штурмбанфюреров, хауптгруппенфюреров, хауптштурмфюреров, хауптфюреров, группенфюреров, погибших за фюрера...

Мрачное изданыце, что и говорит!

Несколько оживляют картину злобные карикатуры. Особенно развеселила меня одна (в номере от 3 июля): пасквильянт нарисовал молодого человека в ~~к~~мнастерке (разумеется, с кривым носом), что-то пишущего за столом. Женщина (разумеется, бочкообразная) кричит ему: «Кончай писать победные стихи для «Правды», не то мы опоздаем на владивостокский поезд!»

Значит, и про нашу поэтическую роту не забыли подлцы!

Только на владивостокский поезд мы не опоздали, когда из поверженного Берлина надо было ехать в 1945 году добивать войну на Востоке!..

Что же касается комиссарских частей, не было их у нас. Конечно же Ганс Штеец и другие авторы, говоря о комиссарских частях, воевавших в районе Подвысокого, не имели в виду партийную роту численностью в двести человек, не более: так не по-уставному называли резерв политотдела 6-й армии.

И все же я хочу сказать о той роте коммунистов...

Как она составила? При нашем отходе — особенно в самые первые дни войны — партийные и советские работники приграничных районов (как коммунисты Западной Украины, в 1939 году вышедшие из подполья, так и товарищи, присланные из Киева, Харькова, Днепропетровска для укрепления партийных организаций и именовавшиеся «восточниками») вынуждены были присоединиться к армии. Многие из них не успели не только эвакуировать, но и просто повидать в последний раз семьи, застигнутые вражескими танками на периферии своих районов.

Их не мобилизовали, они сами посчитали себя мобилизованными (подготовиться к уходу в подполье не имели времени, партизанское движение еще не успело оформиться).

Некоторые из них, но далеко не все прошли когда-то армейскую школу, воинских званий не имели, назначений

не получили. Их использовали для отдельных поручений и заданий; иные занимали место убитых и раненых политруков и комиссаров. Все они были полны решимости сражаться и в боях отличались беззаветной храбростью, а главное — умением сплотить и повести за собой людей.

Оставшиеся в живых участники битвы в Зеленой бреме вспоминают их в своих письмах с уважением и любовью. Большинство прикомандированных погибли еще в июльских боях, а остатки роты, а точнее, политотдельского резерва попали в Зеленую брему. Ветераны утверждают, что в последнем своем бою — 5 августа — они дрались отчаянно, до последнего дыхания.

Я помню этих добровольцев, это своего рода партийное ополчение, влившееся в ряды кадровой воюющей армии.

Помню всегда, хотя сейчас уже, пожалуй, не мог бы назвать их по именам и фамилиям...

Какие же все-таки части посчитал Ганс Штеец комиссарскими?

Может быть, он имеет в виду политбойцов — рабочих и студентов, прибывших к нам из Днепропетровска в середине июля?

Об этих ребятах тоже надо рассказать. Их история недавно выплыла из забвения.

На седьмой день войны в Днепропетровске на заводах имени Ленина, имени Коминтерна, имени Карла Либкнехта, на «Петровке» и на вагоноремонтном имени Кирова, в университете, в инженерно-строительном институте и других вузах рабочего города стихийно возникла запись добровольцев. Пришлось обкому комсомола потрудиться, помучиться с отбором: рвутся на фронт все, достойны — все, заявлений — гора, а надо и можно послать пока лишь десятки...

Третьего июля добровольцы коммунистического батальона покинули Днепропетровск. Десятидневные военные курсы — и на фронт!

Группа днепропетровских политбойцов прибыла на станцию Христиновка; вступили они в бой, что называется, с ходу, влившись в ряды сражавшихся там полков. Их объединили с пограничниками — высокая честь и доверие.

Знаете, господин Ганс Штеец, это, конечно, тонкости, но правильней было бы назвать группу днепропетровцев не комиссарскими частями, а комсомольскими: добровольцы в большинстве своем еще не успели вступить в партию, многие только мечтали и подали заявления. Их собирались принимать в перерыве между боями, но рассмотрение заявлений задерживалось, потому что перерывов не было —

сплошной бой. В Подвысоком они ходили в штыковые атаки и 1 августа, и 6-го, и 7-го.

В последнюю атаку политбойцы шли, уже трезво понимая, что из кольца не вырваться, но в железной уверенности, что каждая пуля, выпущенная ими, каждый удар штыка и приклада насущно необходим для будущей победы, которую они скорей всего не увидят.

И все же увидели!

Отметить сороковую годовщину из сорока трех добровольцев — студентов университета прибыло только одиннадцать.

Нескольких человек пионеры Днепропетровска нашли в коллективах могучих заводов города: ветераны трудятся безотказно.

Но оказалось, что никаких документов, подтверждающих их участие в боях сорок первого года, не сохранилось.

Бывшие политбойцы обратились к своему земляку — генерал-полковнику К. С. Грушевому, работавшему тогда секретарем обкома партии. Генерал Грушевой, член Военного совета Московского военного округа, был уже тяжело и безнадежно болен: считанные дни оставались в его распоряжении. Из больницы он послал ходатайство и запросы по многим адресам.

Константин Степанович не успел узнать, что в архивах обнаружено и переслано в Днепропетровск подтверждение службы и подвига политбойцов.

А какими были столь ненавистные врагу кадровые комиссары и политруки в наших 6-й и 12-й армиях, политработники, встретившие вместе со своими частями врага под Перемышлем и Равой-Русской?

Не берись нарисовать обобщенный портрет комиссара. Но само слово «комиссар» стало легендарным.

О некоторых обстоятельствах далеких времен могу рассказать.

Осенью 1939 года, в связи с обострением обстановки в Европе, в ряды армии влились партийные работники. У нас в 6-й армии большинство политруков и комиссаров составляли именно этого призыва люди. Тогда был у них почти тот же военный стаж, что у красноармейцев срочной службы... Не имея опыта работы в армии, они заинтересованно и увлеченно вникали в новые для них армейские проблемы, внутренне перестраивались с гражданского на военное мышление, учась у командиров, прислушиваясь к тому, что скажут старые политработники, выдвинутые

преимущественно с командных должностей или пришедшие в армию в начале тридцатых годов.

Годы тридцать девятый и сороковой стали для молодых комиссаров серьезной боевой школой: сражение у реки Халхин-Гол, поход в Западную Украину и Западную Белоруссию с целью защиты от гитлеровской агрессии, вооруженный конфликт с Финляндией, освобождение Бессарабии, наконец, тревожные предвоенные месяцы — все это формировало характер еще недавно совсем штатских людей. Правда, в тридцатых годах на гражданской работе они носили полувоенные, с роговыми пуговицами на карманах гимнастерки, сапоги, зеленые суконные, отличавшиеся лишь матерчатым козырьком от форменных фуражки и подпоясывались армейскими ремнями или наборными кавказскими ремешками. Так было принято.

Для этих людей не существовало времени рабочего и нерабочего — вся их жизнь, вся их деятельность, все их время отдавалось тому делу, на которое их направляла партия: на «гражданке» это были ликбезы, политотделы МТС и совхозов, ударные стройки, рабфаки и институты, а в армии — батальоны и дивизионы, эскадроны и, наконец, полки; для некоторых через очень малый промежуток времени — политотделы дивизий и корпусов.

Иные политработники в соответствии с высокими постами, которые они занимали на гражданской работе, сразу получили звание полковых комиссаров, а то и выше — бригадных, дивизионных, отмеченных ромбами на петлицах. Другие начинали с кубиков, но росли и продвигались быстро — во всем сказывалось ускорение, присущее тем временам.

Младший политсостав выдвигался из рядовых красноармейцев, совсем недавно вступивших в партию, вчерашних комсомольских активистов.

Читатель поймет мою честную наивность, если я скажу, что боготворил комиссаров и с юности мечтал о наркуавной звездочке. Может быть, я идеализировал их, почитал за людей особенных, уже по одному только своему званию легендарных? Нет, я встречался с ними, когда в 1938 году работал на Дальнем Востоке — на пограничных заставах, в 1939-м — в освободительном походе, в 1940-м — в снегах Карельского перешейка. Всюду я был свидетелем их скромного и спокойного мужества.

В первые недели войны слово «комиссар» означало только звание и призвание, а в частях работали заместители по политической части.

17 июля 1941 года был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о реорганизации органов политической пропаганды и введении в армии института военных комиссаров.

Решение было вызвано обстановкой, создавшейся на фронтах, а значит, в Красной Армии и вообще в стране. Уже не только политическая пропаганда, но и равная с командиром воинская ответственность легла на плечи комиссаров. Военный комиссар должен был осознать себя как представитель Партии и Правительства в армии. Что касается красноармейцев, то, я думаю, им не пришлось перестраивать своего отношения к политработникам: с первого снарядного разрыва они видели отвагу комиссаров, политработников и, если можно так сказать, практически и повседневно убеждались в их беззаветном служении коммунистическим идеалам.

Расширение обязанностей и прав комиссаров вовсе не означало, что войска в то время находились в плохом моральном состоянии, что пошатнулась вера в своих командиров, что красноармейцы, как говорится, пали духом.

В связи с этим я позволю себе привести высказывание... главного гитлеровского пропагандиста Йозефа Геббельса. Вот что он сказал 1-июля 1941 года (его слова приведены в книге И. Голанда «Гитлер», вышедшей в Мюнхене в 1978 году): «Если русские борются упорно и ожесточенно, то это не следует приписывать тому обстоятельству, что их заставляют бороться агенты ГПУ, якобы расстреливающие их в случае отступления, а наоборот, они убеждены, что защищают свою родину».

Комиссары в этой обстановке были знаменосцами советского патриотизма.

Вновь воспользуюсь признанием врага, с удовольствием процитирую выдержку из дневника фашистского генерала Лахузена. В июле, через несколько дней после начала войны, он записал: «Канарис вернулся из ставки. Там настроение крайне нервное, ибо все больше выясняется, что русский поход разворачивается «не по правилам». Учащаются признаки того, что война приносит не крах, а внутреннее усиление большевизма».

В условиях высочайшего патриотического подъема вроде бы облегчалась работа комиссаров. Но не будем забывать, что положение наше было крайне тяжким. И надо было сделать взрыв народного патриотизма направленным взрывом, а для этого необходима была не только внутренняя убежденность политических руководителей, но и убедитель-

ность слов и поступков, личного примера, да и командирские качества, военные знания.

На всем пути к Подвысокому комиссары были верными товарищами командирам и вдохновенными представителями партии в глазах красноармейцев.

Еще более усложнилась и выросла роль комиссаров, когда вокруг Зеленой брамы смыкалось и сомкнулось вражеское кольцо.

Вот когда особую значимость приобрело огненное слово, благородные и отчаянные поступки и действия комиссаров.

Если уж западногерманский историк слагает или приводит созданную ранее легенду о комиссарах, неудивительно, что легенды о комиссарах живут в нашей стране, кочуют от края ее и до края.

Да, мы присутствуем при рождении легенд!

Какие они достоверные, непридуманнные, земные, а в то же время романтически окрыленные, эти легенды!

Воспоминания участников боев, собранные следопытами Подвысокого, а также ежедневно наполняющие мой почтовый ящик, непременно касаются фигуры комиссара, — можно сказать, это попытка сложить из отдельных штрихов обобщенный образ Комиссара Великой Отечественной.

Но образ, обобщения, памятник, монумент — это теперь, через десятилетия. А были эти комиссары и политруки нашими товарищами, отличительной была лишь матерчатая красная звезда на рукаве, пониже локтя.

Вот о комиссаре рассказывает бывший рядовой боец, которому удалось вырваться из кольца, Александр Вересков. Прежде чем привести воспоминание Верескова, необходимо сказать о нем самом. Он вырвался из окружения, вновь участвовал в боях и в 1943 году лишился руки. Не позволив себе воспользоваться инвалидностью, он включился в великую стройку, развернувшуюся в его родном городе Череповце, и за успехи на фронте пятилетки награжден в 1977 году орденом Трудового Красного Знамени. Я не удивляюсь, зная этих людей. Но уж раз к слову пришлось...

Слушайте ветерана войны и труда А. Верескова:

«Впереди идущих на прорыв был бригадный комиссар в хромовой тужурке. В руках он нес знамя».

Сопоставив факты, содержащиеся в письмах и откликах, и проведя, так сказать, уточнения на местности, могу утверждать, что Вересков вспоминает бригадного комиссара Михаила Никифоровича Пожидаева, комиссара 58-й горнострелковой дивизии. Как его любили и бойцы и командиры!

Пожидаева всегда видели рядом с человеком отчаянной смелости — комдивом генерал-майором Н. И. Прошкиным. В Копенковатом они собрали остатки дивизии и сколотили передовой отряд для прорыва. Генерал был ранен, знамя развевалось в руках комиссара и вело, призывало; оно вновь одарило силой уже, казалось, окончательно обессилевших людей.

За селом Копенковатое пуля скосила комиссара.

После того как было опубликовано краткое, но, если можно так выразиться, монументальное воспоминание Александра Верескова, оставшиеся в живых участники боя прислали подтверждения — и у них образ комиссара Пожидаева навсегда запечатлелся в душе. Уточнения самые несущественные: одни говорят, что на комиссаре была черная кожаная тужурка, другие — что коричневая. А то, что комиссар нес знамя, — в памяти и в сердце всех живых.

Комиссары получили равные права с командирами не только потому, что в войне двух идеологий роль их повышалась. Они учились военному делу, управлению войсками и потому могли руководить боем по всем правилам военного искусства.

Обстоятельства на поле боя и назначения не раз превращали комиссаров в командиров.

Раненный в броне комиссар 190-й стрелковой дивизии Николай Каладзе после выхода из окружения закончил краткосрочные курсы и получил под командование дивизию. Он довел ее до Берлина, его имя 16 раз упоминалось в приказах Верховного Главнокомандующего.

Мне написали танкисты, которых под Львовом и под Бердичевом водил в бой командир 8-й танковой полковник Петр Семенович Фотченков. Удивило то, что воины сорок первого года называют своего командира комиссаром. Может быть, они ошибаются? Даниил Трофимович Корнев (он живет ныне в Винницкой области) пишет о Фотченкове:

«Он для меня остался неумирающим и непобежденным. Взгляд зоркий и ласковый и требовательный. В моей памяти он как комиссар Фурманов или герой Щорс из гражданской войны».

Корнев увидел, угадал в своем командире комиссара!

А вот свидетельство комбата тех времен, ныне генерал-майора танковых войск Александра Васильевича Егорова. (Я впервые встречался с ним еще в июле сорок первого, когда он был капитаном.)

Егоров доныне влюбленно и восторженно вспоминает Фотченкова, и вот какую чудесную легенду о герое-интернационалисте рассказывает он:

Под Сарагосой танкисты пошли в атаку.

Удар снаряда.

Подбит танк комиссара полка Петра Фотченкова.

Комиссар ранен в лицо и в руки.

Его перевязывают.

Он отказывается покинуть поле боя.

Он узнает, что подбит танк с болгарским экипажем.

Болгары окружены.

Наши добровольцы под огнем налаживают гусеницу.

Фотченков ведет отремонтированный танк на выручку болгарским танкистам.

Прорывается к ним, приносит спасение.

Танкисты вспоминают, что 13 июля комдив-8 написал обращение к своим бойцам, звучавшее как вдохновенная песнь о будущей победе. К сожалению, текст этого документа не сохранился, но я представляю себе, как мог написать Фотченков. Он в Испании был комиссаром!

Встречался я с ним лишь однажды — 3 июля по заданию редакции армейской газеты «Звезда Советов» я находился в танковом корпусе. Боевые машины (по преимуществу с выработанными моторесурсами) стояли в садах под яблонями, все время звучал пионерский горн, оповещаая о приближении вражеских самолетов.

Вместе с комдивом мы слушали знаменитую речь Сталина, впервые обращавшегося к нам — «братья и сестры», а потом «друзья мои».

Как только кончилась передача, Фотченков заторопился к своим танкистам: надо передать им своими словами, что говорил Верховный. Победа будет за нами, понимаешь. Никто не сомневается, но нужен лозунг, понимаешь! Как в Испании «но пасаран» — очень доходчивая клятва.

Ни 8-я, ни 10-я, ни 32-я танковые дивизии не были в Умани. Они провоевали весь первый месяц войны, и оставшиеся в живых экипажи были отправлены за Днепр, кажется в Прилуки. В 6-й армии оставалось лишь несколько танков, подчинявшихся непосредственно штарму. С ними-то и задержался на передовой Петр Семенович. Как это ему удалось? Полагаю, что полковник уговорил кого-то из высоких начальников, возможно, воспользовался протекцией своего друга, только что тоже отправившего на перефор-

мирование свою дивизию и ставшего комкором,— Сергея Огурцова.

Трагична судьба пламенного комдива. В официальных источниках (архив Министерства обороны СССР) зафиксировано, что Фотченков попал в плен. Правда, нет сведений о том, что кто-либо видел его в плену. Не числится он и в немецких списках военнопленных. Немногие оставшиеся в живых ветераны, сражавшиеся рядом с Фотченковым в Зеленой бреме, утверждают, что он погиб при первой попытке вывести из окружения штаб группы Понеделина. Об этом рассказывал мне, в частности, генерал Л. И. Тонконогов, писали очевидцы.

Легенда утверждает, что последний танк, за фрикционными которого находился комдив-8, кавалер орденов Ленина и Красной Звезды, комиссар интербригады в Испании, рухнул в воды Синюхи и ушел на дно. Может быть, танк еще будет обнаружен и поднят: река глубокая, исследование дна не производилось.

Вспоминая Фотченкова, я уже готов согласиться с западногерманским историком Гансом Штеецом, назвавшим окруженные в Зеленой бреме части комиссарскими: красноармейцы шли за комиссарами, ждали их команды, их слова, сражались до последнего, следуя примеру комиссаров, веря в коммунистов, как в жизнь.

В тяжелейшей обстановке политработники учились у командиров, командиры — у политработников. Военское искусство одних и коммунистическое вдохновение других и создавали особую атмосферу, отличающую Красную Армию как небывалое войско защитников страны и ее социалистического строя.

Как свидетель, никому не отдам предпочтения в мужестве, в храбрости, в беззаветности. Командиры и комиссары были достойны друг друга.

Рассказанное мной относится к политработникам всех степеней — от политбойца до члена Военного совета.

Руководящие деятели партии, члены Центрального Комитета, секретари обкомов, горкомов, райкомов повторяли судьбу и брали пример с революционеров, направленных Лениным в юную Красную Армию на борьбу с белогвардейщиной, с интервенцией четырнадцати держав: Фрунзе и Киров, Орджоникидзе и Шаумян, Куйбышев и Дзержинский были с юности кумирами комиссаров сорок первого года.

В разгар июльских боев в штаб 12-й армии прибыли видные партийные работники — Петр Митрофанович Лю-

бавин и Михаил Васильевич Груленко. Они были назначены членами Военного совета и сразу же включились в работу: в корпусах и дивизионах, в арьергардных боях и на марше они вносили в тяжкую атмосферу тех дней некоторую разрядку. Не преуменьшая опасности и избегая общих фраз, они вникали в противоречивую суть обстановки — выдержанные, спокойные, твердые в решениях. Очень разные, они были, как вспоминают оставшиеся в живых товарищи, чем-то похожи друг на друга, — надо полагать, уже тогда, за без малого четверть века жизни нашей страны, сложился тип партийного работника, беззаветного продолжателя большевистского дела.

Дооктябрьское поколение большевиков называли профессиональными революционерами. После победы революции это гордое наименование мы стали относить к прошлому.

А вот когда стали известны строго секретные фашистские приказы и директивы о подготовке нападения на СССР, оказалось, что Гитлер и его банда больше всего страшилась тех, кого они называли профессиональными революционерами.

Предписывалось охотиться за ними, уничтожать в первую очередь.

С гордостью думаю я о Любавине и Груленко как о профессиональных революционерах!

Петр Митрофанович Любавин родился в конце прошлого века и четырнадцатилетним пошел по слесарному делу. Ему исполнилось двадцать, когда создавалась Красная Армия, и он стал одним из первых ее бойцов. В партию он вступил на фронте. Когда пришла победа, красноармеец снова пошел в слесаря. Его заметили, товарищи выдвинули его на руководящую партийную работу, а потом как парттысячника послали учиться в Днепропетровский химико-технологический институт. Коммунист стал инженером, секретарем парткома завода, а вскоре его избрали секретарем горкома, а потом и третьим секретарем Днепропетровского обкома ВКП(б).

Перед войной он был уже первым секретарем Донецкого (тогда — Сталинского) обкома партии. В архиве сохранились стенограммы его речей; на областной партконференции в марте 1940 года он говорил, обращаясь к шахтерам и металлургам Донбасса: «Мы должны ежедневно укреплять оборонную мощь нашей страны».

Оказавшись после долгого перерыва вновь в красноармейской среде, этот человек в гимнастерке без знаков

различия походил на рядового бойца, только люди с орденом Ленина и тогда встречались редко, да и сорокатрех-летних рядовых в войсках, пожалуй, еще не было.

Михаил Васильевич Груленко родился в 1904 году в Конотопе, в семье столяра. Семья большая — он был девятым ребенком. Это обстоятельство вынудило рано проститься с детством. В дни Октябрьской революции Михаил Васильевич стал рабочим. Одним из первых вступил в комсомол. Его избирали в Путивле и в Шостке секретарем райкома. Потом — совпартшкола, политотдел свекло-совхоза под Харьковом. В 1939 году Михаил Васильевич оказался в рядах освободителей Западной Украины, был избран первым секретарем Станиславского обкома компартии.

Собирая сведения о нем, я узнал о его неугомонном характере, об обязательности (обещал сделать — сделай!), о том, что он любил книги, любил в часы досуга в кругу товарищей или дома песню спеть. В единственном и последнем письме с фронта, уже из окружения доставленном «с оказией» его жене и дочери в Днепропетровск (их приютили там семьи тогдашних секретарей обкома партии Л. И. Брежнева и К. С. Грушевого), Михаил Васильевич писал: «Я глубоко убежден, что конечная победа будет за нами. У нас для этого все есть... Правда, потребуется много жертв и напряжения...»

При прорыве из окружения по решению Военного совета Любавин шел на одном танке, Груленко — на другом. Танки их прокладывали путь пехоте. Артиллерия противника открыла по ним сильнейший огонь. Танк Любавина был подбит первым, механик-водитель ранен. Член Военного совета помог раненому выбраться из неподвижной машины, оказал ему первую помощь, а потом вскочил на подошедший танк Груленко, продолжавший развивать наметившийся успех контратаки.

Уже в шести километрах от Подвысокого был выведен из строя и этот танк. Члены Военного совета присоединились к группе стрелков. Два секретаря обкомов партии шли на противника с винтовками в руках, кололи штыками. В неутихающем бою, без единой передышки с ночи пятого августа до рассвета седьмого не выходили они из боя. Не все бойцы знали Любавина и Груленко в лицо, но каким-то солдатским чутьем понимали, что с ними идут комиссары, и держались поближе к ним, старались защищать их, насколько это было возможно в той обстановке.

Седьмого августа на берегу Синюхи, близ села Левковка, окончательно обессиленная группа наших стрелков, которую продолжали возглавлять тяжелораненые Любавин и Груленко, была туго зажата горными егерями. По свидетельству тех, кто остался в живых, окруженные вели огонь, пока имелись патроны, потом отбивались прикладами. Им кричал какой-то немец по-украински:

— Руки до горы!

Груленко ответил громко:

— Комиссары не сдаются!

Когда положение стало совершенно безнадежным, Груленко и Любавин обнялись, поцеловались, и каждый истратил последнюю пулю на себя. Могилы их до сих пор не найдены, хотя есть данные, что местные жители тайно похоронили их.

Долгие годы Любавин и Груленко считались пропавшими без вести. Но в результате пионерского поиска ныне точно установлена картина их гибели. Теперь официально признано, что бригадные комиссары, депутаты Верховного Совета СССР П. М. Любавин и М. В. Груленко погибли в бою. Они приняли смерть на посту.

Нет, не зря враги так страшились комиссаров!

Немецкий солдат в русском плену Вольфганг Шарте из Гергадсхагена показал, и это показание было приобщено к делу на Нюрнбергском процессе: «За день до нашего наступления против Советского Союза офицеры нам заявили следующее: если вы по пути встретите русских комиссаров, которых можно узнать по советской звезде на рукаве, и русских женщин в форме, то их немедленно нужно расстреливать».

Это — свидетельство не об отдельном из ряда вон выходящем случае, а о системе. Там же, в Нюрнберге, советская сторона предъявила Международному трибуналу совершенно секретную директиву Гитлера, выпущенную за сорок дней до вероломного нападения Германии на СССР. Вот она:

«Отдел обороны страны.

Главная ставка фюрера.

12 мая 1941 года.

Об обращении с захваченными в плен советскими политическими и военными работниками.

Политические руководители в войсках не считаются пленными и должны уничтожаться самое позднее в транзитных лагерях».

Так была predeterminedена судьба комиссаров в будущей войне (тогда война была еще б у д у щ е й). Но разве это могло нас запугать?

В письмах и воспоминаниях о Зеленой броне — почти в каждом! — неизменно присутствует образ комиссара. Если бы это были не просто письма, а песни, слово «комиссар» можно было бы назвать рефреном.

Говоря восторженно о комиссарах, я не принижая таким образом роль и образ командиров всех рангов. Мне они не менее дороги. Я видел их и (наверное, это естественно) присматривался к ним и на пути от Равы-Русской до Зеленой броне, и потом — на всех перевалах — до самого Берлина. Я был свидетелем становления командиров Великой Отечественной — образованных, высокоидейных, изобретательных, отважных, решительных и человечных. Многие из них проявили себя блистательно сразу, с первого боя, другие постепенно, с горькими уроками и кровавой ценой приобретали опыт и все те качества, что привели войска к тактическим и оперативным успехам, ставшим образцами военного искусства.

Но славные полководцы, выдающиеся военачальники бывали в России и раньше, а вот комиссары впервые встали с ними рядом на гражданской войне, показали себя в Испании, на озере Хасан, в Баин-Цаганском сражении и на Карельском перешейке, а теперь подтвердили легендарность своего образа в Великой Отечественной.

Знамя Дивизии

44-я горнострелковая дивизия 22 июня вступила в бой. Держала оборону на границе, по приказу (и только по приказу!) начала отход на Станислав, а потом — на Винницу. В конце июля бой вели уже не только боевые расчеты батальонов, полков: работники штаба, политотдела и тыловых служб стали в строй линейными бойцами.

Понимая сложность положения, командир дивизии приказал отправить в тыл документы штаба и политотдела. Было решено вывезти в безопасное место знамя дивизии.

Имущество и знамя были переданы работнику штаба Шеремету, политотдельскому писарю Горшкову, радиотехнику Мягкому.

Капитан в отставке, слесарь по холодильным установкам П. Г. Мягкий, ныне живущий в Кременчуге, рассказал мне об этой суровой эпопее. К сожалению, он запомнил фамилии шоферов: группе выделили три автомашины ГАЗ-3А. Охраняли знамя четыре красноармейца...

Знаменная группа 44-й горнострелковой двинулась в опасный путь. Подъехав к Умани, Шеремет и его товарищи убедились, что город уже в руках врага. К счастью, наши грузовики, замаскированные столбами пыли, не были узнаны перехватившими все дороги немецкими танкистами и мотоциклистами. Принято решение — двигаться на юг только по ночам, до наступления темноты прятаться по дубравам и оврагам.

Знамя двигалось по территории, не просто захваченной противником, но буквально начиненной его техникой и войсками. Знаменосцы решили твердо: если их обнаружат, принять бой, держаться, а когда положение окажется безвыходным, облить бензином и сжечь документы и знамя, а самим стрелять до предпоследнего патрона во врага...

Несколько раз группа Шеремета вырывалась на дороги, которые не были еще перекрыты и захвачены против-

ником, но в тот же час вновь оказывалась на оккупированной территории.

Попытались переправиться через Днепр в районе Кременчуга, но неудачно: по пути к Днепропетровску стали отказывать — один за другим — измученные полуторамесячным отступлением моторы грузовиков. Ведь и с пустыми радиаторами приходилось двигаться, и на смешанном горючем. Колонна недвижно замерла на обочине. Сейчас можно задним числом подсказать Шеремету и его спутникам наипростейшее решение: документы и машины сжечь, знамя выносить по-пешему.

Ах, как это легко и просто теперь говорить, как надо было действовать. Но три грузовика ГАЗ — это ж военное имущество! Бросить его, своими руками сжечь? Не так воспитаны эти парни из горнострелковой, из 44-й! Ну, а сейфы с документами? Их отомкнуть-то почти невозможно, а если зарыть, нет гарантии, что никто до нашего возвращения не найдет их!

Вдохнуть жизнь в моторы оказалось невозможным, как ни старались шоферы. В отчаянии сидели они на краю кювета с гаечными ключами в обессилевших, опущенных руках...

А вдали, в серебристом тумане лунной ночи, высились неуклюжие с виду, беспомощно распластавшие одно крыло над несжатой и потоптанной пшеницей колхозные комбайны.

Оставив охрану подле машин, ассистенты знамени дивизии, если можно их так назвать в этой ситуации, и шоферы подобралась к полевым гигантам. А моторы-то целехонькие и такие же, как на ГАЗах!

Повздыхали: нехорошо раскулачивать колхозное добро, а ведь придется.

На языке ремонтников эта операция именуется перекидкой мотора. Она и в условиях хорошо оборудованной ремонтной базы достаточно хлопотна, а тут пришлось пользоваться только гаечным ключом, на руках переносить тяжеленные моторы, без подъемников и талей ставить их. И поставили. В сроки, которые в мастерских считались бы рекордными.

Что ж, можно ехать вновь, но дорога на Днепропетровск перерезана. Окольными путями, петляя и таясь, направились к Запорожью. По знаменитой плотине Днепрогэса, чуть не плача от радости, пересекли Днепр.

Знамя было вновь среди своих, знамя спасено.

Верность боевому знамени 44-й¹ незыблема.

До последнего мига руководил боем дважды краснознаменец Семен Акимович Ткаченко, комдив, генерал-майор. Раненный в голову и в руку, истекающий кровью, он был захвачен врагом. Едва пришел в себя, совершил дерзкий побег, но, выданный подлым предателем, вновь оказался за колючей проволокой.

Находившиеся в том же лагере работники штаба дивизии приступили к подготовке нового побега генерала. Но Ткаченко приказал им эту операцию не проводить, и не потому, что она была смертельно опасной. Он решил, что не может бежать один, когда его бойцы и командиры останутся в неволе. Оставшиеся в живых товарищи из окружения генерала рассказали, что он был буквально одержим идеей восстания, освобождения всего лагеря.

Он действовал бесстрашно и отчаянно, бросал фашистам проклятия в лицо, забывая об осторожности.

Фашисты сочли его особо опасным, мытарили по разным лагерям и тюрьмам, стараясь изолировать от массы пленных, тянувшейся к нему. Последним кругом его ада оказался лагерь Заксенхаузен. И там он сразу вошел в состав подпольного центра.

Красная Армия приближалась. Гитлеровцы торопились расправиться с заключенными. Они составили списки смертников. В их число был включен и особо ненавистный фашистам генерал Ткаченко. В ночь на 2 февраля 1945 года смертников вывели на расстрел. Безоружные заключенные набросились на конвой. Все они погибли в неравной схватке.

...На пути к Берлину участник «знаменной группы» 44-й горнострелковой дивизии П. Г. Мягкий проходил чуть севернее Заксенхаузена, лагеря, где продолжал сражаться с фашизмом и погиб его комдив Семен Акимович Ткаченко...

¹ Номер дивизии — 44-й — дважды встречается на страницах этой книги. Это не описка. В Зеленой бреме стояли насмерть и щорсовская 44-я горнострелковая и 44-я танковая, командиром которой был Василий Петрович Крымов, полковник. — *Прим. авт.*

Кралья, цюбигне пумели

Одним из первых критиков моей статьи о Подвысоком, опубликованной в «Красной звезде», был Владимир Александрович Судец. Мы с ним давно знакомы. В далекие довоенные времена приехал в Москву поступать в военную академию боевой летчик с двумя орденами Красного Знамени (нашим и монгольским) на выгоревшей под солнцем гимнастерке. Он появился среди нас — плечистый, крепкий, затянутый ремнем «в рюмочку». Из-под крутого, могучего лба сверкали большие карие глаза.

Надо ли говорить, что Судец сразу стал кумиром юных мечтателей из парашютного кружка Осоавиахима, к которому принадлежал и я. Но наибольшее впечатление произвел гордый сокол — так в те времена несколько возвышенно именовали летчиков — на первую нашу красавицу, златокосую Галю. Теперь у них пятеро взрослых детей, куча внуков, и я, кажется, самый первый и последний свидетель того, как сплетались первые прутки этого мощного гнезда. Полагаю, что именно потому маршал авиации и проявил тогда повышенный интерес к моей статье и на правах старого знакомого атаковал меня, что называется, с ходу:

— Ты поторопился со статьей об окружении шестой и двенадцатой армий. Спору нет, ты очевидец, но очевидцы, если взялись писать, должны знать материал всесторонне, строить свои статьи не только на тех фактах, которые попали в поле их собственного зрения, а и опираться на достоверные свидетельства других очевидцев. Приходи, я расскажу тебе, как ваша героическая беда смотрелась с воздуха.

Я ответил по-военному:

— Учту, исправлюсь, товарищ маршал! Но прошу вас скорей исповедаться мне за сорок первый год!

И действительно, пора учесть и исправиться. И исповедаться бывалым военным людям тоже пора. Нельзя откладывать это «на потом». У нашего поколения времени в обрез, а о скольком еще надо рассказать!

Маршал был все так же крепок и строен, как при первом нашем знакомстве, только еще шире раздался в плечах. А глаза по-прежнему пронзительны, бас не утратил командирской властности.

Поздно нам меняться, да и надо ли?

Я заметил: у всех летчиков и у Владимира Александровича важную роль при разговоре играют руки: левая ладонь — вражеский аэроплан, вот он делает вираж; правая рука — наш атакующий. А полированная поверхность стола, за которым мы сидим, превращается как бы в отчетную карту: здесь — мы, здесь — противник, вот он загибает фланг, захлестывает, начинает параллельное преследование...

Я торопливо записываю рассказ маршала:

— В сорок первом мне довелось командовать корпусом стратегического назначения. Подчинялся непосредственно Ставке Верховного Главнокомандования. Штаб корпуса размещался в Запорожье. К слову сказать, там я начинал свою трудовую деятельность, так что, как вы пишете в книгах, «если дорог тебе твой дом», то дом тут и был. Сперва нам была поставлена задача поддержать пятую армию, героически сражавшуюся у Коростеня. А когда противник прорвался к Киеву, надо было утюжить его там ударами с неба. Ну и, конечно, вести авиаразведку. Сверху мы видели, какое серьезное сражение разгорается на подступах к украинской столице. Там сосредоточились все силы Юго-Западного фронта. Зато несколько южнее — и об этом с тревогой докладывали воздушные разведчики — пустота, ничего и никого нет. Пустое пространство образовалось из-за того, что согласно своей тактике противник загнул фланги. Вот потому твоя шестая армия, а с ней и двенадцатая оказались отрезанными от Юго-Западного фронта. Только с армиями Южного фронта, в частности с восемнадцатой, они пока еще взаимодействовали...

Я не знал, спрашивать ли маршала о том, что волновало меня тогда, в сорок первом, и до сих пор не дает покоя. Вопрос больной: не было ли ошибкой переподчинение 6-й и 12-й армий Южному фронту?

Ладно, спрошу, знаю, что маршал кривить душой не станет.

— Из того сложнейшего положения выход мог быть лишь один — передать шестую и двенадцатую Южному фронту, — убежденно ответил мне Владимир Александрович. И пояснил: — Дело не только в том, что это сулило еще

спасение двух окруженных армий, но и в том, что в случае удачного их выхода из окружения Южный фронт стал бы вдвое сильнее.

Увы, я знаю, история не терпит умозрительных конструкций: что было бы, если бы события развивались и завершились не так, как они развивались и завершились в действительности? Наверное, потому историки и остаются историками, а поэты — поэтами. Их невозможно поменять ролями! А маршал басит:

— Я со своего командного пункта часто в те дни вел переговоры по телефону ВЧ и телеграфу с главкомом войсками Юго-Западного направления Семеном Михайловичем Буденным. Мы — люди военные, у нас, понимаешь, так: вышестоящий начальник приказывает, нижестоящий докладывает обстановку, а получив приказ, отвечает «есть» и выполняет. Но маршал Буденный, чувствую, волнуется, говорит тихим голосом, очень задушевно: «Полковник Судец, войскам Понеделина и Музыченко сейчас очень тяжело. Сделай для них все, что можешь. Прошу тебя, пойми, как это необходимо! Действуй и докладывай мне результаты в любое время, я буду ждать».

У меня в Кировограде стояли тогда две дивизии. Севернее города авиаторы, южнее — тоже авиаторы. И никакой пехоты, никакой артиллерии, кавалерии, ну, просто никого нет. Лечу в Кировоград и застаю там такую картину: командиры авиадивизий и их штабы собирают пробивающуюся из окружения пехоту и формируют из нее батальоны, полки. Что ж, молодцы!.. И тут в Кировоград поступает приказ Ставки для шестой и двенадцатой армий на выход из окружения. При сложившихся обстоятельствах его уже невозможно было передать ни по проводам, ни по радио. Необходимо вручить пакетом. А какой самолет послать? Сразу подумали об У-2 (правильное название — ПО-2). Но они тихоходы и безоружны. Мой выбор остановился на «ишаках», то есть на испытанных истребителях И-16. Слава их родилась в небе Испании, подтвердилась на Халхин-Голе, укрепилась на Карельском перешейке. И за первый месяц Великой Отечественной они показали себя достойно.

Итак, решено: шлем с приказом Ставки звено истребителей. Объявляю это решение, а у самого по сердцу кошки скребут: долетят истребители быстро, если придется принять бой по пути — примут, но каково там с посадкой? Возможна ли она? Приказываю летчикам, если не обнаружат приличной посадочной площадки,

садиться не выпуская шасси. Главное — срочно доставить приказ...

Опережая события, скажу: две машины приземлились, выпустив шасси, что облегчило им взлет и возвращение. А третья садилась на брюхо потому, что и машина, и летчик были сильно изранены.

Вручая летчикам пакет, желаю успеха. Командир звена... Как же его звали-то? Имени не помню, но фамилия вот она: старший лейтенант Бебко. Где он теперь, узнать бы!..

Маршал прерывает свой рассказ, чтобы перевести дух. Лишь после этого продолжает:

— Хочу объяснить тебе, что переживает командир авиационного соединения, посылая подчиненных на боевое задание. Когда командуешь эскадрильей или даже полком, переживания иные: ты летишь вместе с подчиненными, должен проявлять все те качества, которых требуешь от них. Равенство во всем! Сбивают их, могут и тебя сбить... У командира корпуса не так: подчиненные летят с боевым заданием, а ты, как правило, остаешься на своем наблюдательном пункте. А с него далеко не все видно. И слышно не все. Изображаешь полнейшее спокойствие и уравновешенность — чем натуральней получается, тем лучше, — но самого-то себя не обманешь. Сам, конечно, все время волнуешься за судьбу каждого летчика, его полет, его бой. Душу бы отдал, чтоб только задача была выполнена успешно и все вернулись!.. Ну, ладно, не будем отвлекаться.

Итак, звено послано с приказом чрезвычайной важности. Из Кировограда летели километров сто двадцать, прижимаясь к земле. Окруженные выложили посадочный знак у села Подвысокое, и тут-то при заходе на посадку один самолет был подбит противником, летчик тяжело ранен. Приказ, разумеется, вручили. Аварийный самолет пришлось сжечь, а два уцелевших вернулись обратно и раненого летчика вывезли. Хотя и у этих самолетов и плоскости и фюзеляжи оказались изрешеченными пулями. Диву даешься, как долетели.

Старший лейтенант Бебко привез от члена Военного совета товарища Груленко письмо для передачи жене, которая находилась в Днепропетровске. Бебко слетал и туда, передал письмо.

А мне было приказано обеспечить коридор шириной километров в пятнадцать для выхода окруженных войск, расчистить им дорогу бомбометанием и штурмовкой.

Две ночи было дано на это. Увы, обстановка менялась каждый час, и по тому коридору никто не пошел.

Я уже говорил тебе, что штаб четвертого авиакорпуса находился в Запорожье, которое и в то время по праву считалось крупным промышленным центром на левобережье Днепра. На меня там были возложены обязанности начальника гарнизона, то есть старшего воинского начальника. Значит, должен был нести ответственность и за безопасность города, и за сохранность его промышленности. Как то, так и другое в громадной степени зависело от стойкости шестой и двенадцатой армий. Если бы не их отчаянные бои в окружении, вряд ли удалось бы эвакуировать заводы Запорожья, сыгравшие такую великую роль для поворота к победе...

Замолкает маршал. Сидит неподвижно, положив на стол тяжелые руки. Мы оба долго молчим, отягощенные воспоминаниями. Время расставаться, но Владимир Александрович все еще во власти далеких видений:

— А какие хлеба поспели в том августе на Украине! Какие хлеба! Мы летали над сплошным золотом...

Это была последняя встреча с Владимиром Александровичем.

Двое в шафских костюмах

Я вновь летел в Кировоград, чтобы оттуда машиной добраться до Подвысокого. Дело было зимой, погода ясная, снежный покров придал однообразие земному пейзажу. Самолет шел так ровно, что казалось — он стоит в воздухе. Наверное, эта спокойная обстановка позволила командиру корабля оставить капитанскую рубку и выйти к пассажирам. Рядом со мной кресло оставалось свободным, летчик подсел, у нас завязался разговор. Узнав, с какой целью я лечу в его (самый лучший на Украине, в СССР и вообще на земном шаре, самый зеленый летом, самый чистый зимой, ну, и вообще самый-пресамый) город и областной центр, командир корабля сказал мне, что на улице имени космонавта Добровольского — поселок авиаторов и он там живет, а его сосед по лестничной клетке — участник Великой Отечественной, штурман-наставник, мировой мужик Сергей Иванович Чернов. Однажды на вопрос, когда им получен первый орден Красного Знамени, Сергей Иванович как бы между прочим ответил, что в августе сорок первого; он летал по особому заданию к окруженным войскам 6-й и 12-й армий...

Надо ли говорить, что, приземлившись в Кировограде, я стал разыскивать улицу Добровольского, поселок Аэрофлота.

И вот мы сидим в аккуратно прибранной, тесной, но уютной квартире старого штурмана, что был в сорок первом совсем мальчишкой (с виду, конечно, — вот в семейном альбоме фотографии тех времен).

Чернов в синем форменном кителе, но, как бы он ни был одет, достаточно заглянуть в его синие глаза, достаточно пять минут понаблюдать за его повадкой, воспринять его облик — безошибочно определишь авиатора, всю жизнь посвятившего небу и крыльям.

Да, он летал в район Подвысокого, пришлось. Полет был не из легких, но к августу сорок первого летчики 5-го ТАП, которым командовал Феодосий Порфирьевич Котляр,

уже имели достаточный боевой опыт, воевали на своих ПЕ-2 с самого 22 июня... Скорость у ПЕ-2 по тем временам приличная, маневр превосходный. Полк в районе Измаила выдержал первые дни войны, а там уж дело пошло: дрались с «Юнкерсами-87 и 88», с «мессершмиттами» и «Хейнкелями-111». По десять часов чистого воздуха — вот как летали.

Но меня интересует то, о чем рассказал мне командир корабля на пути в Кировоград, и, по-летчески мгновенно почувствовав мое нетерпение, Сергей Иванович переходит к делу:

— Мы стояли в Чернобаевке под Херсоном. В два часа ночи двум экипажам подъем, явиться к Котляру. Командир полка объяснил обстановку, сложившуюся севернее: две армии в кольце, связи с ними нет. Сейчас приедет сам Главком направления маршал Семен Михайлович Буденный и конкретно даст задание. Мы, что называется «на короточках», еще чуток вздремнули (ведь вчера был боевой день), но нас будят. Приехал не маршал, а какой-то пехотный командир с двумя пареньками лет по семнадцать, может, чуть постарше. А одеты они в новенькие гражданские костюмы и выглядят по-праздничному. При них портативная радиостанция.

Ставится задача: высадить этих пареньков в кольцо окружения. Но посадку совершить можно лишь в районе, занятом противником, потом связные проберутся к окруженным.

Оказывается, эти двое в жизни ни разу еще в боевой самолет не сажались и, соответственно, из самолета не вылезали. Пришлось их потренировать, как высаживаться. Они в самолетах должны были лететь сверх нормы — четвертыми.

Комполка осмотрел наших пассажиров, не понравились ему новенькие гражданские костюмы. И вот Феодосий Порфирьевич лично стал мять, мазать маслом, осыпать землей пиджачки, швырять пыль на брюки и штиблеты.

— Как держались связные? — спрашиваю я, живо представив себе эту сцену.

— Нормально. Может быть, и даже наверное, им впервые предстояло столь трудное дело, но они уверенно улыбались, пожалуй, с некоторой гордостью.

Уже наступил день — было только начало августа, самое лето. Мы взлетели, в воздухе проверили пулеметы и легли на курс — на север.

Не обошлось без встречи с «мессерами», но в бой вступать нам нельзя, курсом на солнце ушли от них в район

окружения двух армий. С высоты 500 метров просматривались отдельные вспышки. Было ясно, что утренняя перестрелка шла на отдельных участках. Огонь, так сказать, двусторонний, значит, здесь окружены наши.

Карты нас не подвели — вот пшеничные поля, вот лесок. На бреющем — первый заход — осмотр места, второй — посадка. Ребята находились в кабинах стрелка-радиста, так что выскочили быстро, нырнули в пшеницу, чтобы ползти к лесу. Район посадки — Емилевка — Троянка, километрах в пятнадцати от Подвысокого.

Нам надо взлетать. Но поле для ПЕ-2 все же мягкое, а у нас еще четыреста килограммов бомб. Как и на карте, поблизости дорога. Из проезжающих машин и с мотоциклов заметили, что два самолета в пшенице, немцы бегут к нам. Пришлось вести огонь из бортовых пулеметов.

Моторам полный форсаж, с трудом оторвались от пахотной земли. Но взлет по курсу посадки производить нельзя — коротко. Разворот на сто восемьдесят градусов — и с озверелым ревом моторов мчимся прямо на немцев. Кошмар, а не взлет! Зашли над дорогой, по движению машин врубили серией бомб — промахнуться просто некуда. Еще полили из пулеметов.

На бреющем полете пришли на свой аэродром.

— Оба самолета вернулись благополучно? — в тревоге и с надеждой спрашиваю я.

— Нет, второй самолет взлететь не смог. Помню экипаж — летчик Бутковский, штурман Михайлов... Фамилию стрелка-радиста я не знал. Они успели сжечь самолет, отходили, отстреливаясь уже из пистолетов. Бутковский и радист были убиты, а штурман Михайлов сумел прорваться и явился к нам, когда мы базировались в Запорожье на аэродроме Мокрая. Пробирался он тяжело. Питался зернами пшеницы, через Днепр переправился на доске. Пришел к нам типичным скелетом, еле выходили его. Он и потом хорошо воевал. Погиб на Курской дуге.

— А кто был в вашем экипаже?

— Летчик Соколов Яков, он здесь, в Кировограде, живет, стрелок Юра Панасенко позже погиб в Донбассе, в Изюм-Барвенковской операции. Я был в экипаже штурманом. Все мы комсомольцы.

Вот какой рассказ услышал я недавно в Кировограде на улице имени космонавта Добровольского. Сергей Иванович торопился на лекцию — он преподает молодым пилотам премудрости штурманского дела, — а я уезжал в Подвысокое.

Ну, а два паренька с радиостанцией в неуклюже новеньких, измазанных маслом и запачканных землей гражданских костюмах, что было с ними дальше?

Теперь можно установить, как была организована отправка этих парней. В архиве, в фонде Южного фронта сохранился текст телеграфных переговоров, датированный 10 августа 1941 года. Я бы мог своими словами изложить их суть, но тогда утратится стиль и атмосфера тех дней и того момента. Нет, правильной просто воспроизвести документ:

«10 августа 41 года.

У аппарата начальник штаба Южного фронта генерал-майор Романов. Передаю для немедленного вручения.

Москва. Главковерху товарищу Сталину.

Для выяснений точной обстановки и положения 6 и 12 армий, находившихся в окружении в районе Новоархангельска, Каменечье, Дубово, Рогово, Терновка,— приняты следующие меры:

1. Выделены две группы специально подготовленных лиц, которые на самолетах СБ высаживаются, первая группа два человека — в районе северо-восточнее Терновки, вторая группа два человека — в районе Вишнополь. Группы снабжены коротковолновыми радиостанциями, люди одеты в гражданское платье. Задача групп — проникнуть в район, занимаемый частями 6 и 12 армий, и немедленно донести об их положении по радио, по установленному коду.

2. Выделяется звено самолетов с радиостанциями, которые, курсируя в воздухе, держат связь воздух — земля с радией штаба фронта.

3. Высылаются пять групп штаба фронта, каждая группа по 3—4 человека. Эти группы подвозятся к линии фронта и веером идут для прочесывания района Терновка — Подвысокое, Островец — район действий частей 6 и 12 армий. Все группы снабжаются радиостанциями.

4. Высылаются специально авиаразведка звеном самолетов, снабженных радиостанциями. Задача — разведать все дороги, ведущие в район окружения 6 и 12 армий, для установления направления движения частей.

Самолеты снабжаются вымпелами, указывающими наиболее безопасные маршруты к нашему фронту.

Выполнение всех мероприятий на рассвете 10.VIII.

Мероприятия проводятся под моим личным контролем.

О результатах доложу немедленно.

Тюленев».

К сожалению, мне не удалось найти докладов штаба Южного фронта о результатах.

Пока же эта телеграфная лента свидетельствует, что в самые трагические дни, когда мы, оставшиеся в кольце, уже понимали, что организованный и массовый прорыв окончательно сорвался, штаб Южного фронта не имел представления об обстановке.

Пять групп разведчиков, которые должны были веером идти для прочесывания, по-моему, не могли проникнуть в упоминаемый район: пробраться в кольцо, пожалуй, было еще трудней, чем выбраться из него.

Помог ли кому-нибудь вымпел, «указывающий наиболее безопасные маршруты», трудно сказать: безопасных маршрутов уже не было, сжималось плотнее кольцо, а высвобождающиеся в этой операции гитлеровские войска уже ринулись к Днепру, захватывая новые районы.

Вот уже более пяти лет веду я поиски кого-либо из этих выделенных на опасное задание людей в гражданском платье.

Тщетно...

Ни они сами, ни видевшие их или что-то о них слышавшие до сих пор не откликнулись.

Правда, было одно письмо. Ветеран вспоминал, что в августе 1945 года в Маньчжурии, в Харбине, была у него случайная беседа с каким-то стрелком из роты охраны, и этот стрелок рассказал, что четыре года назад он летал впервые в жизни на самолете, дело было на Кировоградчине, его с товарищем забросили в окружение, была у них рация, но так все сложилось, что они успели мало, штаба армии не обнаружили, а выбирались потом целый год. Мой корреспондент помнит только, что солдата звали Андреем...

Некоторые сведения о молодых людях в гражданской одежде сообщил мне москвич Евгений Александрович Левандовский, встретивший юность бойцом части особого назначения, которой было поручено установление связи с окруженной на Южном фронте группой войск. Я вытягивал из Левандовского фразу за фразой. Приученный к секретности, он остался верен себе.

Часть особого назначения дислоцировалась в Москве, ее существование было окружено глубокой тайной. Жили эти юноши в помещении эвакуированного детского садика, готовые в любое мгновение отправиться на аэродром, лететь в самое пекло, на фронт или через фронт, к партизанам или еще дальше, в глубокий вражеский тыл.

Для выполнения задачи 10 августа на Южном фронте были выделены хорошо подготовленные парни, напрасно кировоградский летчик Чернов, доставлявший их на задание, представляет их наивными и неуклюжими носителями новеньких штатских костюмов.

Я понимаю, Левандовский сохранил их в памяти настоящими богатырями, он не может теперь представить своих соратников иными.

— Это были командиры? — спрашиваю я.

— Какие уж там командиры, ребята только что со школьной скамьи.

Левандовский вспомнил фамилию одного из них — Качалов, как звали второго — уже не вспомнить... Они передали не одну, а несколько радиограмм. До недавнего времени был жив человек, который хорошо помнил даже текст сообщений из кольца, в котором погибали 6-я и 12-я армии. Но человека с прекрасной памятью уже нет, вечная ему память.

— Те двое в штатских костюмах там и погибли. Так же, как и большинство наших. Из всей части после войны остались только семеро, и то все израненные.

— И вы были ранены? — несколько по-пионерски спрашиваю я.

— Имею пять ранений. Правда, мне везло, и все они легкие, в основном штыковые...

Буденный — наш братишка, С нами весь народ...

Как ни стараюсь я ограничить себя и масштаб своих поисков, очертив круг, соответствующий тому кольцу, в котором оказались войска 6-й и 12-й армий, мне это не удастся: все-таки битва, центром которой стала Зеленая брама, продолжалась и после 13 августа, распавшись на отдельные очаги, распространившись далеко на север и на запад. На восток и на юг в меньшей мере.

Те, кто прорывался на север и на запад, сознательно выбрали для себя партизанскую борьбу и подполье. Борьба эта была упорной и затяжной. У нее своя история и свои легенды.

Километрах в сорока от Подвысокого — строго на север — существует небольшое село Чижовка. Там тоже есть красные следопыты, уже много лет ведущие свою благородную работу. Они сообщили мне, что 200 их односельчан не вернулись домой с войны, а 410 советских бойцов и командиров, ушедших на войну из других районов Отечества, погибли за освобождение Чижовки.

Страшные цифры! Они лишний раз напоминают нам: вот какой была эта война, вот как дорого стоила она нашему народу!..

Я попросил следопытов из села Чижовка рассказать все, что они знают о войне, о том времени, о тяжелейших испытаниях, выпавших на долю бойцов и командиров 6-й и 12-й армий.

Эпичен, как былина, их рассказ: «У Подвысокого в начале войны было большое окружение, шли кровопролитные бои, очень многие советские воины погибли. Из кольца многие и прорвались, вышли в направлении села Гусаково Звенигородского района и дальше, на Звенигородку — Черкассы. Возглавлял эту группу сам Семен Михайлович Буденный...»

Еле-еле разглядел я на карте Гусаково. Не вызывает сомнений, что одна из групп — и, возможно, немалочисленная — вырвалась в направлении Черкасс. Допускаю, что

у нее мог быть и другой план: от Звенигородки двинуться не на Черкассы, а на Киев.

Но Буденный?.. Славный маршал Буденный во главе отряда, прорывающегося из окружения,— какая красивая и волнующая легенда! Конечно, Семен Михайлович, занятый тогда обороной Киева, не мог лично выводить отряд окруженцев. Он в Подвысоком не был, о Чижовке и Гусакове, возможно, даже не слышал.

И все равно в третьем, в четвертом поколениях жителей этих мест возникла и живет легенда большой эпической силы. Как же обойтись без Буденного в лихой час? Он же олицетворяет мощь народную. В песне поется: «Буденный — наш братишка, с нами весь народ...»

И вспомнилась мне встреча с Семеном Михайловичем осенью 1943 года в районе Лоева (севернее Киева), где предстояло форсирование Днепра. Командующий 65-й армией Павел Иванович Батов, почувствовав, как мне хотелось познакомиться с маршалом, воспетым в песнях, взял меня с собой на подготовку намеченной операции. Мне посчастливилось провести двое суток в хате, где подготавливалась операция по форсированию Днепра. Семен Михайлович был представителем Ставки.

Так получилось, что теплой осенней ночью никому не хотелось идти спать. Засиделся на КП — в просторной деревенской хате — и Семен Михайлович. Вместе со своим неразлучным адъютантом Петром Зеленским, спасшим ему жизнь под Ростовом в 1920 году, он запел тихим, глуховатым голосом: «Распрягайте, хлопцы, коней». Потом маршала потянуло на воспоминания о том, как враг рвался к Днепру в сорок первом году.

Печально и нежно говорил Семен Михайлович о своих товарищах по Первой Конной (мы называли их «буденновцами»), героически сражавшихся и погибших или пропавших без вести при отходе из приграничных областей в Приднепровье. Называл имена. И, когда он вспомнил Сергея Яковлевича Огурцова, я не удержался, сказал, что видел его в последнем бою у Подвысокого.

— Подвысокое!.. — маршал вздохнул. — Сколько страданий доставило оно и мне!.. Мы с Верховным — старые товарищи, обращаемся друг к другу на «ты», но, спрашивая о шестой и двенадцатой армиях, он обратился ко мне на «вы», что не сулило ничего доброго. А я только и думал тогда, только и мечтал: мне бы сейчас две тысячи сабель, я бы сам прорубился к окруженным, вывел бы их и поставил на оборону Киева эти кадровые, стократно

уже проверенные в боях остатки дивизий и корпусов. Пусть остатки, но там каждый красноармеец стоил десятиерых...

Да, именно так говорил маршал осенней ночью сорок третьего года перед форсированием Днепра, когда вдали погромыхивала артиллерийская дуэль и плавно взмывали в темное небо мертвенно-бледные ракеты, совсем не такие, как при торжественных салютах.

Не показалось ли мне, что был этот разговор? Не скрываются ли прожитые десятилетия, превращая жизнь в сюжеты?

Нет, так было! К счастью, и свидетели есть — генерал армии Батов, долгое время возглавлявший Советский комитет ветеранов войны. Он может подтвердить, что именно так все и происходило.

Невольно я сопоставляю слышанное от самого Семена Михайловича с легендой о том, будто бы Буденный лично выводил через Чижовку и Гусаково войска, окруженные у Подвысокого. Как он хотел осуществить это в действительности!

Значит, следопыты из чижовской средней школы не пустые фантазеры, мыслят исторически.

Хочу процитировать последние строки их письма: «Через тридцать месяцев (январь 1944 года) после боев у Подвысокого произошла Корсунь-Шевченковская битва, где были окружены крупные силы немцев. Это как ответ своего рода на битву у Подвысокого».

Генерал Сергей Огурцов

Когда 6-я и 12-я армии лишились своих командующих, когда оборвалась жизнь членов Военного совета Любавина и Груленко, а начальники штабов Арушанян и Иванов повели малые боевые группы и вырвались из кольца, даже лживая и хвастливая геббельсовская пропаганда не посмела утверждать, что битва у Подвысокого выиграна. Сопротивление там не ослабло. Остатки наших дивизий и полков вновь и вновь бросались в штыковые атаки, хотя после 6 августа надежда на выход из окружения померкла.

Неизменной оставалась лишь одна задача, которая всегда стоит перед советским воином, — сражаться до последнего патрона, до последней капли крови. Эта фраза сегодня может показаться выпендренной, но она точно соответствовала душевному состоянию красноармейцев и командиров, попавших в беду под Уманью.

«Ваше положение безнадежно, сдавайтесь!» — кричали радиорупоры противника.

Но осталась еще граната, есть еще несколько патронов, а главное — не затупился штык, не раскололся приклад трехлинейки. Значит, сражение продолжается!

Наиболее боеспособной, пожалуй, была группа генерала Сергея Яковлевича Огурцова. Об этом человеке сказано немало добрых слов в мемуарах видных советских военачальников, в военно-исторических исследованиях. Он — признанный герой июньских и июльских боев на Украине.

Ровно через месяц после вторжения немецко-фашистских захватчиков на нашу землю более ста бойцов и командиров из 10-й танковой дивизии, которой командовал С. Я. Огурцов, было награждено орденами и медалями.

Боевая документация о действиях наших войск в тот исключительно трудный месяц скупно представлена в архивах. Иные донесения не дошли по назначению. Многие важные события на фронтах остались даже незафиксированными из-за мгновенно менявшейся обстановки. Однако в архиве Министерства обороны СССР имеется сообщение,

относящиеся ко второму дню войны в полосе Юго-Западного фронта: «Около 8 часов утра его части (речь идет о частях 48-го моторизованного корпуса группы Клейста.— Е. Д.) натолкнулись на передовой отряд 10-й танковой дивизии. Завязался танковый бой, который продолжался несколько часов и отличался исключительным упорством и жесточенностью... В этом бою советские воины уничтожили 20 танков противника, 16 противотанковых орудий и до взвода пехоты. Передовой отряд потерял 6 танков Т-34, 20 бронетранспортеров и 7 человек убитыми».

Этот бой произошел в районе Радзехува. А 2 июля танкисты генерала Огурцова выбивают противника из захваченного им Тернополя.

Как и другие наши частные успехи того периода, этот тоже закрепить не удалось. На другой день пришлось оставить Тернополь (уточняю: оставить по приказу!). Но значение каждого удара по врагу, каждого подвига от этого не меркнет.

Проследившая путь С. Я. Огурцова от границы до Зеленой браны, я никак не пойму, не могу определить: были ли у 10-й танковой дивизии и ее командира пусть не ночи, не дни, но хотя бы часы отдыха?

Широкою известность приобрел контрудар 6-й армии у Бердичева. 10-я танковая дивизия и 8-я танковая, которой командовал П. С. Фотченков, были сведены в единую группу Огурцова. Так она и называлась, но в сводках и донесениях имела еще одно наименование — «Казатин».

Группа «Казатин», объединившая танкистов, пехоту, конницу (из 3-й кавалерийской дивизии), отважно атаковала вражеские войска, прорвавшиеся в Бердичев. В одном только окраинном квартале города было уничтожено 50 танков противника. Вот уж чего никак не ожидал обнаглевший Клейст!

Его армейская группа была задержана у Бердичева на неделю.

Надо ли говорить, что это значило тогда?

Начальник генерального штаба сухопутных войск Франц Гальдер еще в те дни писал, что 1-я танковая дивизия потеряла в Бердичеве две тысячи человек. Две тысячи танкистов — урон весьма существенный, несравнимый с потерями, например, пехотной дивизии. Сколько было подбито и сожжено танков, если погибло две тысячи танкистов!

Именно тогда, кажется 9-го июля, я по заданию редактора армейской газеты «Звезда Советов» на машине

полевой почты добрался до штаба, расположившегося в одноэтажном, полусельском районе Бердичева. Помню еще, как ругался экспедитор: объединились несколько соединений и отдельных частей, наверное, это хорошо, но спутались номера полевой почты — не разобраться.

Я видел, как уверенно и деловито, безо всякой суеты действовали командиры, как отчаянно сражались две недели не спавшие бойцы.

Они наступали и чувствовали себя счастливыми!

Правда, недолго мы продержались в Бердичеве. Но было доказано: можно контратаковать, вышибать «его» и из городов!

О том, как воевал Огурцов в Бердичеве, рассказал в своей книге «Сыновний долг» дважды Герой Советского Союза генерал-лейтенант Захар Карпович Слюсаренко, который тогда командовал батальоном тяжелых танков и имел звание капитана.

Слюсаренко пишет: «Огурцовское «делай, как я» было для нас законом».

Вывавшийся позже из окружения Слюсаренко воевал и на Юго-Западном фронте, и под Ленинградом, а потом — до самой победы — судьба связала его с 3-й танковой армией, которой командовал маршал бронетанковых войск П. С. Рыбалко.

Захар Карпович участвовал в штурме Берлина, в освобождении Праги.

И всегда для него законом было огурцовское «делай, как я», значит, в его подвигах, отмеченных двумя Золотыми Звездами, жил и набирал мощность тот заряд, что дан был под Бердичевом на третьей неделе войны...

Сохранилось очень мало портретов Сергея Яковлевича: воспроизводится обычно лишь фотография, печатавшаяся до войны в центральных газетах в связи с присвоением первой группе высших командиров Красной Армии генеральских званий.

Тем дороже оказался подарок, полученный мною по почте, — пакет с пожелтевшими фотографиями, относящимися к концу двадцатых годов и к тридцатому году. Я увидел тогдашних богатырей, командиров в островерхих буденовках (странно — они относятся к далекой истории, эти суконные шеломы, но и я, все еще полагающий себя человеком сегодняшним и завтрашним, в точно таком головном уборе вернулся в 1940 году с Карельского перешейка!). Я рассматривал групповые фотографии слушателей каких-то курсов: первый ряд восседает на венских стульях,

красные командиры положили ногу на ногу, обращают на себя внимание широкие галифе и маленькие шпоры.

На грубо пошитых (даже на фотографиях кажущихся шершавыми) гимнастерках с неровными воротниками — ордена Красного Знамени в матерчатых розетках. Второй ряд стоит, командиры, как бы расчерченные ремнями, демонстрируют свою стройность и подтянутость.

Приложен список имен — каждое из них впечатано в историю, имена эти можно прочесть на табличках в названиях улиц в разных городах, на стендах музеев, в книгах мемуаров.

Крайний слева во втором ряду совсем молодой краснознаменец — конечно же и не заглядывая в список, узнаю Сергея Огурцова.

В письме — подтверждение. Да, это он «сотоварищи» в 1930 году на курсах — кавалеристов переучивают на танкистов.

Фотографию прислала мне из Павлограда Александра Ивановна Зобина, вдова латышского стрелка первых лет революции и полковника на Великой Отечественной, мать двух погибших офицеров. Она поделилась со мной трогательным и добрым воспоминанием:

«Когда муж в 1930 году учился на курсах моторизации и механизации в Ленинграде, мы жили на улице Жореса. У нас было пианино (неизвестно чье), я много играла и пела, когда меня просили. Огурцов любил, когда я пела «Белеет парус одинокий» и «Выхожу один я на дорогу».

Как ни странно для боевого командира, он был какой-то застенчивый, если можно так сказать. Но в то же время, прервет свое молчание и скажет что-нибудь остроумное, и все смеются, а он улыбается только глазами, а глаза у него были печальные. Я как-то его спросила об этом, а он улыбнулся и сказал, что таким родился...»

На карельском перешейке Сергей Огурцов командовал танковым соединением, в первые дни Великой Отечественной он принял под свое начало 10-ю танковую дивизию.

Пользуясь свидетельством Александры Ивановны Зобиной, могу сказать, что уже с тридцатого года лихой буденовец переучивался на танкиста. Но кавалерийская закваска, видать, бродила в нем, и к середине июля, когда весь 4-й мехкорпус, потерявший много машин, командование намеревалось отправить за Днепр на переформирование, генерал обратился к командарму с письмом, которое я недавно обнаружил, листая в архиве фонд 6-й армии.

«Командующему 6 армией генерал-лейтенанту Музыченко

11.7.41

Прошу поставить вопрос перед командованием фронтом о выделении в мое распоряжение тысячи кавалеристов, вооруженных автоматами, с десятью выючными станковыми пулеметами, десятью горновьючными орудиями, для партизанских действий в тылу войск противника по уничтожению коммуникаций, штабов, складов и подходящих резервов.

Командир 10 танковой дивизии
генерал-майор Огурцов».

На подлиннике этого рапорта нет резолюции командарма. По-видимому, Музыченко отказал в устной форме, во всяком случае никакой тысячи кавалеристов выделено не было. Нет свидетельств, что предложение Музыченко докладывалось выше. (Оно могло бы привлечь внимание маршала Буденного.)

Когда вопрос об отправке танковых дивизий за Днепр был решен, Огурцов получил повышение и стал командиром 49-го стрелкового корпуса.

Шагнув из танкистов в пехоту, старый конник сохранил только старую бурку, в которой я застал его на опушке Зеленой браны.

Попробую вспомнить, как выглядел человек, возглавивший борьбу в окруженной группировке. Он был среднего роста, но могуч, крепок, словно вырублен из одного валуна. Обращали на себя внимание рабочие руки с широкими пальцами; по карте он водил карандашом либо прутиком, палец бы закрыл сразу несколько населенных пунктов.

Лицо его было по-крестьянски смуглым, улыбался он редко, но суровым не казался, скорее сосредоточенным. Надо еще иметь в виду, что я видел его в последний раз в обстановке, не располагающей к улыбке. Раздумывая, он водил пальцами по губам, словно призывая к молчанию.

Казалось, что у него должен быть громкий и грозный голос, но приказания он отдавал, не напирая на басы, в несколько учительской интонации стараясь разъяснить суть задачи.

Танкист, он не расставался с буркой, как знаком своего конармейского первородства.

В одном из сельских музеев я не без удивления встретился с «современным» портретом Огурцова: генерал с погонами, на тяжелом мундире кроме старых больших орденов Красного Знамени еще и орден Отечественной войны, которым он был награжден посмертно.

Умелым фотомонтажом и ретушью ему был придан облик, не соответствующий реальности; генеральская форма с погонами была введена лишь в начале 1943 года...

Я понимаю добрые намерения, руководившие теми, кто дорисовал портрет. Но чувство несогласия и даже обиды мучает меня: не надо ничего пририсовывать и дорисовывать, пусть герои сорок первого предстанут перед нами такими, какими они были...

В Подвысоком Огурцов воевал уже в должности командира 49-го стрелкового корпуса, последнее его боевое донесение за номером 97 от 1 августа 1941 года сохранилось. Сергей Яковлевич докладывал, что противник непрерывно атакует, что штабы дивизий и корпуса под обстрелом, но есть еще у него 6 тысяч стрелков, 19 противотанковых и 4 зенитных орудия с боеприпасом по 25 снарядов на каждое.

Я находился с Огурцовым до заключительного его боя в районе Зеленой браны, на истерзанном подсолнечном поле, и могу засвидетельствовать, что после неудавшегося прорыва наших войск 5—6 августа Огурцов небезуспешно пытался объединить разрозненные части, упорно оборонялся этими силами у Подвысокого и Копенковатого, а потом углубился в лес, сделав боевым ядром своей группы кавалерийский полк.

Штаб 49-го стрелкового корпуса как-то сам собой взял на себя управление всеми войсками, оставшимися в окружении.

Вскоре после Победы меня нашел в Москве полковник в зеленой фуражке пограничника — Николай Прокопюк. Это был человек легендарный: ветеран Первой Конной армии, участник войны в Испании, командир партизанского соединения, действовавшего на территории Польши и Чехословакии, Герой Советского Союза.

Прокопюк настойчиво просил меня рассказать все, что я знаю о генерале Огурцове, которого он называл только по имени: они служили когда-то в одном эскадроне Первой Конной, рядом — стремя в стремя — ходили в кавалерийские атаки. Мой рассказ обрывался на той трагической минуте, когда горные егеря навалились на сопротивляющегося генерала, пытаясь пленить его. Огурцов считался пропавшим без вести. Прокопюк не хотел и, видимо, не мог оставить в неизвестности судьбу друга.

— Надо дознаться, как дальше боролся Сергей! — твердил он.

В том, что Огурцов продолжал борьбу, Прокопюк не сомневался. Он располагал сведениями, что его друг в

1942 году появился в Польше, как раз там, где они вместе воевали в 1920 году и где Сергей Яковлевич заслужил свой первый орден Красного Знамени. При содействии местных жителей генерал будто бы стал сколачивать партизанский отряд, мечтал если не сразу, то постепенно посадить партизан на коней, сделать отряд кавалерийским. Наверное, сыграло определенную роль место действия; память о юности в седле. Впрочем, и в Подвысоком Сергей Яковлевич главные надежды возлагал на кавалерийский полк, я это помню.

По утверждению Прокопюка, на первых порах Огурцову и в Польше сопутствовали удачи. Партизанский отряд он создал и возобновил дерзкую борьбу с оккупантами. А те прознали, с кем имеют дело, стянули в район действий отряда значительные силы, и 28 октября 1942 года в неравном бою Сергей Огурцов погиб...

Много лет, до самой своей кончины, вел полковник Прокопюк поиски. Ему удалось пунктиром наметить всю линию героической жизни старого боевого товарища. Но вот досада: некоторые данные, опубликованные Прокопюком, в моем поиске выглядят иначе.

Чем это объяснить?

Все тем же: на коротком отрезке истории, всего в масштабе нескольких десятилетий, иные недостаточно документированные факты превратились в легенды. Не уходя от правды в главном, они разноречивы в деталях.

У меня иные данные о побеге генерала из плена. По данным полковника, его друг оказался в лагере военнопленных в городе Хелм, заболел там тифом и совершил побег из лазарета, охранявшегося легионерами (то есть солдатами из стран — сателлитов Германии). Но теперь точно известно, что Огурцова содержали в неволе вместе с другими советскими генералами — Музыченко, Понеделиным, Снеговым, Абрамидзе, Тонконоговым. Там же был Карбышев, там же был прославленный летчик Тхор. С Абрамидзе и Тонконоговым мне удалось связаться (один живет в Тбилиси, другой — в Киеве). По их утверждению, Огурцов совершил свой побег из поезда, когда его и других наших генералов везли в Германию.

В пассажирском вагоне — это был западный «пульман», с дверями наружу из каждого купе — оказались вместе Карбышев, Тхор, Тонконогов и Огурцов. Экстренное торможение резко остановило поезд. Дверь купе приоткрылась, соскочить с поезда успел лишь Огурцов.

Допускаю, что он был вскоре вновь схвачен, препро-

вожден в Хелмский лагерь и там заболел тифом. Тогда и моя версия, и данные полковника Прокопюка сходятся. Но все это требует дальнейшего выяснения.

А пока у меня накапливаются новые и новые легенды и показания, касающиеся судьбы генерала Огурцова.

В. П. Скалкин, офицер в отставке, живущий ныне в городе Тольятти, прошел все круги ада. Его номер в Хаммельбурге 13396. Он прислал воспоминания и дал свою версию побега Огурцова, с которым находился некоторое время в лагере Замостье (Замосць).

«30 апреля 1942 года из Замостья был отправлен эшелон — 1700 ходячих скелетов. В этом же эшелоне увозили генерал-полковника Огурцова...»

Я написал Скалкину, что Сергей Яковлевич Огурцов был только генерал-майором, но лейтенант запаса настаивает: нет, генерал-полковником!

Легенда повысила Огурцова в звании, не иначе...

Итак, уходит эшелон... что же дальше?

Эшелон вместе с немцами охраняли и лагерные полицаи; восемь из них совершили побег, их ловили, эшелон был остановлен...

Цитирую воспоминания Скалкина: «Получилось замешательство, паника, шум, крик, ругань. Это произошло близ г. Островца (Польша). Генерал Огурцов воспользовался беспорядочной беготней немцев, с помощью находившихся с ним узников оторвал решетку на люке, сделанную из колючей проволоки и закрепленную обыкновенными гвоздями. Товарищи помогли ему вылезть из вагона. С большой выдержкой, не спеша, он перешел железнодорожные пути, сел в один из вагонов стоявшего в тупике пригородного поезда и наблюдал за эшелоном, из которого только что сбежал. Немцы кричали, ругались, проклинали себя за то, что увлеклись поимкой сбежавших полицаяв и упустили советского генерала».

Скалкин описывает, как эшелон разгрузили, как погнали узников 28 километров (он запомнил, считал столбы на мучительной дороге) и заперли в тюрьму «Святой крест».

А генерал Огурцов?

Скалкин, несмотря на мои возражения, утверждает: «Позднее беглецы-неудачники рассказали, что они где-то в Польше видели березу с надписью: «Здесь отдыхал русский генерал Огурцов». А генерал благополучно дошел до Советского Союза и продолжал воевать с фашистами в должности командующего армией. Он одним из первых описал в брошюре об ужасах Замостья...»

Я так и не смог убедить В. П. Скалкина, что не было ни командарма, ни брошюры, — он свято верит в бессмертие генерала Огурцова.

Могу дать самое простое и точное объяснение истории, рассказанной выше: это легенда, а основа ее — героический образ советского генерала. Я старался доказать товарищу из города Тольятти, что не так было дело, что не могло так быть. А он считает, что так должно было быть, что слух об Огурцове, добравшемся до сражающихся войск, командующем армией, множеству «лагерных доходяг» вернул искорку жизни, не дал умереть.

Имею ли я право разубеждать лейтенанта, защищавшего ДОТы Остропольского укрепрайона до последней возможности, захваченного в плен 14 июля 1941 года?

Пусть Скалкин по-прежнему верит, пусть ему всегда видится его сотоварищ по неволе во главе армии, штурмующей Берлин!

Идут годы, отдаляются события, но не растворяются во времени подвиги и герои. След Сергея Яковлевича Огурцова вот уже несколько лет ищет телевидение Польской Народной Республики; все новые истории о нем рассказывают со своих страниц варшавские и провинциальные газеты. (В журнале «Пшиязнь» № 37 за 1983 год опубликована большая статья «Время не стерло следов».)

В Польше имя Огурцова овеяно легендой. Там говорят — «он был советский генерал, но погиб как польский партизан».

В пяти-шести километрах от Красноброда по Томашевскому шоссе есть место, которое называется «Генерал». Это название возникло в уже далекие послевоенные времена, поначалу им пользовались только жители окрестных деревень, но постепенно оно вошло в обиход, и надо полагать, вот-вот появится и на государственных картах.

В еженедельнике «За вольность и люд» еще в 1980 году была опубликована статья под заголовком «А местность назвали Генерал».

Из материалов польского телевидения складывается такая картина: Сергей Огурцов нашел партизанский отряд, уже действовавший в лесах Замойщины под началом некоего Мишки-татарина, советского офицера, ставшего ныне героем легендарным.

Встал ли Огурцов во главе отряда?

Собиравший сведения на месте журналист и кинооператор Мачей Александр Яниславский так отвечает на этот вопрос:

«Похоже на то, что Мишка передал руководство отрядом генералу, впрочем, это было совершенно естественным. В отряде, однако, обращались к нему не по званию, а «товарищ начальник». Когда Огурцов поворачивался к Мишке, тот невольно вытягивался по стойке «смирно»...»

Выступая в Варшаве по телевидению, лесник Юзеф Мазурек (тогдашний солдат «батальонов хлопских», псевдоним «Ель») рассказывал:

«...Как он выглядел? Высокий, крепкого сложения, продолговатое лицо, волосы зачесаны назад. Он был одет в бриджи, сапоги гармошкой, штатский спортивный пиджак. По сравнению с Мишкой и другими советскими партизанами он выглядел, однако, довольно болезненным. Я знал, что это последствия пребывания в лагере.

Какое впечатление произвел на меня генерал? Это был исключительно умный человек. Всегда вежливый и уравновешенный. Слушать его было истинное удовольствие.

И еще: как генеральское звание, так и фамилия нового командира держались в глубоком секрете».

Видимо, слухи о том, что партизанский отряд, в котором преобладали советские, возглавил генерал, все-таки просочились. Жандармам стало известно и место партизанского лагеря.

Как выяснилось, жандармский налет был произведен тогда, когда в лесном убежище находились лишь Огурцов и его товарищ по побегу из плена чех Танчаров.

Свидетельство Мазурека:

«Еще издали я узнал Огурцова. Он сидел под пихтой в окровавленной рубашке. Грудь была прошита автоматной очередью. Неподалеку лежал другой убитый...»

Взвесив все обстоятельства и свидетельства, польское телевидение пришло к выводу, что кто-то предал партизан. Но пока-это остается тайной.

Была показана на экране (и в Варшаве, и у нас в программе «Время») могила генерала в том виде, какой ее оставил похоронивший Огурцова и Танчарова лесник Юзеф Мазурек.

Однако позднее обнаружилось, что могила пуста... Новая загадка!

Телевидение Варшавы опять обратилось к своей аудитории.

Вот что выяснилось:

Через несколько дней после трагедии Мишка-татарин выкопал тело своего командира и увез его — неизвестно куда... Партизанский вожак опасался, что место

захоронения станет известно жандармам и они поглумятся над прахом генерала.

Но оно неизвестно теперь никому: погиб Мишка-татарин, не найдены и его товарищи по отряду. Телевизионный поиск все же не пропал даром. Некто Станислав Ярош из Сушца прислал письмо: он видел, какие похороны устроил Мишка своему командиру:

...«Мы с братом сидели в кустах, боясь выйти. Партизаны Мишки закопали тело, а потом дали в воздух десять залпов из автоматов. На могиле они выложили звезду из карабиновых гильз. Потом они уехали в сторону Хамерни...»

В лесу, куда повел кинооператора Станислав Ярош, не было никаких, ни малейших следов могилы. Решили все-таки раскопать невеликий пригорок, обнаружили патронные гильзы. Глубже — хорошо сохранившийся в песке скелет.

Проведена медицинская экспертиза и антропологические исследования (из Советского Союза был получен портрет генерала), подтвердившие — это прах Огурцова.

И вновь противоречие: лесник Мазурек запомнил, что грудь генерала была прошита автоматной очередью, а судебный медик д-р Мариан Паленки установил: «В черепе обнаружены отверстия в затылочно-теменной кости. Все указывает на то, что этот человек, вероятно, тяжело раненый, был добит выстрелом в голову...»

Польское телевидение продолжает свой поиск.

Рассказ о генерале Сергее Яковлевиче Огурцове я хочу завершить воспоминанием, относящимся к совсем недавнему времени.

Находясь в командировке в Соединенных Штатах и приехав в Нью-Йорк, я, конечно, отправился осматривать здание ООН. Вход туда свободный. Во всяком случае, в холлах нижних этажей здания можно находиться беспрепятственно. Я осматривал картины, исполненные художниками разных стран и подаренные ООН правительствами, и тут ко мне подошел невысокий, крепкоплечий, сравнительно молодой человек, в котором я мгновенно узнал соотечественника. Он улыбнулся простодушной, чем-то очень знакомой улыбкой. Я никак не мог вспомнить, где его встречал раньше, да и встречались ли мы, или, может быть, мне случилось видеть только его портрет.

— Здравствуйте,— сказал он,— и очень прошу не удивляться, обращаюсь к вам с необычной, возможно, даже странной просьбой. Но я уверен, что вы меня поймете.

Сказанное не совсем соответствовало дипломатическому этикету. Дипломат не должен сразу утверждать, что со-

беседник его поймет. Но незнакомец со знакомым мне лицом, видимо, имел внутреннее право говорить так. Чтобы окончательно вывести нашу беседу за рамки официальности, я сказал:

— Ну ладно, что у вас ко мне, товарищ, выкладываете!

— Видите ли, я из Минска, работаю здесь по контракту как международный чиновник. У моей жены с часу на час должны начаться роды. Я очень прошу вас стать восприемником, что ли, как прежде говорили,— крестным отцом моего будущего ребенка. Мне бы хотелось мальчика...

Признаться, более неожиданного и странного предложения я никогда не получал, а если учесть, что оно было получено в Нью-Йорке от незнакомого человека, только что вынырнувшего из потока разноплеменных посетителей и служащих Организации Объединенных Наций, ситуация становилась просто невероятной.

Я удивленно разглядывал международного чиновника. Заметил на левом широком, как диктовала мода сезона, лацкане его пиджака прямоугольную карточку с именем и фамилией, отпечатанными по-английски. Но доставать очки было как-то неловко, и я, предположив, что произошла ошибка, что меня приняли за кого-то другого, по возможности сухо сказал:

— Вы бы хоть представились, сэръ!

А сам полез в карман за своей визитной карточкой.

— Огурцов Станислав Сергеевич,— назвал себя мой неожиданный собеседник.

В мгновение мне стало ясно, почему его лицо показалось знакомым. Конечно же это сын генерала, руководившего последним боем на подсолнечном поле, под Зеленой брамой.

Мы обнялись, но не так, как это делают лишь единственные дипломаты, обнимающиеся в официальных местах, те, что из Латинской Америки. Их объятия картинны, они, соблюдая некоторую дистанцию, похлопывают друг друга по плечу. Мы просто обнялись, как обнимаются русские люди, умеющие откровенно, не по протоколу щедро делиться радостью и скупое — горем. Пробегавшие мимо международные чиновники посматривали на нас с удивлением.

Внук генерала Огурцова ждать себя не заставил, появился на свет в тот же день. Мы провели подобающую случаю церемонию в Нью-Йорке: я «крестил» младенца золотой звездочкой — маленькой моделью геройской Звезды, которой, по моему мнению, достоин его дед, генерал Сергей Яковлевич Огурцов.

Штыком и гранатай пробивались...

Убедительную легенду привел в своем письме в редакцию «Правды» майор в отставке Николай Семенович Крылов, инженер из Нарвы, участник партизанского движения в Ленинградской области. (Вот куда его занесло из Зеленой браны! Боец 58-й дивизии, он был ранен, оказался в Уманской яме, откуда бежал той же осенью.)

Послушайте партизана: «Будучи в фашистских лагерях и ожидая с часа на час смерти, я очень много слышал легенд и рассказов о сражениях советских войск под селом Подвысокое. Откуда бы ни донесся гул разрыва снаряда, или бомбы, или артиллерийская канонада,— все это принималось за бой советских воинов под селом Подвысокое. Говорили, что под селом Подвысокое есть лес, который превращен нашими войсками в своеобразную крепость, и какие бы силы ни бросали фашисты против этой крепости, мужество и упорство героических советских воинов сломить не могут. И мы, военнопленные, благодаря такому мифу о героических защитниках лесной крепости, вселяли в себя надежду на то, что именно в этом месте будет прорвано кольцо окружения советскими войсками и мы будем освобождены!»

Подобные легенды живут и в селах Кировоградской области.

Далеки ли они от действительности?

Они ближе к правде, чем лживые рассказы «с той стороны».

Двойное бронированное кольцо, зажавшее 6-ю и 12-ю армии, было очень тугим. А все же, как поется в песне о далекой гражданской войне, «штыком и гранатай пробивались ребята»... Далеко не все, правда. Пробивались целыми батальонами и подразделениями. Пробивались совсем маленькими группками — всего по несколько человек и даже в одиночку.

Не сгорела в адском огне Зеленой браны гордость Красной Армии — 99-я Краснознаменная стрелковая ди-

визия. Председатель киевской группы Совета ветеранов этой дивизии В. И. Мирошниченко утверждает и документально подтверждает, что две тысячи ее бойцов и командиров вырвались из окружения и вынесли знамя дивизии, а также знамена частей. Организованно вышли артиллерийские полки, зенитный дивизион, связисты, саперный батальон. Вышли начальник штаба дивизии полковник С. Ф. Горохов, начальник артиллерии полковник И. Д. Романов, и оба прославились в последующих сражениях.

Во всех литературных источниках об обороне Сталинграда упоминается имя полковника Горохова. Под его командованием две стрелковые бригады насмерть стояли на правом фланге Сталинградского фронта. Они возвели наплавной мост через Волгу, использовав для этого пустые бочки. Но только для того, чтобы получать с противоположного берега боеприпасы и эвакуировать раненых. Сам полковник ни разу не перешел по этому мосту на левый берег. Он расстался с бойцами своей группы лишь в декабре, получив новое назначение: на должность заместителя командующего 51-й армией.

А полковник И. Д. Романов уже в звании генерала погиб в 1943 году в боях за Тамань. И тоже личным примером доказал, что герой — величина постоянная!

Сурова судьба командира 99-й дивизии полковника П. П. Опякина. В тяжелейшем бою близ Терновки его, раненного, схватили фашисты. Но, едва придя в чувство, в том же августе сорок первого года он бежал из Уманской ямы, все же пробился к своим, вновь встал в строй нашей действующей армии.

Я встретил его в дни освободительных боев в Белоруссии, под Гомелем. Он и там командовал стрелковой дивизией. Когда выяснилось, что оба мы побывали и в Зеленой броне, и в Уманской яме, Павел Прокофьевич решительно оборвал разговор на эту тему:

— Давай о тех днях поговорим после войны... А то завтра наступать. Побережем душу от боли.

После войны нам не пришлось встретиться. С чувством исполненного долга он завершил свой жизненный путь в звании генерала.

А какова дальнейшая судьба самой 99-й стрелковой дивизии?

В Сталинградской битве она участвовала рядом с группой Горохова, своего бывшего начальника штаба. Затем освобождала Запорожье и Одессу, получила почетное наименование 88-й гвардейской. Под этим наименованием в

последний день войны вышла к Бранденбургским воротам в Берлине.

Может быть, она единственная такая везучая? Нет!

Накануне Курской битвы 4 июля 1943 года редакция фронтовой газеты направила меня в 15-ю Сивашскую дивизию, ее штаб стоял неподалеку от станции Поньри. Я помнил, что Сивашская воевала под Уманью, мне приходилось бывать в ее полках, а потом, при выходе из окружения, вместе мыкать горе с сивашцами. Я надеялся опять увидеть старых знакомых, хотя и знал, что погибли многие.

Командиром 15-й Сивашской оказался молодой, лет тридцати, красавец грузин, только что получивший назначение на эту должность и звание полковника. Пятого июля началась битва, победа в которой была отмечена самым первым в истории войны торжественным салютом. Но первый день этой битвы — 5 июля — был тяжелейшим в нашей жизни. Противник навалился на нас огромными силами. Впервые увидели мы танки «тигр» и самоходные орудия «фердинанд». И подбиты первые «тигры» как раз в полосе 15-й Сивашской стрелковой дивизии.

Ее новый командир проявлял особый интерес к ним. Он даже собирался ползти по-пластунски на так называемую нейтралку, где были сокрушены нашими артиллеристами эти стальные чудовища и стояли с уныло опущенными стволами орудий. Замполит, однако, сумел отговорить комдива от столь опрометчивого поступка.

Несколько дней я приглядывался к полковнику, поговорить было некогда. Лишь когда пик сражения остался позади и ночью мы оказались вдвоем в наскоро открытой землянке, я спросил: нет ли в составе дивизии кого-либо из участников боя под Уманью?

— Одного могу представить немедленно,— ответил полковник, улыбаясь устало.— Только я был тогда не в Сивашской, а рядом с ней, в шестнадцатой танковой, у Новосельского, во втором мехкорпусе.

Вот, оказывается, откуда у комдива такой интерес к танкам!

— Та самая шестнадцатая танковая, в которой оставался к первому августа один-единственный танк?

— А ты откуда знаешь?..

Дальше — больше, постепенно выяснилось, что это он, будущий командир 15-й Сивашской, а тогда капитан Владимир Джанджгава, в ночь с первого на второе августа 1941 года пробивал путь и вывел из окружения тылы танкового соединения.

Могу еще добавить, что долгие годы Герой Советского Союза генерал-лейтенант Джанджгава возглавлял ЦК ДОСААФ Грузии. Мы изредка переговаривались по междугородному телефону — благо между Москвой и Тбилиси автоматическая связь.

В письмах, полученных мною, не раз упоминалось имя еще одного танкиста — бывшего командира 45-й танковой дивизии Михаила Дмитриевича Соломатина. В августе сорок первого он только что получил звание генерал-майора, и подчиненные по привычке нередко еще называли его полковником. Соломатин собрал в Зеленой броне отряд до 200 человек. Все это были экипажи без танков.

Возраст Соломатина уже тогда приближался к пятидесяти. Ему довелось участвовать и в первой мировой и в гражданской войнах. Знал, как действовать штыком, и, наспех обучив этому танкистов, повел свой отряд в юго-западном направлении.

На плечах несли раненого командира корпуса генерала Владимира Ивановича Чистякова. Он умер на руках товарищей на последнем рубеже. Но отряд с тяжелыми боями пробился к Днепропетровску.

Я не могу продолжать свое повествование, пока не расскажу о командире 24-го механизированного корпуса. Генерал-майор Владимир Иванович Чистяков — поистине легендарная личность. К началу Великой Отечественной уже прожив полвека, он в первую мировую войну служил в лейб-гвардии уланском полку на Юго-Западном фронте, четыре года провел в австро-венгерском плену, после революции вернулся на родину, вступил в ряды Красной Армии. Первоначально политрук в кавалерийской бригаде Котовского, он в боях стал командиром полка.

Еще командуя 2-м эскадронам 1-го кавполка, он отличился в ноябре двадцатого года под Проскуровом и был награжден орденом Красного Знамени, а вскоре, командуя 4-м эскадронам того же полка, получил и второй такой же орден. В приказе о награждении были такие высокие слова о нем: «...рыцарь без страха и упрека, лучший пример рубаки, стрелка и наездника, участвовавший во всех боях кавбригады, совершивший ряд подвигов и выполнивший массу боевых заданий».

Как ярко проявились в строках приказа характерные черточки времени, как звонок лексикон гражданской войны...

В первом списке советских военачальников, получивших генеральские звания (Постановление Совета Народных Комиссаров СССР от 4 июня 1940 года), — имя Владимира Ивановича Чистякова.

Со своим механизированным корпусом Чистяков в Отечественную вновь прошел по тем полям и холмам, где мчался на коне с саблей наголо в гражданскую вместе с Григорием Котовским.

После Победы Владимир Иванович Чистяков был посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени...

Могила конника, аттестованного как рыцарь без страха и упрека, — в городе Первомайске, к которому он пробивался вместе с Михаилом Соломатиным и бойцами своего корпуса...

Я нашел в московской телефонной книге номер Соломатина М. Д. Начал разговор с места в карьер:

— Помните Подвысокое, товарищ генерал?

— Еще бы! Не раз вспоминал, сражаясь под Москвой. И даже в августе сорок пятого на Дальнем Востоке. Но с особой яростью — в сорок четвертом году, когда вел танковые бригады по Кировоградчине, по тем самым местам...

— Не слишком ли много рассказываешь ты о генералах? — спрашиваю себя.

Наверное, нет, не слишком.

Во-первых, потому, что пришедшие на страницы книги генералами, иные из них начинали путь 22 июня в невысоких чинах и званиях, и уж непременно и все до единого раньше были рядовыми. (Ведь и от завершения гражданской войны прошло поменьше двадцати лет, это теперь мы оперируем сорокалетними отрезками времени.)

А во-вторых, там, на Синюхе, и прославленные первые генералы Красной Армии дрались штыком и прикладом, ложились за пулемет, как рядовые, и в атаки ходили с красноармейцами в одной цепи, правда, на несколько шагов впереди.

Значит, на равных участвовали в бою, и в памяти пусть остаются со своими красноармейцами на равных!

В летопись Великой Отечественной золотыми буквами вписано имя Александра Головачева, дважды Героя Советского Союза. Имя Головачева носит теплоход на Волге, улица в Москве.

Полковник Головачев прославился в 1943—1945 годах, командуя мотострелковой бригадой в 3-й гвардейской

танковой армии Рыбалко. И поныне поется марш мото-стрелков:

*Васильковская, Краснознаменная,
Нас в бой ведет Головачев!*

В подчинении Головачева оказались моряки, прибывшие с Тихого океана, — они беззаветно любили своего комбрига, говоря по-старинному, — боготворили. Храбрость его была известна по всей гвардейской армии. Еще бы! Четырежды он был ранен тяжело, трижды легко и всегда спешил возвратиться на фронт из очередного госпиталя. От орловских равнин до подступов к Берлину довел Головачев бригаду, форсировал Днепр и Десну, Сан и Вислу, Нейсе и Одер.

Но мало кто знал, что самой трудной рекой на его боевом пути была злополучная Синюха.

Интереснейший документ — «папка Головачева», хранящаяся в архиве Советской Армии. Там есть объяснение, написанное в госпитале раненым партизаном Головачевым, переправленным через фронт.

Это целая повесть!

Оказывается, он начинал войну капитаном, начальником штаба 146-го Богунского горнострелкового полка 44-й дивизии, дошел от границы до Зеленой браны. На Синюхе от полка осталась рота. Горстка горнострелков обороняла штаб Понеделина. От него Головачев получил задание: с группой добровольцев прорваться в направлении Белая Церковь (то есть на Киев), связаться с командованием фронта, доложить обстановку и просить помощи.

До Белой Церкви группа дошла, но город, оказалось, уже в руках противника.

Головачев принимает решение, которое не покажется странным, если иметь в виду, что был он кадровым командиром, умеющим и подчинять и подчиняться: приказ командарма выполнить не удалось, значит, надо вернуться, доложить, что штаба фронта нет на месте, и до последнего сражаться вместе с окруженными.

Капитан идет обратно: из-под Белой Церкви — в Подвысокое! Близок свет...

«Я пришел в тот лес, где оставил штаб 12-й армии, но там никого не было. Куда они девались — я не знаю...

Решил идти на восток».

Группа Головачева, кочуя по тылам противника, влилась в один из партизанских отрядов Брянской области, капитан стал заместителем начальника отряда.

Он, может быть, и остался бы в партизанах, если бы не получил приказ перейти линию фронта и отправиться в госпиталь, а по выздоровлении — в отдел кадров.

Есть в объяснении и строки, имеющие важное значение для понимания сложившейся в броне обстановки: «При выходе группы у всего личного состава были отобраны документы, в том числе и партийные. У тех, кто был из 44-й горнострелковой дивизии, документы отобрал батальонный комиссар Ломовцев...»

Значит, бой за выход из окружения был в Зеленой броне приравнен к разведке — у разведчиков, идущих в тыл противника, всегда собирают документы и оставляют в штабе.

Ломовцев, батальонный комиссар Ломовцев... Знал я его или слышал о нем? Или в письмах ветеранов о нем упоминалось?

Я стал вновь перебирать гору писем и нашел конверт от бывшего командира радиороты 44-й дивизии В. Бойко (из села Лычанка на Киевщине). Там не только стихи на украинском языке, но и воспоминание о бое на Синюхе: «Мы переходили в контратаки, прикладами и штыками обращали фашистов в бегство. В этом бою погиб наш батальонный комиссар Ломовцев...»

Вот откуда мне известна эта фамилия... Могу себе представить, как беззаветно сражался батальонный комиссар с партбилетами во всех карманах!

Он и такие, как он, пробили Головачеву и другим героям путь к Берлину, к славе, к бессмертию.

Рассказывая сейчас о пробившихся из Зеленой браны штыком и гранатой, доблестно проявивших себя в последующих сражениях, — о капитанах, выросших до полковников, и полковниках, ставших генерал-полковниками, — я невольно задумываюсь: как бы сложилась судьба тех, кто погиб в окружении? Сколько талантов мы потеряли!.. Какое счастье, что не все погибли!

Когда я был в Киеве, ко мне в гостиницу пришел гвардейского роста, моложавый полковник. Чувствовалась «военная косточка». Начал со «здравия желаю». Представился:

— Бывший начинж двести шестнадцатой мотострелковой дивизии, ныне полковник в отставке Лебедев Иван Михайлович.

Я грешным делом подумал: не слишком ли рано вышел мой гость в отставку? Но когда Лебедев достал из портфеля бумаги и со словами «простите, привык к точности,

к документу» развернул их, я прямо-таки ахнул: предомной ровесник XX века, участник штурма Зимнего дворца в Октябре семнадцатого года, участник подавления контрреволюционного мятежа в Кронштадте. Вон он каков!

О многом интересном поведали и другие прихваченные им документы. Саперам 216-й стрелковой дивизии было приказано возвести переправу на реке Синюхе, и под ураганным огнем противника переправа была построена. Но на войне мало построить переправу. Надо еще держать ее. И держали. И первого и второго августа. Прошли по этому мосту машины числом до тысячи. Мост многократно разрушала авиация врага, его чинили под нагрузкой — машины продолжали идти. И бомбы продолжали выть, вздымая фонтаны. Казалось, вся река выплеснется и в мосте уже не будет необходимости.

Переправили повозки с ранеными. Потом пошли через Синюху подразделения 216, 45 и 49-й стрелковых дивизий. Полторы тысячи бойцов прорвались к Кировограду.

Когда мост был разнесен в пух и прах, начали отходить саперы. Случалось при том и врукопашную схватываться с преследовавшим их противником. Но вышли под своим знаменем.

— Я вам доложил все самым кратким образом. Если будут вопросы, пожалуйста. Если нет, разрешите отбыть? Честь имею...

Лебедев Иван Михайлович убрал бумаги в портфель и покинул меня. Я долго в окно наблюдал, как он шагает по улице... У памятника Ватутину он задержался, поднял голову. Потом зашагал дальше. Участник Октябрьской революции, участник переправы на реке Синюхе...

Как-то меня навестил полковник в морской форме, проездом оказавшийся в Москве.

— Репин Петр Дмитриевич.

Эта фамилия была мне знакома, да и лицо тоже. Правда, в народном музее Подвысокого на фотографии он в пехотинской гимнастерке с одной шпалой в петлице, лицо молодое, но очень суровое. Сейчас оно много старше и добрее. Старый воин вышел в отставку.

— Отдыхаете?

— Какой там отдых! Работы куда больше, чем на службе. Товарищи избрали председателем Совета ветеранов восьмидесятой дивизии.

— А в морской форме почему?

— Надел ее, когда служил в Севастополе, в береговой артиллерии.

80-я стрелковая ордена Ленина имени Пролетариата Донбасса дивизия отличилась еще в приграничных боях, сражалась в Зеленой броне.

Петр Репин рассказал мне о мужестве командиров — коммунистов Н. Завьялова и И. Долгова, впоследствии удостоенных звания Героя Советского Союза, об артиллерию, ставших пехотой.

Отряду, ядро которого составили эти артиллеристы 80-й дивизии, удалось выйти из окружения. Отряд прошел с боями на юг, а затем повернул на восток и вышел к Днепропетровску. Было бы утешительно представить, что он в полном составе проделал путь из Зеленой браны до Днепропетровска. Нет, это не так. Потери отряда были велики. Но, теряя людей, он все время пополнялся, потому и вышел из окружения численно примерно таким же, каким начал прорыв. Немало тяжелораненых пришлось оставить в попутных селах. После поправки они пробивались через фронт мелкими группами и в одиночку. А кому не удалось пробиться, подались в подпольщики и партизаны. Сейчас выявляются все новые имена и факты. В городе Немирове Винницкой области бесстрашно действовал, был схвачен и казнен фашистами лейтенант из 80-й Анатолий Буко. (В 1984 году одна из улиц города названа его именем.) Собственно, почти весь немировский партизанский отряд можно считать подразделением 80-й стрелковой дивизии.

Было бы наивно думать, что в той округе войсковые части превратились в партизанские отряды. Основу партизанского движения здесь, как и повсюду, составляли местные жители. Руководство этим народным движением осуществлялось партийными органами или их представителями, специально оставленными на оккупированной территории.

И все же роль «окруженцев», их удельный вес в партизанском движении значительны.

Сколько военнослужащих из 6-й и 12-й армий влилось в партизанские отряды, счесть едва ли возможно. А вот перешедшие линию фронта сочтены. Оперсводка штаба Южного фронта номер 098 свидетельствует: с первого по восьмое августа вышло из окружения более одиннадцати тысяч человек.

Я не располагаю обобщенными данными по Юго-Западному фронту, но твердо знаю, что некоторые из моих

товарищей по 6-й армии добрались до Киева и участвовали непосредственно в его обороне.

Многие (в том числе и я), перейдя Днепр, на территории Полтавской области вновь оказались в окружении, очень тяжелом. Лишь осенью 1941 года мне посчастливилось перейти линию фронта в районе Купянска. Такими же счастливыми на этом направлении оказались в тот день еще человек семьдесят. Частично из правобережного окружения, частично из нового — левобережного.

Выходили здесь ежедневно на участках разных дивизий. Где больше, где меньше. Выходили отрядами и мелкими группами, пробирались и по одному.

Читатель вправе спросить: если пробились штыком и гранатой тысячи, значит, не таким уж плотным было окружение, можно было пробиться?

Ответ мой будет краток и печален: можно, конечно, но только ценою великих жертв. Пробились мы потому, что дравшиеся рядом с нами до последней капли крови рядовые бойцы, командиры и комиссары легли там костьми, прокладывая путь товарищам.

У каждого человека своя судьба, и далеко не всегда на войне он сам может распорядиться ею.

Слава пробившимся.

Слава пробивавшимся...

Три красноармейца

Я получил письмо без обратного адреса, но по штемпелю отправки нетрудно было определить, что послано оно из знакомого мне села Кировоградской области, расположенного на правом берегу реки Синюхи.

Незнакомый человек очень аккуратным, что называется, школьным почерком описывал свое участие в военных событиях далекого августа. На самом письме была и подпись: красноармеец (далее следовали имя, фамилия).

Все-таки странно: уже давно исчезло из обихода звание красноармеец. Говорят: солдат, говорят: боец, говорят: рядовой. Иногда называют себя по принадлежности к роду войск; стрелок или десантник, танкист или сапер. Может быть, еще как-нибудь назовутся, но только не красноармейцем — это слишком далекое прошлое.

Привожу письмо полностью:

«Вы выступали по радио, просили откликнуться участников боев в районе Подвысокое в начале августа 1941 года. Я один из них, могу описать жестокий бой, в котором пришлось участвовать. Мы пошли на прорыв ночью с опушки леса. В нашей области лесов мало и много равнин и полей, так что спрятаться и затаиться в том лесу столько полков никак не могло. И все равно надо было прорываться из кольца, и мы пошли на прорыв. Нам пришлось бросить пушки, потому что снаряды кончились. У нас в руках были винтовки с примкнутыми штыками, а патроны тоже кончились, нам ничего другого не оставалось, как идти в штыковую атаку с песней «Интернационал». Ночь была лунная, мы видели врагов, и они видели нас, и мы беспощадно кололи их штыками, и они бежали и падали, но их было очень много, они бы в штыковом бою не выдержали, но у них были танки. И все-таки мы прошли двадцать километров от села Подвысокое. Я колот фашистов штыком, и они дико кричали. Потом они окружили меня и моих товарищей со всех сторон и почти в упор покосили нас из своих черных автоматов».

Меня смутила не только подпись, но и кое-что в тексте письма. Идти в штыковую атаку с песней вряд ли возможно. Во всяком случае, тогда, когда мы шли на прорыв, никто не пел и петь не мог. Это скорее от литературы, такое наивно-романтическое представление о бое даже задним числом не может возникнуть у человека, лично участвовавшего в рукопашной схватке.

Я занимаюсь много лет изучением истории жизни советских песен, собрал немалый фактический материал. Боевые биографии знаменитых песен полны удивительных свидетельств об их участии в нашей борьбе, об их причастности к нашим победам. Есть и глубоко драматические случаи, подчеркивающие высокое назначение песни. Но случай, приведенный в этом письме, я не решился бы прибавить к биографии «Интернационала».

Странное и тяжкое впечатление произвели на меня последние строки письма: «Покосили нас из автоматов». Словно письмо пришло с того света и речка Синюха, впадающая у Первомайска в Южный Буг, играет роль мифического Стикса.

Другие же детали вполне достоверны: двадцать километров от Подвысокого наши передовые отряды прошли, штыковая схватка, черные немецкие автоматы — все это было. Даже то, что ночь прорыва была лунной, — абсолютно точно. Я никогда не забуду эту ночь прорыва, она, как осколок, вонзилась в память.

В некоторое сомнение повергли меня слова: «...в нашей области». Бой в окружении вели кадровые войска. Мог, конечно, оказаться там и кто-то из местных, но это уже совпадение из разряда «напишешь — не поверят».

Вообще, письмо от «красноармейца» задало много загадок. А прояснить что-либо не позволяло отсутствие обратного адреса.

Дней через десять в новой пачке корреспонденции я обнаружил письмо с тем же штемпелем, мой адрес на конверте выведен тем же аккуратным почерком. А фамилия у автора письма другая, хотя с тем же званием «красноармеец».

В этом письме — еще один эпизод, связанный с окружением 6-й и 12-й армий. Совсем уж трагический:

«Двое суток вели мы бой со все наседавшими, все растущими силами фашистов. Все товарищи полегли вокруг в жите, а я остался один. Пули словно облетали меня, как пчелы; я не получил ни одной царапины. Я бы застрелился,

но для того, чтобы застрелиться из винтовки, нужно хоть несколько минут, а у меня их не было. Фашисты повалили меня на землю, скрутили мне руки. Я проклинал их, но это все, что я мог делать. Меня повели к офицеру, он требовал, чтобы я назвал свою дивизию и полк. Но я плюнул ему в лицо. Тогда офицер приказал меня расстрелять, и гитлеровцы повели меня в Корытновский овраг... Я простился с жизнью. Я кричал в лицо палачам, что все равно они не победят нас, только жаль, что я не увижу, как они будут окружены и разбиты наголову».

Сразу возник вопрос: а как же сложилась дальнейшая судьба этого человека? Какое счастье, если он остался жив! Но ведь пишет, значит, ему удалось спастись.

Как всегда бывает при столкновении с недосказанным, мозг мой стал торопливо создавать версии, способные прояснить картину. Человек бежал из-под расстрела. Он поселился теперь в тех местах, где пришлось ему пережить столько ужасов, иначе не было бы упоминания о каком-то Корытновском овраге. Тогда красноармеец вряд ли знал название местного оврага, карты у него быть не могло...

Обратный адрес опять отсутствовал. Мелькнула догадка: подлинники красноармейских писем пришли в ветхость, кто-то их переписывает и пересылает мне копии. Но почему? Зачем?

Я не нашел еще сколько-нибудь удовлетворительного ответа на эти вопросы, когда пришло третье письмо: снова тот же почерк, еще один рассказ от первого лица о подвиге, который мог завершиться лишь гибелью героя. Но как можно написать о собственной гибели? Мистика какая-то!..

«Нам, кавалеристам, приказано было выходить в пешем строю, но я со своим конем расстаться не мог, слишком близки мы стали в боях и сражениях. Я выхватил из ножен саблю, прищпорил коня и помчался в самую гущу врагов, стрелявших из пулеметов и автоматов».

Стоп! Третье письмо после правильной посылки — кавалеристам действительно пришлось спешиться — дальше уходит за пределы достоверности, в область романтической выдумки.

Итак, у меня на столе письма от трех красноармейцев. Три разные фамилии — русская, украинская и татарская. А написаны письма одной рукой и отправлены из одного почтового отделения.

Адресов обратных нет, но известно же почтовое отделение. Что, если отправить мои запросы сразу троим красноармейцам, указав на конверте лишь почтовое отделение? В селе люди друг друга знают, как-нибудь найдут хотя бы одного из адресатов.

Так я и сделал. Написал всем троим: прошу вас, дорогие товарищи, сообщить мне о себе по возможности подробно. Как вы оказались в одном селе? Призывались отсюда или после войны там поселились? Вообще, как сложилась ваша жизнь после августа сорок первого?

Через месяц прибыло письмо от секретаря сельского Совета: «Граждане, указанные вами по фамилиям на конверте, в списках жителей нашего села не значатся и раньше не проживали (проверено по книгам). Однако я обратила внимание, что все три фамилии (инициалы совпадают) красноармейцев написаны на памятном камне у обелиска в центре нашего села. Они были выявлены красными следопытами. В братской могиле еще двести одиннадцать безымянных героев. За братской могилой ведется уход учениками нашей средней школы».

Значит, я получил письма от своих сотоварищей по боям сорок первого года, от красноармейцев, погибших близ реки Синюхи! Как могло такое произойти?

А ведь почерк-то школьный! Несомненно, странная эта история как-то связана со школой, с ее коллективом, ухаживающим за обелиском.

Обратился к директору школы, послал ему подлинники полученных писем, просил по возможности выяснить, в чем дело.

Вот несколько строк из ответа директора: «Я сразу узнала почерк ученицы 9-го класса Н. Она у нас самая аккуратная девочка, ей поручается всегда писать грамоты и дипломы. 9-й класс постоянно меняет цветы у обелиска на свежие».

Я не считаю педагогичным беседовать с Н., почему она послала Вам письма от имени погибших воинов, захороненных в нашей братской могиле. Но мой сын, ученик того же класса, объяснил, что это очень возвышенная натура, что девочка часто говорит, что три красноармейца как будто хорошо ей знакомы, что она ясно представляет себе, как они дрались и как погибли. Надеюсь, что вы, как поэт, понимаете девочку и сочиненные ею письма не будете считать документом».

Буду считать документом, дорогой директор! Буду считать благородным документом преемственности поколений!

Легенда о непреклонных

На Юго-Западном фронте рядом с моей 6-й армией оборону держала 5-я, которой командовал генерал-майор Михаил Иванович Потапов, известный в армии и вообще в стране как герой сражения на Халхин-Голе. Раньше он служил в 4-й Донской казачьей дивизии. Командиром дивизии был будущий маршал Георгий Константинович Жуков, а Потапов и Музыченко командовали полками. Перед войной эти бывшие командиры полков оказались рядом — уже как командармы, и пришлось им принять на себя сокрушительный удар фашистских танковых полчищ.

Хотя танковый клин Клейста с первых дней войны, врезавшись в нашу территорию, отсек 5-ю и 6-ю армии друг от друга, судьбы этих армий оставались взаимозависимы. Об этом напомнили мне строки из четвертого тома «Истории второй мировой войны. 1939—1945», вышедшего в 1975 году:

«5-я армия под командованием генерала М. И. Потапова, нанося фланговые удары, сковала 6-ю немецкую армию и 1-ю танковую группу. Первая из них была лишена возможности наступать на Киев, а вторая — высвободить свои дивизии для маневра по окружению 6-й и 12-й армий Юго-Западного и 18-й армии Южного фронта».

В первые недели войны именно в составе 5-й армии сражались соединения под командованием будущих маршалов Рокоссовского и Москаленко, многих других вскоре прославившихся военачальников. Армия под командованием Потапова оказалась хорошей академией.

20 сентября 1941 года в бою возле рощи Шумейково на Полтавщине Потапов был ранен и контужен и в бессознательном состоянии схвачен фашистами...

О нем уже тогда, примерно в конце 1942 года, ходили легенды, неизвестно как прорвавшиеся через фронт. Говорили, что, прослышав, какой крупный советский военачальник находится в руках вермахта, Гитлер приказал во что бы то ни стало вылечить его и доставить в Берлин...

И вот еще не совсем оправившегося от ран командарма привезли в ставку Гитлера.

Михаилу Ивановичу было тогда тридцать девять лет. Он был тонок и строен, но перед Гитлером не вытянулся, по стойке смирно не встал, а небрежно и презрительно отвернулся. Гитлер, имея далеко идущие планы, стерпел это и стал грубо льстить советскому командарму, хвалить его воинское мастерство и мужество. Затем последовало предложение, облеченное также в комплиментарную форму, — для столь умелого и храброго военного в германской армии найдется достойное место.

Дальше рассказывали, что Потапов слушал молча, иронически и не без любопытства поглядывал на Гитлера, едва улыбался сжатыми губами. Но в ответе его уже не было иронии, только презрение и гнев.

Гитлер, еще не теряя надежду, что Потапова удастся сломить, изменил свой подход и как бы вскользь заметил, что генерал находится в плену и может поплатиться за дерзость головой.

«Я это знаю, — сказал Потапов, — и не могу скрыть от вас некоторого сожаления по этому поводу».

Такого Гитлеру еще слышать не приходилось, и он предложил Потапову выразиться более определенно. И Потапов очень спокойно и деловито, не повышая голоса, объяснил: «Сожалею, что не доживу до того часа, когда мы разгромим вашу армию, а вас в цепях повезут по Москве на Красную площадь».

Известный вспышками ярости Гитлер на этот раз сумел сохранить равновесие. Он при Потапове громко и театрально отдал распоряжение адъютанту: «Генералу сохранить жизнь до того момента, когда я торжественно проследую по Москве. А его в кандалах привезете на Красную площадь, чтоб он видел наш триумф».

Мною воспроизведена здесь солдатская легенда. Образованная новыми подробностями, порою даже сказочного и фантастического характера, она передавалась из уст в уста. Как она возникла? Как прорвалась из Берлина через фронт, проходивший тогда по центру России? Что в ней было, что небыль? Неизвестно. Но она не забывалась, долго кочевала по полкам и штабам...

После Победы я узнал, что Михаил Иванович Потапов, освобожденный из плена, доставлен самолетом в Москву, что ему вручен орден Ленина — награда за первые два месяца боев, что он удостоен новых высоких наград, что он вновь на командной работе.

Надо ли говорить, как я обрадовался, когда поэт Константин Симонов однажды познакомил меня со своим старым другом — еще по Халхин-Голу — генерал-полковником Михаилом Ивановичем Потаповым.

Тогда Потапов являлся первым заместителем командующего Одесским военным округом и старшим воинским начальником в Одессе. Будучи в командировке на Одесской киностудии, я вновь встретился с Михаилом Ивановичем и провел с ним несколько вечеров на его даче за Большим фонтаном.

Надеюсь, читатель не осудит меня, если я признаюсь, что страсть как хотел выяснить, получить из первых рук подтверждение солдатской легенды о разговоре советского командарма с Гитлером.

Жена генерала предупредила меня, что наша беседа о войне может касаться лишь первых двух ее месяцев и не должна и краешком заходить за 20 сентября. Михаил Иванович все равно о себе ничего не расскажет, а вспоминать о плене не желает.

Но я начал издали и в порядке подготовки к своему маневру вспомнил о легендах, родившихся и, как говорят литературоведы и фольклористы, бытовавших на войне.

Генерал-полковник оживился. Оказалось, что он еще в конце июля 1941 года слышал, например, легенду о защитниках Брестской крепости и удивлялся ее распространенности. Брест находился справа от 5-й армии, уже в разгранлиниях Западного фронта. Со штабами Западного фронта и его армий связи не было с первого дня боев (а она так нужна была соседу слева!), нарушилось очень скоро и локтевое соприкосновение с находившимся (или уже не находившимся?) на фланге корпусом. Своих дел и бед было по горло, а все же в этой обстановке в 5-й армии знали в невероятных и через много лет после войны подтвердившихся подробностях о героической стойкости гарнизона крепости.

Потапов считал, что это действует солдатская почта — самый достоверный источник и передатчик известий, планов и даже секретов. Солдат знает о будущем наступлении раньше командующего! Самое странное, что иные сведения и истории передаются как свершившиеся, но являются абсолютнейшим вымыслом, типичной легендой, однако в дальнейшем то, что распространилось уже как легенда, происходит в действительности.

Как тут было мне не вспомнить фантастический случай, в какой-то степени связанный и со стихами.

Еще на подступах к Сталинграду, на пропыленных дорогах второго лета войны, я услышал и записал в «офицерскую книжку» историю о том, как плененных врагом советских летчиков, которых держали под Берлином — для унижения, чтобы горше была им неволя, — использовали на земляных работах при аэродроме. Пусть все время видят и слышат самолеты. Летчики выследили, установили, что в обеденный час (немцы пунктуально его соблюдали) лишь один часовой охраняет «хейнкели», и однажды, среди бела дня, напали на часового, оглушили его, потом бросились к самолету, запустили мотор и улетели. Легенда утверждала, что им удалось уйти от погони и приземлиться у своих.

Я тогда еще пытался выяснить, было ли такое на самом деле, на полевых аэродромах все спрашивал летчиков, не слышали ли они, чтобы наши бежали из плена на самолете. Подтверждения не было — никто не прилетел на «хейнкеле», на всем фронте такого случая не зафиксировано. Будь такое на другом фронте — узнали бы. Вряд ли такой факт не сделался бы достоянием печати. Но он оставался устным рассказом.

Я рассчитывал все-таки, что соберу материал для очерка, но понял, что имею дело с легендой. И вместо очерка сочинил стихотворение, в котором описывалась эта история. Чтобы подчеркнуть, что стихи не основаны на фактах, я назвал стихотворение «Легенда». Оно было опубликовано во фронтовой газете «Красная Армия».

Вскоре после войны я сдал в издательство сборник стихов. Редактор, дойдя до стихотворения «Легенда», поставил на полях рукописи два вопросительных знака — один возле заголовка, другой в конце, где дата — 1943. Свои возражения редактор сформулировал так: описанный в стихах случай имел место в начале 1945 года, а вы указываете, что стихи относятся к 1943-му; поскольку описан действительный случай, не очень уместно название «Легенда», лучше его заменить. Да, в 1945-м это действительно произошло!

Встретился я с летчиком Девятаевым, удостоенным за этот невероятный перелет звания Героя Советского Союза. Оказывается, стихотворение «Легенда» он читал еще в газете до плена — мы были товарищами по фронту.

Михаил Иванович Потапов заинтересовался этим случаем:

— Могу объяснить, как родилась твоя легенда. Фантастическая мечта каждого пленного, сон, мучающий по

ночам, будто советский самолет прилетает за ним, приземляется и тут же взмывает ввысь, уходя от погони. А пленных наших летчиков действительно держали поближе к аэродромам — изощренная попытка, что ли. Мысль о захвате самолета, о побеге по воздуху должна была родиться у многих. А дальше недолго было появиться и легенде — будто кому-то одному или группе удалось осуществить мечту. Так что не меняй название стихотворения — легенда и есть легенда, даже если она становится действительностью.

Тут уж мне легче стало действовать. Задам-ка я Потапову вопрос, достоверна ли легенда о нем! Я начал в тон нашей беседы:

— Знаете, в годы войны приходилось не раз слышать еще одну интересную легенду: будто оказавшегося в плену советского генерала возили к самому Адольфу Гитлеру и он ему сулил золотые горы за измену. А генерал...

Но Михаил Иванович перебил меня...

— А генерал послал фюрера ко всем чертям! И это был генерал Михаил Лукин, светлая личность. Попались в руки врага и другие мальчики — пальца в рот не клади. Например, мой старый сослуживец, а твой командующий Иван Музыченко, с которым мы соседствовали как командармы, а раньше еще — как командиры полков, потом — как узники, в разных тюрьмах, а перед освобождением — в крепости Вильцбург. Грубоватый был человек, не раз у нас ему за грубость выговора вписывали. Но там, когда ему предложили стать изменником, он послал Гитлера так крепко, далеко и забористо, что, как говорится, превзошел самого себя. За это по карцерам пришлось ему победовать. Но человек он был гордый и непреклонный: китель генерал-лейтенанта, естественно, со старыми знаками различия он не позволил с себя содрать, так и ходил до самого освобождения в нем, а сверху арестантская роба. И генеральскую фуражку с головы не снимал, во всяком случае из рук не выпускал. Еще бы — там под околышем были запрятаны два ордена Красного Знамени и медаль «XX лет РККА». Так что вернулся на родину командарм-6 при орденах и одетым по форме, которая давно уже была заменена новой — с погонами.

Я вновь попытался повернуть разговор так, чтобы Потапов рассказал о себе, но он умело сманеврировал:

— Ты ж был в группе Понеделина? Могу и о нем рассказать.

Фашисты надеялись, что им легко будет склонить его к измене. Они говорили: «Вам нечего опасаться обвинений в измене Родине, господин генерал, вы уже ей изменили и названы изменником, и это объявлено по всей Красной Армии». И совали ему в лицо текст постановления Комитета Оборона от 16 августа 1941 года, где сказано, что генерал Понеделин имел возможность выйти из окружения, но предпочел сдачу в плен.

Понеделин спокойно возражал: «Имел ли я возможность выйти из окружения, ответ буду держать не перед вами!»

Да, был такой документ, его зачитывали в войсках. Происходило это в тяжелейшие времена, через несколько дней после завершения трагедии у Подвысокого. Разноречивая, отрывочная и сбивчивая информация послужила основой для поспешного заочного осуждения.

В лагере к Понеделину подсылали изменников, чтобы завербовать его в части Власова, но он оставался неколебим и спокоен, а уговоров и слушать не пожелал.

И в плену можно стоять насмерть. Это доказали генералы Снегов, Абрамидзе, Тонконогов, Ткаченко. Говорю о тех, что из 6-й и 12-й армий... Весь мир знает о нашем старейшине — Дмитрие Карбышеве. Иногда казалось: силы иссякли, конец, а посмотришь на него и вновь воспрянешь духом.

Михаил Иванович разволновался, видимо задетый за живое. Я не прерывал его. Несколько раз из комнаты в двери веранды заглядывала его жена Марианна Федоровна, видимо встревоженная тем, что я навел Потапова на запретную тему, что он может слишком разволноваться. Но задний ход давать было поздно, я понимал: всеми своими рассказами генерал-полковник отводит разговор от собственной персоны. Меня ж предупреждали, чтоб о его пребывании в плену я разговора не затевал — бесполезно.

И все-таки я решил пойти напрямую и спросил:

— Как вы, Михаил Иванович, разговаривали с Гитлером?

Потапов ответил резко и коротко:

— Так же, как другие мои сотоварищи-генералы. Мы не разговоры с фашистами вели, а продолжали воевать!

Хлебач Коринки Крестьянки меня

В современном разговорном лексиконе слово «окруженец» употребляется редко, из повседневного обихода оно вроде бы выветрилось, а если где его и можно встретить, то лишь на страницах книг некоторых моих товарищей, пишущих, как они считают, «в новом ракурсе».

Не буду вовлекать читателя в наши литературные споры, но должен сказать, что я по-прежнему считаю задачей и долгом людей, владеющих пером, славить подвиг, доблесть, геройство, именно эти качества искать и находить в прошлом и настоящем.

Время, давность все равно не подведут к одному знаменателю труса и храбреца, патриота и предателя, безвольного и мужественного. Правда сурова и амнистии не подлежит.

Потому я не признаю «нового ракурса» как всеобщего уравнивания и всепрощения, но мне важно высветлить то, что пребывало в тени, найти новые факты и дать им верное истолкование, снять подозрение с явлений, которые получили разноречивые оценки, связанные с чрезвычайными обстоятельствами.

Мне бы не хотелось, чтобы рассказ о Зеленой бреме и обо всем, что происходило сразу после этого сражения, возродил горестное, да еще и с недобрым оттенком, презрительным, что ли, бытовавшее тогда слово «окруженец».

Оказывается — издалека виднее. Что ж, давайте разберемся.

Попробуем взглянуть из сегодняшнего дня на события сорок первого года и привести необходимое разъяснение, а слово «окруженец» будем употреблять условно.

Поначалу, когда преимущество напавших было очевидным, тысячи и тысячи воинов, хотя и сражались беззавестно, попадали в окружение, обернувшееся для многих пленом. Но напрасно трезвонили завоеватели, будто захватили в плен целиком несколько армий. Они порой

сами чувствовали себя в окружении и, находясь далеко от фронта, на ночь занимали круговую оборону у своих комендатур.

Украина была вся в движении и напряжении...

Воины, потерявшие свои части, пробивались по оккупированной территории к фронту небольшими группами, а иные и в одиночку. Другие присоединялись к местным партизанским отрядам или создавали свои отряды, впоследствии переросшие в могучие соединения.

Бегство из плена было не только мечтой. Бежали под огнем пулеметов, недострелянные выбирались из братских могил, штурмовали заграждения из многорядной колючей проволоки, зная, что погибнут многие, а осуществить побег удастся лишь нескольким... Разбегались на марше из колонн, пробивали доски пола увозивших их на запад вагонов и прыгали на ходу.

Смертельная опасность, неслыханная жестокость врага, раны, болезни — ничто не могло служить преградой.

Воспитанные в государстве свободы и воевавшие за его жизнь и независимость на фронте, оказавшись в неволе, советские люди оставались солдатами свободы.

В западной печати в послевоенные времена приводились цифры, сколько человек бежало из лагерей. Разговор идет о сотнях тысяч. Не берусь уточнять: не думаю, чтобы учет велся; трудно сказать, сколько бежавших погибло; были люди, за плечами которых по нескольку побегов.

Но то, что в селах на Украине скрывалось много воинов, что таились они в лесах и оврагах, я видел своими глазами, и мне ссылаться на зарубежные источники нет нужды.

Здесь возникает уже не легенда, а прекрасная песнь об украинском колхозном крестьянстве, взявшем на себя опасную и тяжкую роль укрывателей и спасителей попавших в беду воинов родной армии. Их прятали, кормили, лечили...

В окруженных армиях служили сыновья всех народов Советского Союза. (Состав вооруженных сил отражал многонациональное братство, одно из главнейших завоеваний Октября.)

Всех их Украина приняла, как родных.

Языка украинского они не знали, выдать себя за местных жителей им было почти невозможно.

Расовая политика фашистов строилась на насаждении национальной розни. Столкнуть украинцев с русскими, армян с азербайджанцами, всех других перессорить, чтоб

легче было согнуть и покорить. Старый и, казалось бы, проверенный в веках способ!

Но в 24-летней стране социализма он не возымел успеха.

Район Зеленой браны, соседние с Подвысоким села хорошо знакомы мне по тем временам. Но выбираясь из окружения, после побега из колонны, которую гнали в направлении Винницы, я пешком прошел и по Киевской, Полтавской, Харьковской областям и могу утверждать, что Подвысокое — не исключение и то, что происходило здесь, типично для всей Украины.

Не хочу ничего приукрашивать и гримировать под идиллию: и предатели лютовали, и неопытность наша в конспирации сказывалась, и смертельная опасность таилась на каждом шагу.

А все же братство народов, советское единство оставалось залогом победы, встало над горем и страхом.

Что делали в деревнях красноармейцы и командиры — как бежавшие из плена, так и сумевшие вернуться от этой опасности, но оставшиеся вне строя?

Выздоровливали, залечивали раны.

Готовились к тяжелому переходу — линия фронта сильно отдалилась...

Начинали создавать подполье.

И опять не будем идеализировать: встречались и павшие духом, и слабохарактерные, занявшие выжидательную позицию (чья возьмет?), и отвратительные себялюбцы, воспользовавшиеся добротой колхозников, их святым отношением к Красной Армии вообще. Они получили наименование примаксов и жили в свое удовольствие, правда, недолго: потеряли доверие соотечественников, да и у оккупантов его не заработали, даже те, что усердно прислуживали и выслуживались.

Есть страшная и бесповоротная логика в измене, какой бы она ни была — громадной или мелкой. Для суда совести это однозначно.

Приходилось мне встречать бывших русских, разбросанных по белу свету — и в Африке, и в Америке, и на островах Тихого океана.

Разная попадалась публика.

В Сюдад Гуаяне, городе, широко раскинувшемся в дельте реки Ориноко (меня привел туда маршрут, предложенный венесуэльскими писателями своим гостям), на вечер дружбы явился серый сутулый старик. Протиснулся поближе, но сел сбоку, в сторонке.

По облику, по некоторым произвольным движениям его морщинистого лица легко было заметить, что русскую речь он понимает и без перевода.

Когда отзвучали речи и завязалась беседа, подошел вплотную; ощущение было такое, что он хочет поговорить, но никак не решается.

Я был занят разговором с венесуэльцами, но когда он все-таки встретился со мной глазами, задал вопрос:

— После войны здесь оказались?

Он невесело кивнул. Заговорил медленно, с трудом выкатывая каждое слово:

— Сперва немцев испугался, потом наших...

— Есть родственники в Советском Союзе?

— Не знаю... Были...

Сказал и, не оглядываясь, сутулясь, направился к выходу. Говорить нам не о чем. Вдруг он был в Зеленой броне? Но все равно — мы не однополчане...

Колхозники Подвысокого, Копенковатого, Каменечья, Терновки приняли под свой кров и взяли под свою защиту тысячи раненых и больных красноармейцев и командиров.

Все это были люди не старые; если ранение легкое, раны зарубцовывались быстро. Сельские бабушки, никогда не заглядывавшие в аптеку, знали целебные травы, умели готовить всякие отвары, излечивающие дизентерию. Болезнь эта была весьма распространена — ведь мы выпили все окрестные болота.

Увы, немало парней стало инвалидами или по характеру ранений нуждалось в лечении длительном. Хозяева не торопили их, ухаживали за увечными, перепрятавали, готовы были в случае нагрянувшей беды заслонить их собой. И случалось — заслоняли, и хорошо, если дело решалось выкупом, — оккупанты не только грабили, но любили и взятки.

Недавно красные следопыты — учащиеся профтехучилища № 8 Голованевска (к этому городку пробивались многие группы воинов из Зеленой браны, рассчитывавших, как в песне о партизане Железняке, выйти к Одессе и Херсону) — написали мне о своем земляке Магди Абдуллаеве, ныне докторе наук, профессоре Бухарского педагогического института.

Я только повторяю за ними — земляк, это они его так величают.

Восемнадцатилетним встретил он войну, или война его встретила у самой границы. Отходил до Умани, был ра-

нен, потом пробивался в южном направлении. Вместе с группой раненых оказался в плену. Его заставили рыть себе могилу и расстреляли на краю дороги. К старым ранам прибавились новые, но ни одна пуля не попала в сердце. Он долго лежал среди убитых в этой братской могиле, ночью выполз на обочину, где был найден женщинами хутора Коваливка — Христиной Петричук и Матреной Люльчак.

Долго выхаживали расстрелянного красноармейца, он был вынужден зимовать в Коваливке.

Потом нагрянули жандармы, схватили, отвезли узбекского юношу в Умань, а дальше — в Неметчину. За этим последовал побег, партизанские тропы и армейские дороги по Европе.

После войны доктор наук, профессор Бухарского пединститута коммунист Магди Абдуллаев приезжал в Коваливку, чтобы повидать свою названую мать — Матрену Сергеевну Люльчак. А она называла его сыном, гладила по голове.

Подобных историй наслушаешься на Кировоградчине!

На берегу Синюхи захватчики погнали в поля жителей села Новая Тишковка собирать трупы. Колхозники наткнулись на нескольких еще живых красноармейцев. Их принесли в село, распределили по семьям, обмыли раны, переодели, подкормили и посоветовали, как идти к Днепру. Одного из них звали Ефим Якубович, а фамилия его спасителей была Мариничи.

До Днепра дойти удалось, но уже на переправе красноармейцев задержала фельджандармерия. Ефим Якубович оказался в Уманской яме, оттуда колонну пленных повели в сторону Винницы, но испещренного фурункулами солдата бросили по дороге (конвоиры, на его счастье, были брезгливы). Не стреляли — все равно помрет. Но он остался жив, хотя беспощадный фурункулез одолевал его. И все же он шел, влачился, полз на восток, пока не понял, что дотянуть до фронта не хватит сил. Но ведь у него на пути был родной дом у реки Синюхи — Новая Тишковка, были люди, уже однажды спасшие его, — Татьяна Захаровна и Иван Кузьмич Мариничи. Кое-как, в страшном виде, добрался до них солдат. В Новой Тишковке его долго лечили и почти вылечили, во всяком случае, поставили на ноги.

Вскоре он снова встал в строй и в составе гвардейской дивизии освобождал Украину, Венгрию, Румынию, дошел до Чехословакии, где был тяжело ранен.

Работая над этой книгой, я познакомился с Ефимом Александровичем Якубовичем, видел хранящийся в шкапулке среди его боевых наград памятный знак «За свободу славян», видел грамоту о присвоении ему звания почетного гражданина города Дольна Стрехова.

Может быть, сегодняшнему читателю покажется, что я задним числом сгущаю краски: ведь наши раненые, контуженные, больные воины находились в каждом селе, чуть не в каждой хате. И многие из них выжили, выздоровели, отсюда пошли к линии фронта и вновь встали в ряды армии либо партизанили в лесах или участвовали в подпольной деятельности — так или иначе приняли участие в Победе.

Многие выжили. Верно.

Но скольким воинам и скольким их спасителям не удалось встретить май сорок пятого года!

Вот ведь как получилось!

Местные жители видели, как защищали их землю, их жизни советские воины, отступившие сюда от границы. По праву называли их спасителями.

А когда красноармейцы и командиры оказались в страшной беде, теперь жители посчитали своим долгом защитить их, поставить на ноги, спасти и спасти.

Чтобы понять, какой опасности подвергались колхозники, достаточно ознакомиться с приказами и распоряжениями оккупационных властей и фашистских войск, имеющимися в архивах.

В этих документах без конца повторяется слово «бандит». Захватчики полагали бандитами и партизан, и подпольщиков, и оказавшихся на оккупированной территории воинов. Не без основания им казалось, что каждый советский человек представляет для них опасность как борец за свободу своего народа и Отечества. Они страшлись любого! Подобный подход характерен для фашизма вообще. В разных уголках земли, где вспыхивает его злое пламя, головорезы всех патриотов подряд клеймят кличкой «бандит» — будь то во Вьетнаме или на Ближнем Востоке, в Никарагуа и Сальвадоре или на островах Тихого океана.

Колхозники оказались в смертельной опасности, ежедневно и ежеминутно рисковали жизнью.

В хате находился раненый майор, в сарае — целый лазарет, замаскированный сеном и соломой, а на улице, на столбе, в пяти метрах от этого тревожного гнезда, было наклеено «Объявление главнокомандующего герман-

скими войсками о мерах наказания за нарушение населением приказов оккупационных властей».

Параграф 5 гласил: запрещается принимать на жительство к себе лиц, не принадлежащих к числу местного населения.

И под всеми параграфами (один запрет страшной другого!) — заключение:

«По всем лицам, действующим наперекор этому приказу, часовым приказано стрелять без предупреждения...»

Может быть, боялись либо просто не хотели срывать объявление. Даже спокойней так — кому из оккупантов придет в голову, что в двух шагах отсюда столько «лиц, не принадлежащих к местному населению», выздоравливает, чтобы снова вырваться в бой.

Тех, кому не удалось вырваться из кольца, оккупанты и их прислужники называли еще и бродягами. Велась облавы, прочесывание местности, охота за людьми. Специальным приказом убийство советских граждан объявлялось неподсудным, солдатам вермахта все было дозволено, а жестокость еще и поощрялась.

В госархиве Хмельницкой области сохранилось объявление, подписанное гебитскомиссаром доктором Ворбсом:

«...Каждый, кто поддерживает бандитов путем предоставления крова, продовольствия или другим способом, будет расстрелян вместе со всей семьей, а его имущество — сожжено».

Именно кров и продовольствие предоставляли колхозники тем, кого захватчики в ненависти и страхе именовали бандитами! Никакие предупреждения и угрозы, никакие зверства врага не могли ни испугать их, ни остановить героическую заботу народа о родной армии.

После перелома в ходе войны попадавшие в наши руки фашисты на допросах изворачивались и лгали, стараясь скрыть свои зверства. Многие выставляли как щит версию, будто сражались только с партизанами и в открытом бою.

История любого села вокруг Зеленой браны, да и вообще любого села, опровергает эту ложь.

Надо помнить все. Всегда. И вот этот приказ 213-й охранной дивизии от 22 августа 1941 года:

«...Лиц, не проживающих в этой местности, которые не могут правдоподобно объяснить, с какой целью они сюда прибыли, следует по возможности передавать отрядам СД; для мальчиков и молодых девушек, которых противник использует особенно охотно, исключения не делать».

Передача отрядам СД означала уничтожение (после пыток).

«На Украине борьба закончена; кто воюет дальше, тот «бандит» — это из приказа от 28 ноября 1941 года, распространенного в Полтавской области.

Вот приказ фельдмаршала Вильгельма Кейтеля о предоставлении войскам права применять любые средства в борьбе с партизанами и населением, оказывающим им поддержку (16 декабря 1942 года):

«Противник использует в бандах фанатичных, воспитанных в духе коммунизма бойцов, не останавливающихся ни перед каким насилием. Здесь, более чем когда-либо, речь идет о том, «быть или не быть»...»

Подумайте, как кощунственно использован фашистом монолог Гамлета!

«...Если эта борьба против банд как на Востоке, так и на Балканах не будет вестись самыми жестокими средствами, то в ближайшее время имеющихся в распоряжении сил окажется недостаточно, чтобы справиться с этой чумой.

Войска поэтому имеют право и обязаны применять в этой борьбе любые средства без ограничения, также против женщин и детей, если это только ведет к успеху».

Колхозников, укрывавших красноармейцев и командиров, расстреливали, вешали, сжигали, но по-прежнему на чердаках и в клунях находились раненые воины; по-прежнему выздоровевших снаряжали в дорогу к фронту или связывали с местными партизанами.

Я был свидетелем этого торжества дружбы народов нашей страны не на расцвеченной флагами и звучащей оркестрами площади, а в обездоленных селах Украины.

В народном музее Подвысокого, в окрестных селах, ну, а теперь и в моем архиве сотни писем о бесстрашии и благородстве колхозников. Цитирую одно из них:

«Дождавшись ночи, я с большим трудом, неоднократно теряя сознание (был тяжело ранен, потерял много крови), дополз до села Копенковатого, где укрылся под кустом лозы, росшим у ручья на краю огорода Цвигуна. Благодаря Борису Цвигуну, его матери Пелагее Никоновне, Дарье Антоновне Гевель и ее дочери Оле, которые, рискуя жизнью, приносили мне продукты и медикаменты, я остался жив.

*Пильщиков Федор.
Калининская область».*

Хочу подчеркнуть — в родительские хаты, домой мало кто вернулся. В селах оказались преимущественно не сыны, а усыновленные.

Северянин Александр Зыков, бывший тогда красноармейцем, сообщает: «После ранения я выздоравливал у Ковалей, Игната и Прасковьи; их дочери и сыновья считали меня за брата, погибшего в самом начале войны». Семья Ковалей выходила парня из Пинеги после первого ранения. Он прорвался через фронт, а по поводу второго и третьего ранений, полученных потом, в Крыму, лечился уже в госпиталях...

Но знаю я и случаи, когда в окружении оказывались здешние жители. Они воевали у родного порога...

Вот что рассказала Мария Левшанова (девичья фамилия Довбенко). Она в сорок первом в Новоархангельске только что окончила восьмой класс, а брат ее Антон служил вблизи границы.

В начале августа, когда округа гремела боями, многие местные жители прятались в овраге. В такое время возникает и гаснет много разнообразных слухов; вот один из них: в соседнем селе видели старшего лейтенанта Антона Довбенко.

Под обстрелом и бомбежкой побежала сестра искать брата, да опоздала — он ушел в бой. Знакомые из ближнего села потом вспоминали, как предлагали Антону переодеться и остаться: ты ведь в трех верстах от своей семьи, а враг одолевает...

Но старший лейтенант сказал, что лучше погибнуть на поле боя, чем стать дезертиром; передал для родных часы, деньги и короткое письмо, в котором просил простить, что не сумел оборонить родной дом, и предупредил, чтоб не признавались врагу, что сын — коммунист и политрук.

Так и неизвестно, дошел ли Антон до Днепра или погиб вблизи родного порога... Больше не было о нем вестей...

О нем, о защитнике отчего дома, помнят в селах на Ятрани и Синюхе.

Не канул он в безвестность, а шагнул в легенду...

Память боевой дружбы не гаснет!

В газете «Сильски висти», часто углубляющейся в историю 1941 года, 14 мая 1981 года опубликовано следующее письмо:

«...Хочу разыскать Антона Михайловича Сорочана (родился в Каменец-Подольске в 1905 г.). Когда в 1941 году в

районе Подвысокое наши воины пробивались из окружения, этот боец перепрыгивался у меня, связался с партизанами. В Зеленой бреме было закопано оружие, которое доставляли в партизанский отряд под командованием Лисняка. После освобождения села Сорочан вновь встал в ряды Советской Армии, воевал близ Котовска, имел звание капитан.

Силенко А. Я., село Вербово».

Я тоже включился в поиски Антона Сорочана. Пока они безуспешны, но верю — сам капитан или след его еще обнаружится!

Тот дикий лес, дремучий и грозящий

Второе утро я был занят разбором писем и документов Подвысоцкого музея. В дверях неслышно появился учитель Дмитрий Иванович Фартушняк. Он забрел с почты и держал в руках пачку писем, среди которых выделялись яркие международные конверты с замысловатыми марками. Получена очередная корреспонденция в адрес Клуба интернациональной дружбы.

Марки — моя давняя и неизбывная страсть, попросил хоть посмотреть, понимая, что в селе и без меня достаточно филателистов.

Болгария, Корея, Франция, Чехословакия, Италия.

— Школа и с Италией в переписке?

В ответ сельский учитель прочитал:

*Каков он был, о, как произнесу,
Тот дикий лес, дремучий и грозящий,
Чей давний ужас в памяти несус!*

Я не вспомню, откуда эти строки. За жизнь в голове накопилось столько разных стихов, что, когда не знаешь точно, что цитируют в твоём присутствии, лучше помалкивать, чтобы не оконфузиться.

Вежливый учитель не хотел ставить меня в неловкое положение, размеренно и торжественно прочитал ту же терцину на итальянском языке. Теперь пора и догадаться.

— Данте Алигьери?

Фартушняк улыбнулся: так точно. «Божественная комедия», глава «Ад», вторая терцина. А написано словно про Зеленую браму, не правда ли?

Невольно возник вопрос: были ли здесь в сорок первом итальянцы?

Мы вытащили из папки список частей противника, выписанный школьниками из «Военно-исторического журнала» и скорректированный по всевозможным переводным книгам.

Да, одна итальянская дивизия упоминается.

Участвовала ли она в боях?

Давайте разберемся.

Согласно вышедшей в Риме в 1950 году книге А. Валори «Русская кампания», до 20 августа итальянцы только шагали по размытым дождями дорогам и, выйдя к Днепру, «еще не участвовали в боях, но выглядели потрепанными».

Значит, только маршировали чернорубашечники по нашей земле?

Кажется, это не совсем так.

Уж очень хотелось фашистской Италии получить свой ломоть при разделе поверженной России!

5 июля 1941 года главарь итальянского фашизма Бенито Муссолини заявил на заседании совета министров:

«Я задал себе вопрос, успеют ли наши войска прибыть на поле боя до того, как судьба войны будет решена и Россия будет уничтожена? Обуреваемый сомнениями, я вызвал германского военного атташе генерала Ринтелена. Я получил от него заверения, что итальянские дивизии придут вовремя, чтобы принять активное участие в боевых действиях».

Итальянский экспедиционный корпус в России (название официальное) слагался из механизированных дивизий «Пасубио» и «Торино» и дивизии имени принца Амедео «Челере».

Эшелоны во второй половине июля прибыли в район сосредоточения — юго-западнее мест, где разворачивалось единоборство 6-й и 12-й армий с наседаящими бронетанковыми дивизиями фон Клейста.

Командование вермахта не торопилось вводить в бой войска своего нетерпеливого и жаждущего удач и наград союзника. Клейст полагал, что и сам справится, не желал ни с кем делить славу и победу.

Но, судя по всему, гарнизонную службу он сразу же доверил итальянцам. Есть свидетельства, что в начале августа итальянские солдаты конвоировали пленных красноармейцев в только что захваченный немцами Первомайск. Воины Зеленой браны и бедолаги, скрывавшиеся по селам, немало натерпелись от карабинеров, гренадеров, чернорубашечников. Итальянские подразделения распозлились на путях нашего выхода из окружения (как-никак их было более 60 тысяч) и, выслуживаясь перед своим грозным союзником, по существу, превратились в помощников фельджандармерии: задерживали всех подозрительных,

а подозрительными им казались все, передавали свои «трофеи» немцам. Хотя и уступали им в жестокости, а все же черное дело делали.

После 13 августа, когда иссякло наше сопротивление, немецкие дивизии двинулись к Днепру, а итальянцы распространились севернее. На них возложена была охрана тыла, угрожавшего немалыми опасностями для оккупантов. Служили итальянцы пока прилежно, ища выход своему воинственному пылу. Но немцы их держали на некотором расстоянии от возможных боевых успехов... Для утешения, что ли, легионы навестил Бенито Муссолини.

Дуче прибыл вместе с фюрером в штаб Рундштедта, дислоцировавшийся в Умани, и на шоссе, ведущем в Тальное, близ села Легедзино 18 августа Гитлер и Муссолини приняли парад итальянского корпуса.

После торжественного марша, осененные ладонями, вскинутыми в фашистском приветствии, итальянцы двинулись на восток.

Впрочем, в мемуарах, вышедших за эти десятилетия в Италии, есть и совсем другая трактовка события.

Не парад готовился, а иной спектакль: великий дуче, основатель фашизма Бенито Муссолини едет со своим закадычным другом, перехватившим у него первенство, с самим фюрером Адольфом Гитлером в одном автомобиле, и вдруг — какая неожиданность — они встречают колонну дивизии «Торино» (именно в нее входил батальон чернорубашечников «Тальяменте»), во всем блеске и могуществе направляющейся к Днепру. Уж теперь-то разгром большевиков неминуем и, как никогда, близок!

Надо ли говорить, что «неожиданная» встреча специально готовилась, были предприняты особые меры безопасности.

Сначала встречу подпортил дождь, потом величественному взору дуче и фюрера представилась отнюдь не величественная картина: колонна реквизированных в Италии для войны грузовиков и автобусов шла зигзагами, колеса машин буксовали в грязи, римским легионерам приходилось спешиваться, толкать и вытаскивать колесницы.

Во многих воспоминаниях воспроизводится одна красочная деталь: автотранспорт был наскоро заgrimирован под военный, но грим смывало дождем, и на бортах обнаруживались крупными буквами выписанные имена торговых фирм, рекламные рисунки, отнюдь не военные эмблемы.

(Я видел подобные колонны, правда, не на параде, но на дорогах оккупированной Украины, когда пробирался к

своим в восточном направлении параллельно тем дорогам, по которым шли итальянцы. Могу подтвердить — пестрое было зрелище!)

Муссолини досадовал, Гитлер без восторга наблюдал за унылым маршем своих сателлитов. Фюрер и дуче отбыли, не досмотрев спектакль до конца...

Это была как раз пора массового выхода наших товарищей из окружения, и не требовалось большой доблести задерживать на дорогах и за околицами изможденных, израненных, голодных людей. Вот римские легионеры и старались отличиться!

А уж проходя село, они непременно рассредоточивались и шастали по дворам и закоулкам, весело и темпераментно охотились на домашнюю птицу, имея особое пристрастие к гусям, которые, как известно, однажды уже спасли Рим.

Вид у них был не очень грозный, но опасность для нас они представляли серьезную. Говорили, что немцы оценивают их участие в войне по количеству сданных фельдмаршалов «бродяг» (так именовались выходящие из окружения в приказах вермахта) и что даже железные кресты обещаны наиболее ретивым служакам. Вот они и хватали всех, кто попадется на пути, кого углядят в хатах. Какими сложными, какими невероятными дорогами шагает История! Мог ли я представить себе тогда, на исходе лета 1941 года, прячась всеми способами от итальянских солдат, что совсем немногим больше чем через год на Дону буду записывать в свою «полевую книжку» высказывания жалких, поникших и растерянных, небритых и немытых бывших красавцев из дивизий «Челере» и «Пасубио» и они будут, толкая друг друга, выстраиваться с манерками у нашей полковой кухни.

Могли ли итальянцы таким представить себе совсем близкое будущее?

И уж совсем невероятным и безумным показалось бы им предположение, что через два года те, кому посчастливится вернуться с «русского фронта», будут атакованы своими недавними фашистскими союзниками и сдадут Рим?

Ну, а что произойдет еще через год?

Головорезы из той самой дивизии «Адольф Гитлер», тыл которой охраняли итальянские полки под Уманью и Первомайском, будут заживо сжигать семьи ушедших в горы партизан в провинциях Эмилии и Ломбардии...

А в партизанском отряде, в горах северной Италии, встретятся вдруг у костра гренадер, маршировавший перед

Гитлером и Муссолини на уманском параде 18 августа, и советский лейтенант, валявшийся в тот день на пропитанной кровью и гноем земле в Уманской яме...

Многое рассказал мне об Италии бывший артиллерист из 140-й дивизии Николай Степанович Казарин, ветеран труда, много лет проработавший учителем, житель города Архангельска.

Побег Казарина из Уманской ямы не увенчался успехом: он был схвачен — из-под Киева увезен в Берлин, а оттуда в Северную Италию, где вновь совершил побег. С группой товарищей долго искал партизан. Крестьяне-горцы помогали беглецам, называли их «фрателли» (то есть — братья!).

Наши парни создали свою боевую группу в Аппенинах у Тразименского озера, где в 217 году до нашей эры Ганнибал разбил римские войска Фламиния. (Читатель, наверное, заметит, что Казарин употребляет в повествовании обороты, характерные для своей учительской профессии.)

Наконец поиски дали результат, и в мае 1944 года группа беглецов влилась в бригаду имени Гарибальди, получила оружие (мушкеты). Ребята начали с того, что приняли участие в операции «Костры»: ночные огни, зажженные одновременно на вершинах гор, символизировали угрозу фашистам — «горы на посту».

Русская, а точнее — интернациональная группа (семь русских, два югослава, словак и два итальянца) участвовала во всех операциях («акциях») отряда Гарибальди — в заездах на горных дорогах, в уничтожении немецких транспортов, в поимке крупных фашистов...

Среди итальянских крестьян командир малой группы Николай Казарин слыл начальником большого отряда и назывался Никола Руссо.

Вот какую историю с улыбкой вспоминает Николай Степанович:

«На высоте, с которой мы вели наблюдение днем, появилась большая группа партизан-итальянцев. В центре этой шумной толпы мы увидели связанного молодого парня. Оказывается, они привели к нам фашиста, чтобы мы его повесили. Я, как мог, объяснил, что русские — не палачи, если он виноват, судите его или казните сами.

Оказывается, этот парень служит в армии Муссолини, прибыл на побывку домой, вот его и арестовали. Я сказал им, что всего год назад все они служили в армии Муссолини, за это казнить парня нельзя. Порешили держать его под арестом. Он на коленях стал умолять, чтобы под арестом находиться возле нас...

Через два дня положение осложнилось, отряд был окружен. Парня развязали. Что с ним делать? Некоторые партизаны бежали, а парень схватил оставленный пулемет и принялся стрелять по немцам, отступая вместе с нами...»

Главнокомандующий гарibaldiйскими частями, впоследствии генеральный секретарь Итальянской компартии товарищ Луиджи Лонго писал в предисловии к книге Мауро Галлени «Советские партизаны в итальянском движении Сопротивления», вышедшей в Риме, переведенной и изданной у нас:

«Европа и Италия в годы движения Сопротивления имели возможность полностью оценить значение существования Советского Союза, решающий вклад в борьбу за свободу, внесенный первым социалистическим государством. Частью этого вклада, важным моментом в создании отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами явилось участие 5 тысяч советских граждан в освободительной борьбе в Италии».

Одним из этих пяти тысяч был артиллерист из 140-й дивизии Никола Руссо. Летом 1983 года он, вновь ставший Николаем Казариным, побывал в Подвысоком и нашел на опушке леса место последней позиции своей батареи...

Уманская яма

В историю фашистского палачества, в черную книгу мук и страданий нашего народа вписан концлагерь на украинской земле — Уманская яма. Оккупанты дали лагерю трехзначный номер, но оказался он одним из первых на Украине, к тому же и печально знаменитых. Леденящее душу название его — Уманская яма — неизвестно как родилось, но распространилось мгновенно, и не только по окрестным селам, но и перешло через фронт...

Индюшачью ферму на окраине Умани и примыкающий к ней карьер, где добывали глину для кирпичного завода, торопливо огородили несколькими рядами колючей проволоки, расставили сторожевые вышки, установили пулеметы, привезли из Германии сторожевых псов, специально натренированных смыкать челюсти на горле безоружного человека.

Фабрика смерти начала работать в первых числах августа 1941 года.

Пленники под открытым небом на голой земле. Для тяжелораненых — навесы, где раньше сушился кирпич. Ни кухонь, ни уборных не предусмотрено.

Сюда свезли и согнали захваченных в Подвысоком и по округе красноармейцев и командиров 6-й и 12-й армий, подвергли коллективной пытке.

Международному военному трибуналу в Нюрнберге был предъявлен протокол допроса командира роты охранного батальона. Допрос снят 27 декабря 1945 года.

Вот его текст:

«В Уманском лагере охрану несла одна рота нашего подразделения 783-го батальона, и поэтому я был в курсе всех событий, которые происходили там... Этот лагерь был рассчитан при нормальных условиях на 6—7 тысяч человек, однако в нем... содержалось 74 тысячи человек.

ВОПРОС. Это были бараки?

ОТВЕТ. Нет, это был бывший кирпичный завод, и на его территории, кроме низких навесов для сушки кирпича, больше ничего не было.

ВОПРОС. Там были размещены военнопленные?

ОТВЕТ. Пожалуй, нельзя сказать, что они были размещены, так как под каждым навесом вмещалось самое большее 200—300 человек, остальные же ночевали под открытым небом.

ВОПРОС. Какой режим был в этом лагере?

ОТВЕТ. Режим в лагере был в некотором роде своеобразным. Условия в лагере создавали впечатление, что комендант лагеря капитан Беккер не в состоянии организовать эту большую массу людей и прокормить ее. Внутри лагеря имелись 2 кухни, хотя их нельзя было назвать кухнями. На цементе и на камнях были установлены железные бочки, в них приготавливалась пища для военнопленных. Эти кухни при круглосуточной работе могли приготовить пищи примерно на 2 тысячи человек. Обычное питание военнопленных было совершенно недостаточное. Дневная норма составляла один хлеб на 6 человек, который, однако, нельзя было назвать хлебом. При раздаче горячей пищи часто возникали беспорядки, поскольку военнопленные, а их в лагере было более 70 тысяч, стремились получить пищу. В таком случае охрана пускала в ход дубинки, которые были обычным явлением в лагере. У меня, в общем, сложилось впечатление, что в этих лагерях дубинка являлась основой.

ВОПРОС. Известно ли вам что-либо относительно смертности в лагере?

ОТВЕТ. Ежедневно в лагере умирало 60—70 человек.

ВОПРОС. От каких причин?

ОТВЕТ. До того, как разразились эпидемии, речь шла в большинстве случаев об убитых людях.

ВОПРОС. Убитых при раздаче пищи?

ОТВЕТ. Как во время раздачи пищи, так и в рабочее время, и вообще людей убивали в течение всего дня».

Этот протокол не только убедительный юридический документ, но и красноречивый документ человеческого падения. Палач стыдливо облекает свои показания в форму размышлений стороннего наблюдателя, щедро оснащает их туманными оговорками: «нельзя сказать», «в некотором роде», «у меня сложилось впечатление» и т. п. Словно он не понимал, что происходило в Уманской яме.

28 октября 1948 года американский военный трибунал в Нюрнберге вынес приговор по делу верховного главнокомандования гитлеровского вермахта.

В материалах процесса, касающихся начальника тылового района группы армий «Юг» генерала пехоты фон Рока

(он был приговорен к 20 годам тюремного заключения), есть страшные данные:

В дулаге-182 умирало 87 с половиной процентов военнопленных в год, в дулаге-205 и шталаге-346 — более 80 процентов.

Цитирую протокол заседания трибунала: «Судебное следствие установило, что многие из этих военнопленных (и даже большинство) были взяты в плен в битвах под Киевом и Уманью».

Трибунал располагал циничными расчетами начальника тылового района: «13 января 1942 года в лагерях находился 46 371 военнопленный... в результате большой смертности к 1 апреля, по-видимому, отсеется примерно 15 000 военнопленных...»

В публикациях о Великой Отечественной войне часто цитируется дневник гитлеровского генерал-полковника Гальдера. Я тоже позволю себе процитировать Гальдера, но на этот раз не его дневник, а протокол допроса, снятого 31 октября 1945 года в Нюрнбергской тюрьме, где Гальдер тогда содержался. Следователя (это был американец или англичанин) интересовало, что говорил Гитлер на одном из совещаний перед войной с СССР.

«ГАЛЬДЕР. Он сказал, что борьба между Россией и Германией — это борьба между расами. Он сказал, что так как русские не признают Гаагской конвенции, то и обращение с их военнопленными не должно быть в соответствии с решением Гаагской конвенции».

А в один из самых тяжелых дней битвы в районе Умани — 6 августа 1941 года — в Берлине было издано распоряжение Верховного командования сухопутными силами. Оно тоже предъявлялось на Нюрнбергском процессе над главными фашистскими преступниками (№ Д-225). Вот что там сказано «касательно снабжения советских военнопленных»: «Советский Союз не присоединился к соглашению относительно обращения с военнопленными. Вследствие этого мы не обязаны обеспечивать советских военнопленных снабжением, которое соответствовало бы этому соглашению как по количеству, так и по качеству».

О том, как ретиво выполнялось это распоряжение, известно достаточно широко. Фашисты считали советских солдат и офицеров не военнопленными, а узниками, приговоренными к казни.

Генеральный прокурор СССР, главный советский обвинитель на процессе в Нюрнберге, ныне покойный Роман Андреевич Руденко писал в «Правде» 24 марта 1969 года,

что лишь на территории СССР, подвергшейся оккупации, фашистские захватчики истребили и замучили три миллиона девятьсот двенадцать тысяч двести восемьдесят три советских военнопленных. Я понимаю, почему прокурор не округлил эту страшную цифру, она названа в статье с точностью до одного человека.

Мне выпало на долю подписывать акты о зверствах фашистов на Украине и в Белоруссии. Испытавший и на себе, кажется, все, что можно испытать, я все же изумлялся: неужели люди способны на такие изощренные методы душегубства? Не спал по ночам, шептал, не способный успокоиться: не люди они, не люди — фашисты.

Потом, уже после Великой Отечественной войны, в годы нашей борьбы за мир, мне пришлось видеть, с далекого или близкого расстояния, еще и еще раз фашистские концлагеря.

Вспоминаю, сопоставляю, сравниваю и вывожу для себя формулу: фашизм — это уманские ямы, на какой бы планете земного шара они ни возникали.

Из истории, уходящей в века, известно, что какая-то таинственная и непреодолимая сила тянет и возвращает убийцу на место преступления. Нет, не раскаянье руководит его поступками, скорее, кровавое любопытство...

В нашем веке извращенность эта получила, если можно так выразиться, техническое подкрепление: садисты, палачи, убийцы для сохранения страшных своих воспоминаний любят пользоваться кино- и фотоаппаратами.

Очень нравилось гитлеровцам фотографироваться в наших городах и селах на фоне виселиц. Позже, что называется, войдя во вкус, они сочли, что застывшее изображение недостаточно впечатляет. Кино дает возможность вновь наблюдать, как жертву пронизывают последние судороги.

Съемки бесчинств, казней, улыбок и гордых поз производились исключительно для себя.

Но было и другое направление в геббельсовской документалистике.

Для широкого публичного показа многочисленные фронтовые киногруппы изготавливали благостные картинки, имевшие целью представить оккупантов освободителями, спасителями советского народа от большевиков, а, если получится, нехитрым монтажом зверства приписать нам.

Две попытки произвести киносъемку имели место в августе 1941 года в Уманской яме.

Помню во всех подробностях...

Группа кинооператоров, среди которых были и люди в военной форме и несколько гражданских лиц, проехала в обвитые терниями колючей проволоки ворота лагеря на грузовике, какой обычно у нас в армии назывался (кажется, и поныне называется) техлетучкой.

Они собирались вести съемку со звукозаписью, и офицер-переводчик в мегафон на изуродованном русском языке предложил (именно предложил, хотя до этого пленники слышали только жесткие команды и приказы) спеть «русский песня «Дуня».

Согнанные к техлетучке люди нестройно и неровно хрипло запели не «Дуню», а «Катюшу». В этом выборе уже таился протест... Что произошло дальше? Исполнен был только первый куплет. Видимо, песня показалась узникам слишком лирической, не совсем подходящей для момента. Вдруг она понравится устроителям этого спектакля? После некоторого замешательства кто-то суровым баритоном начал — «По долинам и по взгорьям», и эту песню подхватили уже в маршевой интонации, запели отчаянно и грозно, как бы наступая, тесня кинооператоров. Мегафонщик орал, чтобы прекратили, чтобы замолчали, но остановить наступление песни уже не мог. Лишь автоматная стрельба сперва в воздух, а потом — в нас прервала песню.

Съемка со звуком сорвалась, на следующий день операторы снова въехали на территорию лагеря, но на другой участок, ближе к краю карьера, туда, где лежали или сидели на мокрой после дождя глине больные и раненые.

Бывший красноармеец 72-й стрелковой дивизии А. Шаповалов хорошо запомнил эту инсценировку, записываю с его слов, хотя и сам не забыл — разве забудешь.

...Долго кого-то ждали, не начиная. Прибыл офицер в высоком чине, со свитой. За ним несли корзину с нарезанным ломтями хлебом. Он начал широкими движениями, явно играя и позируя, раздавать хлеб «доходягам». Съемка пошла полным ходом.

Вот бы отказаться от подачи! Но мы не имели для этого сил...

Известие, что раздают хлеб, распространилось по лагерю мгновенно — люди не видели хлеба слишком давно. Кто прибежал, а кто и приковылял на этот край ямы. Высокопоставленный офицер в мгновение был окружен со всех сторон, отторгнут от кинооператоров. Благодетели перепугались, кое-как выволокли своего главаря из толпы и, прекратив съемку, открыли огонь. Было убито и ранено более двадцати человек.

Мог ли я тогда представить себе, что увижу когда-нибудь эти кинокадры? Нет, ни тогда, ни потом...

Однако — увидел. И вот при каких обстоятельствах:

Летом 1945 года мы, политработники группы Советских оккупационных войск в Германии, в киногородке под Берлином (кажется, в Бабельсберге) по вечерам просматривали немецкие ленты, художественные и документальные. Трофейный склад был в большом беспорядке, так что иногда механик крутил подряд ленты из разных жестяных коробок.

Однажды вечером, в разрез какой-то картины со знаменитой кинозвездой Марикой Рок на экране замелькали фронтовые сюжеты, и я увидел — это невозможно, это невыносимо, но я увидел, — как мы лежим на расползающейся глине, как медленно и трудно поднимаемся, как беззвучно раскрываем рты. Кажется, показали, и как офицер раздает ломти хлеба из той самой корзины, но я смотреть не мог, словно мне выкололи глаза. Мне казалось, что хроника длится бесконечно долго, хотя это были короткие сюжеты, их комментировал жестяной голос диктора.

Надо было, конечно, взять ту черно-белую, почти черную пленку, случайно попавшую в комплект частей пестрой и веселой картины, которую теперь бы причислили к мюзиклам, взять в нарушение правил для себя лично, чтобы стала она моим трофеем. Но я сидел в темном зале, закрыв как бы обожженные глаза, не мог шевельнуться.

Механик остановил просмотр, извинился, и снова заплясала и запела Марика Рок.

Через много лет после войны кровавые уманские дни вновь замаячили перед моими глазами. Дело было в Париже, на набережной Сены, на книжном развале букинистов. Роясь в старых книгах, я натолкнулся на комплект иллюстрированного журнала войск СС за 1941 год. Был такой журнал, печатался он на языках оккупированных стран. На развороте одного из номеров воспроизведена фотография — Уманская яма. Мне ли не узнать ее! Груды, именно груды раненых (а может, и трупов) на склонах глиняного карьера. Люди, которые могут еще держаться на ногах, стоят плотно, яма набита ими.

Я купил старый журнал, привез домой страшную фотографию. Показал ее своим близким, но по их реакции понял, что лучше ее отложить куда-нибудь подальше.

Прошли еще годы — они теперь несутся быстро.

По делам Советского комитета защиты мира я оказался во Франкфурте-на-Майне. На аэродроме купил в местном

киоске и в ожидании транзита небрежно перелистывал свежий иллюстрированный журнал.

На развороте в этот раз была напечатана фотография стадиона в столице Чили Сантьяго, превращенного фашистской хунтой в концентрационный лагерь. Груды, именно груды раненых. А люди, которые могут еще держаться на ногах, стоят плотно, стадион набит ими.

Я вырезал фотографию, она лежала передо мной, когда я писал поэму о солидарности с народом Чили, о Пабло Неруде, о Сальвадоре Альенде. А потом фотография куда-то запропастилась.

Спросил жену, наводящую порядок в кабинете, не видела ли она вырезку из западногерманского журнала.

— Я ее убрала. Не хотела, чтоб фотография Уманской ямы напоминала тебе о пережитом.

— Дорогая моя, это не сорок первый год, а семьдесят третий, это не Умань, а Сантьяго-де-Чили!

Но как дьявольски похоже...

После падения фашистской хунты в Греции я побывал на островах Эгейского моря, где хунта гноила своих политических противников. Я спросил у поэта Янниса Рицоса, была ли на острове, куда его бросили, камера пыток. Рицос выразил удивление:

— Зачем? Камерой пыток был весь остров!

Всюду, где власть захватывал фашизм, земля покрывалась язвами концентрационных лагерей.

Средневековые крепости, старинные замки в Испании и Португалии — романтическое прошлое. Одиночная камера? К чему такая роскошь? Пусть в тесноте каждой такой камеры жмутся друг к другу сорок человек. Застенков не хватает? На скорую руку огородить колючей проволокой овраги и ямы!

Перед человечеством, перед историей равны все узники фашизма:

Герои Советского Союза генералы Дмитрий Карбышев и Иван Шепетов, герой Эллады Никос Белояннис, вождь немецких коммунистов Эрнст Тельман, чилийский певец Виктор Хара, непреклонный Че Гевара, вьетнамский патриот Ван Чой, испанский коммунист Хулиан Гримау и еще сотни, тысячи, миллионы.

В этой шеренге и многие чудом оставшиеся в живых, увы, уже последние участники битвы в Зеленой броне, прошедшие через ад фашистских концлагерей.

Но я убежден, что не только в черную книгу страданий, но и в красную книгу мужества, стойкости, верности Родине

должен быть вписан этот невеликий (по масштабам прошедшей войны), но непреклонный уманский фронт.

Участник движения Сопротивления во Франции Григорий Петрович Карасюк (он живет в Хмельникском районе на Винничине) во время своих военных скитаний слышал от узников и партизан и хорошо запомнил легенду, касающуюся Уманской ямы: будто уже в августе, темными ночами, на бреющем полете появлялись над концлагерем самолеты У-2 и сбрасывали стрелковое оружие для подготовки восстания...

«Кукурузники» по ночам действительно прилетали — я сам слышал стрекотание их моторов. Они подходили на бреющем полете, и потому зенитки бесились в бессилии. Я помню, как падали на нас горячие осколки зенитных снарядов, разрывавшихся гораздо выше, почти у самых звезд.

Утром немецкий офицер, неправильно расставляя ударения, вещал по радио, что Кремль приказал разбомбить лагерь и уничтожить всех нас как изменников, а доблестные зенитчики вермахта и летчики люфтваффе отразили налет «советов».

Удар наносился по измученным душам и был рассчитан на смятенное и ослабленное состояние заключенных.

Кто-то был готов поверить, большинство не верило, но страдание причинялось всем.

Первые дни в лагере ушли на то, чтобы осмотреться и разобраться, что с нами случилось, как жить дальше. Никакие пулевые и осколочные раны, никакие увечья и контузии не могут сравниться с душевной контузией, оглушавшей советских людей.

Мы обезоружены, брошены за колючую проволоку, беззащитны, обречены на гибель.

Что мы знали о плене?

Теплоход «Комсомол», направлявшийся в республиканскую Испанию, подвергся нападению франкистских пиратов в открытом море. Долгие месяцы томились в фашистских застенках советские моряки торгового флота. Сведения об их мужестве проникли через тюремные стены, дошли до Москвы, и, возвратившись, они узнали, что награждены боевыми орденами, что Родина боролась за их вызволение.

Нет, Родина нас не бросит! Она числит нас в своем боевом расчете, а нам осталось одно — бороться с ненавистным врагом.

Но как? Сначала надо вырваться из-за колючей проволоки!

Еще в первых числах августа стало очевидным, что одиночные побеги из лагеря, равно как и групповые — при выводе небольших команд на работы за пределы лагерной зоны, — оборачиваются большой бедой: беглецам не часто удается уйти от преследования, а в лагере будут казнены десятки и сотни заложников.

Более реальным и менее опасным для оставшихся пока в плену товарищей по несчастью представлялся побег с этапа: уже с середины августа немцы начали гнать колонны на запад либо отправлять узников лагеря в товарных вагонах.

В числе многих бежавших из колонны, по-пешему направленной 19 августа в сторону Винницы, был и я. Расчет прост: конвоиры стреляют вслед, но в погоню не бросятся — их не так уж много и они опасаются, что разбежится вся колонна. Ведь случаи уже бывали!

Убежало несколько человек? Черт с ними! Их позже выловит фельджандармерия...

Постепенно в клубящихся глубинах Уманской ямы вызревала мысль о бегстве не одного храбреца, не малой группы заключенных, сохранивших силы хотя бы для подкопа, но об освобождении всего лагеря. Ведь за колючей проволокой находились люди с двухмесячным стажем и опытом беззаветной борьбы с гитлеровской Германией, не раз проявлявшие чудеса отваги. Они понимали — массовый побег может быть осуществлен только путем всеобщего восстания!

Адски трудное дело. Об опасности разговор не шел — мы считали свое положение хуже смерти.

Как поставить на ноги уже не могущих встать, голодных, больных, раненых, не получающих медицинской помощи, наконец, духовно обессиленных и опустошенных?

Как избежать провала, подготавливая массовую акцию — спасение нескольких десятков тысяч воинов? Немецкий шпионаж уже заползает в яму: гестаповцы, украинские националисты, подосланные белогвардейцы шастают в этом человеческом котле. Заявили о себе и уголовники, которых война освободила из тюрем, и неизвестно как успевшие возвратиться из ссылки кулаки. Один предаст — погибнем все.

Организованности, конспирации (во всяком случае, в августе), как мне кажется, было недостаточно, но все-таки

вырабатывался дерзкий и отчаянный план: перебить охранников и собак, завладеть оружием, прорезать проходы в тройном заграждении и вывести лагерь на свободу. Предусматривалось, что кроме охраны в Умани скоро останутся только немногочисленные тыловые части врага, а немецкие и итальянские дивизии уйдут к Днепру. Надо будет создавать из освобожденных отряды, которые ударят в спину наступающему врагу и прорвутся через фронт к своим.

Идея восстания возвращала людям силы.

Поговаривали, что у кого-то есть связь, что в момент восстания наши сбросят парашютный десант.

Это была, наверное, мечта...

Не могу найти и подтверждения, что оружие падало с неба.

Но есть данные, что в «яму» оно поступало.

Кандидат философских наук, бывший красноармеец 10-й дивизии НКВД Петр Сумарев (в Умани он скрывался под именем Владимир Сумароков) рассказал вот такую историю: в городе оккупанты создали склад трофейного (то есть нашего, советского) оружия.

К охране склада имел касательство советский разведчик, сибиряк Н. Р., внедрившийся в полицию.

Обладая недоожинной силой воли, он нашел помощников и организовал хищение оружия: таскали со склада пистолеты, штыки, гранаты, патроны, даже винтовки и передавали оружие в лагерь — возвращали законным владельцам. Выкопанное из земли, оно снова закапывалось до поры уже на территории лагеря. Сумарев утверждает, что в «яме» было спрятано до тысячи единиц оружия.

(Я должен объяснить читателю, почему упоминаю лишь инициалы сибиряка. Пока в судьбе его много таинственного и непроверенного. След его затерялся тогда же, в 1941 году. Очень хочу, чтоб легенда о спрятанном оружии и о сибиряке-разведчике получила документальное подтверждение. Поиски продолжаю, если найду достоверные данные, опубликую их.)

Об ужасах Уманской ямы сведения на Большую землю доходили. Я нашел статью, напечатанную в «Красной звезде». Может быть, была и связь? Увы, подтверждение не найдено.

Сумарев говорит, что по субботам расстреливали до трехсот человек — пленных, а также доставляемых сюда на казнь партизан и заложников и еще местных жителей — евреев и цыган. Расстрелы и убийства, впрочем, производились и в другие дни недели, не только по субботам.

Расстрелянных сжигали тут же, сложив в штабеля и облив бензином. Человеческий пепел отправляли на удобрение огородов.

Покориться — значит погибнуть!

Надо готовить восстание!

Свидетельство о том, что восстание готовилось, есть и в материалах с той стороны.

Когда американский суд допрашивал военного преступника генерал-полковника Гота (того самого, который во главе 4-й танковой армии прилагал тщетные усилия деблокировать окруженную под Сталинградом группировку Паулюса), ему было предъявлено обвинение в расстреле 500 военнопленных в Умани в 1941 году. Гитлеровский палач оправдывался тем, что это произошло якобы в связи с восстанием пленных в лагере.

Однако это показание генерал-полковника Гота — пока единственное свидетельство. Состоялось ли восстание? В наших архивах нет подтверждения. Или Гот расстрелом 500 человек пресек его и обезглавил?

В Федеративной Республике Германии я познакомился с некоторыми исследованиями, касающимися вопроса о военнопленных. (Книги эти имеются в библиотеке бундестага.)

Приведу данные из книг Христиана Штрейта «Они нам не товарищи» и Альфреда Штрейма «Обращение с советскими военнопленными по «плану Барбаросса». Интересно то, что оба автора принадлежат к послевоенному поколению немцев. Христиан Штрейт (преподаватель гимназии в Гейдельберге) прочитал в одном романе, как зверски убивали советского комиссара, и позвонил автору сочинения по телефону. На вопрос, неужели это было на самом деле, он получил ответ: сцена совершенно реальная, запечатлена с натуры. И тогда гейдельбергский учитель принялся разыскивать, собирать и изучать материалы, которые составили научное исследование, являющееся обвинительным актом против фашизма.

Довольно много места уделено в этих книгах Уманской яме, только называется она официально дулаг (дурхганг-слагер) № 182 и шталаг (штандртлагер) № 349.

Эти лагеря входили в зону 17-й армии, и после войны имеющееся в Западной Германии Центральное бюро по расследованию военных преступлений пыталось возбудить против командования 17-й армии дело, но ничего не вышло: первые три коменданта Уманской ямы в 1945 году были уже стариками и по старости избежали наказания.

Командовавший 17-й армией до ноября сорок первого года Карл-Генрих фон Штюльпнагель был к тому времени казнен за участие в заговоре 20 июля 1944 года против Гитлера.

Еще один командующий, генерал Руоф, умер.

Дело против заместителя начальника разведки 17-й армии Карла Фридриха В. (так он значится в документах) прекратили — подсудимому было к тому времени 86 лет, в протоколе записаны потеря памяти и равновесия.

Американский суд осудил лишь одного Гота...

А было за что судить многих! Генерал-лейтенант Китцингер, например, докладывал Гитлеру в 1942 году, что на Украине умирает 4300 пленных в день. В январе этого года только в полосе 17-й армии умер 24 861 военнопленный...

...Рядом с глиняным карьером проходит теперь объездная магистраль Киев — Винница. Притормаживают машины, тысячи людей делают здесь привал, заведя с моста хорошо спланированную аллею, сбегаящую к гранитной глыбе с надписью:

«Вечная память воинам Советской Армии,
замученным фашистскими палачами
в 1941—1942 годах».

Среди граждан Умани давно вызревает мысль о необходимости поставить на месте «ямы» величественный обелиск. Существует и проект обелиска — творение местного архитектора Петра Чайки. Он обратился ко мне с предложением написать стихи, которые можно было бы поместить на памятнике.

Уверен, настанет час, когда памятный знак уступит место обелиску. Вполне вероятно, что надпись в стихах сочинят молодые стихотворцы Умани, но и свой вариант вместе с переводом на украинский язык, сделанным старейшим поэтом Украины, уроженцем Умани Миколой Бажаном, я послал архитектору Чайке:

*Здесь покоятся узники Уманской ямы.
Встань, товарищ, в молчании шапку сними.
Эти войны были чисты и упрямы,
Перед бандой зверей оставались людьми.
Их косили болезни, и пули, и голод.
Не склоняясь, они встретили смертный свой час.
Помнит их, непреклонных, наш солнечный город,
Верность их — как наследство — хранится у нас.*

Городок - герой

В облике маленьких городов Украины есть особенная, ни с чем не сравнимая прелесть. Есть и некая светлая таинственность, облагораживающая душу, и в то же время — покоряющая и зовущая к себе открытость.

Может быть, обаяние городков правобережья и левобережья Днепра в близости любого из них стольному граду Киеву, а он для меня всегда и навсегда — любимый город; а может, величие их в том, что все они как бы ветви одного дерева — так породнились с окружающими их селами, да еще издавна — с гоголевских времен...

Городки эти — родители героев-воинов, строителей, ученых, поэтов, садовники нежной и доброй украинской ночи, собиратели истории и колыбель патриотизма, интернационализма: они прогоняли поработителей, они вдохновляли Пушкина и хранили тайну декабристов, сострадали Тарасу Шевченко и Адаму Мицкевичу, они улыбались Шолом-Алейхему и Николозу Бараташвили, с любопытством встречали Оноре де Бальзака, дружили со всеми, кто шел к нам с дружбой...

Я не просто видел их и не случайно знаком с ними.

Я покидал их, оставляя на горе и муки, и сердце обливалось кровью. Я был в рядах тех, кто возвращал им свободу, видел их разрушенными, пострадавшими, но счастливыми.

Если б у меня хватило силы поклониться и тому, и другому, и третьему, побывать вновь или впервые, узнавать их, рассказывать людям о каждом городке и вновь узнавать!

Но сегодня, не оставляя и не прерывая трудной беседы о Зеленой бреме, повествую об одном из них, особенном, неповторимом и таком же, как все другие.

И не про все успею рассказать.

Еще останется на другой раз слово о торжественном — одном из самых лучших и необыкновенных в мире — парке Софиевка, и может быть, когда-нибудь сложу песню о юных красавицах уманчанках, и все равно никогда не пойму, откуда их так много.

Бело-зеленая, тихая, ласковая Умань...

Есть у нас великие города, подвигом своих защитников и граждан заслужившие гордое и прекрасное звание городов-героев, есть крепость-герой Брест, есть города, на знамени которых боевые ордена.

Надеюсь, читатель не осудит меня, если признаюсь, что про себя называю маленькую Умань городком-героем. В общем, это мое личное дело, но объяснить, почему такой образ укоренился в сознании, наверное, я должен.

Не скажу, что недолгая оборона самой Умани остатками войск 6-й и 12-й армий, сведенных уже в «группу Понеделина», могла принести и принесла городку славу героя.

Никого не утешит и тот факт, что такой маневр, как оставление городка, был необходим. Эх, если бы приказ пришел несколько раньше!..

Нет, история требует, чтоб с ней считались: было именно так, как было.

И все же современникам и потомкам, мне кажется, надо знать, что по этому поводу думает западногерманский историк генерал-майор Вегенер.

В книге «Группа армий «Юг», вышедшей через десятилетия после войны, рассматриваются как равные по значению два события, смешавшие все планы захвата Украины и нанешие тяжелый урон фашистским войскам: «Битва под Уманью» и «Битва за Киев».

Значит, все, что было в округе, в Зеленой бреме, вспоминается генералом Вегенером и его соратниками как битва под Уманью.

Да, есть и другие свидетельства «с той стороны».

А что происходило в оставленной нами Умани?

Многие ее защитники в первой половине августа вновь оказались на окраине города, в птичнике и карьере кирпичного завода, обезоруженные, перебинтованные и с открытыми ранами, иные закованные в кандалы (я сам видел, да и люди помнят), шатающиеся от голода, оборванные и босые.

В попытке оказать им первую помощь — начальный подвиг уманчан.

Я имел печальную возможность наблюдать его через двойной ряд колючей проволоки, терновым венцом окружавшей концлагерь. Ограждение между столбами и вышками было еще и разлиновано проводами высокого напряжения, но все, что творилось снаружи, хорошо просматривалось. Уманчане со всех сторон обступали лагерь густой толпой, не обращая внимания на то, что они — в секторе обстрела со сторожевых вышек. Охрана могла в любой момент открыть

огонь из пулеметов для предостережения и просто так, для забавы. Но уманские женщины, дети, старики с узелками продуктов не уходили со своей позиции, не отступали ни на шаг...

Они стояли сутками, наверное, ждали чуда, пытались всеми правдами и неправдами передать съестное и воду погибающим от ран, голода и жажды своим воинам.

Так было все дни, пока я находился в лагере; с двух сторон колючей оградой стояли люди одной судьбы — пленники и оккупированные, разделение их было условным, ибо те и другие оказались «под немцем», оказались невольниками и всем надо подниматься, борьбу с врагом продолжать, только пока не очень точно известно, как. Может быть, тогда уманчане сами еще не ощутили, что уже включились в антифашистскую деятельность.

Невольники, толпившиеся по ту сторону колючей проволоки, силились перебросить через нее ломти хлеба, яблоки, шматы сала, завязанный в марлю творог. Некоторые горожане, протолкавшись поближе к воротам, успевали передать продукты новым узникам, собранным жандармерией по лесам и селам и теперь группами загоняемым в лагерь. Охранники вырывали из их рук свертки, швыряли хлеб в грязь, ударяли людей прикладами, хлестали плетью, пинали сапогами, а то и открывали стрельбу.

Но уманчане не сдвинулись с поста, и это не каламбур (возможны ли здесь каламбуры!) — действительно стояли насмерть.

Можно только поражаться бесстрашию женщин только что оставленного войском и захваченного врагом города.

В комендатуру концлагеря каждое утро приходили горожанки и просили свидания со своими мужьями... с людьми, которых они видели через колючую проволоку впервые в жизни! Мгновенно разобрались они в особенностях нордического характера. Оказывается, германские рыцари весьма падки на взятки и своеобразно честны — если продали умирающего советского солдата за шнапс и сметану, то уж не обманут, отдадут.

Пленному начальнику заставы 97-го Черновицкого погранотряда Андрею Михайловичу Грабчаку, когда его гнали в колонне на работу, неизвестная женщина передала сверток со штатской одеждой. Он сумел тут же переодеться и «утечь», раствориться в толпе. В деревенском картузе и старой куртке он пошел на восток. Обычно говорят — шел к своим, а мне бы хотелось сказать, что Грабчак шел от своих к своим. Перешел фронт, а в конце сорок третьего

вернулся: его выбросили с самолета в район Житомира. Он вскоре отличился как партизанский командир, бесстрашно действовал и заслужил звание Героя Советского Союза.

В сиянии его Золотой Звезды есть и отсвет скромного подвига не известной ему, да может, и вообще до сих пор никому не известной уманчанки, вырвавшей его из Уманской ямы.

Я нахожусь в переписке с красными следопытами Умани. Ведя поиски героев и подвигов Великой Отечественной, они забираются порой в дальние края, рассылают письма по всей стране.

Не в укор им, а все же хочется посоветовать: раскройте историю улочек, на которых живете, по которым в школу и из школы ходите каждый день, взгляните в судьбы своих соседей, ну и, конечно, поспрашивайте своих дедов...

Обстоятельства сложились так, что уманчане и воины 6-й и 12-й армий после трагического августа объединились и породнились для борьбы с фашистскими захватчиками.

К сожалению, найденные местными краоведами, историками и следопытами факты и материалы до сих пор не собраны воедино, не обобщены, остаются эпизодами. Их необходимо сложить, систематизировать, свести в одну картину, и будет она величественной и поражающей.

На западе, в странах, которые были оккупированы фашистами в годы второй мировой войны, существуют два термина и два понятия: партизанская борьба и движение Сопротивления. Применительно к нашей жизни в обиход не вошло последнее словосочетание, наверное, потому, что этот термин не отражает в полной мере и смысл, и содержание нашей борьбы. Огромный размах партизанского движения и подпольной деятельности на оккупированной территории СССР позволяет говорить о всенародной борьбе советских людей с фашистскими захватчиками, и один из подтверждающих примеров — Умань и ее округа, включая Зеленую браму.

Известно, что обкомы и горкомы партии, политуправления и политотделы сражающихся войск в глубокой тайне готовили и оставляли на территории, обреченной на оккупацию, подпольную сеть, а несколько позже забрасывали — уже через фронт — партизанские, разведывательные и диверсионные группы.

И в Умани на случай, если придется сдать город, был создан центр для подпольной работы. Но входившие в него люди, еще не успев начать действовать, погибли в последних боях за город. И все же борьбу с оккупантами уманчане

начали 2-го августа, на следующий день после отхода 6-й и 12-й армий в район Зеленой браны, встали в строй бойцов, имея чисто символического, но великого командира — свою верность Советской Родине.

Согласно данным Черкасского облпартархива, в Умани действовало пять крупных подпольных организаций. Учтено около шестисот подпольщиков.

Я не смогу уточнить эти сведения, но попробую внести поправку: ведь это имеются в виду лишь жители города, так или иначе связанные друг с другом, вошедшие в систему организованной борьбы.

А ведь отсутствует, не учтена, не внесена в списки та женщина, что передала крестьянскую одежду пограничнику Андрею Грабчаку, будущему Герою Советского Союза. А разве она не участница борьбы, разве можем мы не учитывать ее скромный и великий подвиг?

И сколько было подобных героев и подвигов в Умани!

Пути подпольщиков сходились не только к опасному ограждению Уманской ямы.

Вспыхивали пожары в местах, где просто так они не могли возникнуть: в мастерских, где оккупанты ремонтировали танки, на аэродроме (в июле 1943 года подпольщики Евгений Корпачев и Тимофей Коробкин сожгли два самолета!).

В театре во время спектакля неожиданно гас свет, а когда он вспыхивал вновь, оккупанты уже не могли отыскать тех, кто сбросил с верхнего яруса, расшвырял по залу пачки листовок.

А листовки, призывавшие к борьбе и сулившие незваным гостям неминуемый крах, были не через фронт доставлены, а отпечатаны в местной типографии, да еще и не только на русском и украинском, но и на немецком языке.

Днем в местной типографии печаталась фашистская газетенка «Уманский голос», а по ночам — листовки.

О размахе «печатной» деятельности уманчан свидетельствует приказ гебитскомиссара, требовавший, чтобы хозяева каждое утро осматривали стены своих домов, заборы, столбы и стволы деревьев на улице и, если найдут листовки, немедленно, не читая, сдавали их в полицию. Задержанные с листовками будут повешены, а поймавший распространителя листовок получит «на тысячу рублей продуктов и гектар усадьбы».

А ведь не осталось сведений, что кто-либо награжден этой кровавой премией! Боевая порука связывала жителей

города, подпольщиков и партизан: и тех, кто входил в организации и группы, и тех, кто, быть может, даже не считал себя участником борьбы, а все-таки был им.

Один читатель задал мне в письме вопрос: почему с таким опозданием открываются новые данные о подпольной деятельности на оккупированных территориях. Не наслоились ли позднейшие домыслы, не приписывает ли кое-кто себе несовершенные подвиги, не фантазируют ли журналисты?

Отвечу: Советская Армия не смогла бы победить, если бы не сражался с врагом весь наш народ, если бы не только в организованной партизанской и подпольной деятельности, но и в скромном, но твердом и убежденном повседневном сопротивлении оккупантам не участвовали тысячи и тысячи жителей оккупированных городов и сел.

Сколько человек, достойных песен, погибло в Умани, так и не назвав своих имен!

Военное время характерно великим движением, переселением и перемещением народа. Многие юные борцы с фашизмом из той же Умани сразу после освобождения встали в ряды наших войск, сложили головы на полях освобожденной ими Европы.

В сложной обстановке освобожденных городов невозможно было сразу и по-быстрому разобраться.

Вот один пример, что называется, из литературы.

Счастливая случайность, журналистское везенье натолкнуло моих товарищей Михаила Котова и Владимира Лясковского, фронтовых корреспондентов «Комсомольской правды», на следы краснодонской организации «Молодая гвардия» сразу же после освобождения шахтерского городка.

Газета опубликовала их большую статью. Ознакомленный с привезенными в Москву материалами, загорелся темой писатель Александр Фадеев. По командировке ЦК ВЛКСМ он немедленно направился в доселе почти никому неизвестный Краснодон.

Фадеев считался в нашей среде едва ли не самым медленно работающим писателем. А тут за несколько месяцев была создана замечательная «Молодая гвардия», роман, документальный в основе.

Деятельность подпольной комсомольской организации стала всенародно известна именно в фадеевской трактовке, некоторые литературные герои действовали на страницах романа под подлинными именами краснодонских юношей и девушек, иные были одарены чуть измененными фамилиями.

Через годы события и судьбы, связанные с организацией «Молодая гвардия», в результате проведенного расследования потребовали частичного пересмотра.

Помню, как переживал Александр Фадеев, узнав, что юноша, которого он изобразил (почти не изменив фамилию) малодушным и даже показал виновным в провале организации, на самом деле чист перед Родиной и товарищами. Были обнаружены и преданы суду подлинные предатели и палачи.

Но коллизии романа и репутации его действующих лиц были уже слишком широко известны читателям знаменитой книги...

Я помню и противоположные случаи. Мы, газетчики, как поется в песне, «первыми въезжали в города» и поспешно собирали сведения — что тут было. Однажды, в первые минуты нашего пребывания в освобожденном городке, ко мне подошел разбитной парень в папаше с нашитой поперек красной лентой и стал торопливо рассказывать про «партизанщину». Мне не понравился такой оборот речи, мы так не говорили, но корреспонденцию я все же написал, новый собеседник фигурировал в ней в лучшем виде. К моему счастью, корреспонденция опоздала в редакцию и не была опубликована (шло бурное наше наступление, освобождалось много городов). А через несколько лет я узнал, что мой тогдашний собеседник — из числа хитрых и предприимчивых полицаев, накануне нашего прихода нацепивших красные ленточки на папашу.

Что и говорить, время было сложное.

История борьбы с оккупантами в Умани исследуется и поныне; вероятно, не все факты уже известны прежде всего потому, что противостояние оккупантам не считалось поступком выдающимся и особенным. Это было бытие, повседневность. Два года, семь месяцев и девять дней оккупации Умани — срок серьезный, а обстоятельства жизни города и требования конспирации не позволяли вести летопись. Теперь приходится выискивать очевидцев, которые способны вспомнить и рассказать о событиях той поры, теперь даже газеты первых и не только первых послевоенных лет — архивная редкость, бесценный материал.

Хорошо, что есть товарищи, добровольно принявшие на себя обязанности летописцев.

1-го сентября 1983 года я ездил в Подвысокое, чтобы провести в школе-десятилетке «Урок мира», а потом, по приглашению студентов сельскохозяйственного института

проехал в Умань, еще раз убедившись, как коротко расстояние между Зеленой брамой и белым городком.

Мне посчастливилось встретиться с бывшей связной и разведчицей партизанского отряда, действовавшего в Бrame. В первые послевоенные годы она работала в селе секретарем райкома комсомола, ныне является историком и краеведом и, между прочим, бабушкой, Марией Михайловной Мельниченко.

Она стояла в кругу студентов, стройная, с красивой сединой в прическе, исполненная достоинства, и, честное слово, глаза ее показались мне такими же юными, как у окружавших нас первокурсниц, начинавших в тот день студенческую жизнь.

Оказалось, что Мария Михайловна — собиратель исторических сведений и документов о своем родном городе, а собирательство, особенно за последние пятьдесят лет, помножено и на собственную память — все происходило на ее глазах, с ее товарищами, с ней самой.

Мария Михайловна пообещала мне поделиться находящимися в ее распоряжении материалами, бесценными выписками из архивных фондов, газет и своими воспоминаниями. Вскоре я стал получать от нее пакеты с точно документированными страницами, позволяющими хоть как-то представить картину непокоренной Умани.

М. М. Мельниченко рассказывает об одном из романтических героев городка. Его звали Николай Иванович Лихота, он в армии (нашей 6-й) был младшим лейтенантом, раненный на Синюхе, попал в плен. До Умани его не довели — бежал из колонны. В «яме» он появился позже при обстоятельствах удивительных и невероятных.

Лихота сколотил группу воинов, поставивших перед собой задачу связаться с узниками.

На листах из школьных тетрадок было много раз переписано воззвание, в нем оставшиеся на свободе обещали вызволить товарищей:

«Наш пароль — Виктория! Смерть немецким оккупантам!»

Самодельные листовки в точном смысле слова забрасывались на территорию лагеря: приютившая Лихоту колхозница оборачивала тетрадными листиками с воззванием печеную картошку, швыряла через проволоку.

Укоренившись в селе под Уманью, Лихота с товарищами изловил полицаю, хорошенько его припугнув, отобрал у предателя униформу и документы, переделался и явился к Беккеру, коменданту лагеря.

От имени сельского старосты он выпросил у коменданта группу пленных якобы для уборки урожая и сдачи хлеба великой Германии.

Полицая, у которого Лихота конфисковал форму, он заставил работать на партизан, а сам вошел в доверие к коменданту, не раз вновь появлялся в Уманской яме в форме полицейского с бляхой на груди. Видели его и в форме фельдшармерии. Зато по окрестным селам он всегда ходил в аккуратно пригнанной своей лейтенантской форме, в фуражке с красной звездочкой. И не просто ходил, а ездил на коне. Открыто рискуя, он не таился: завидев группу молодежи, подъезжал, призывал ребят к борьбе. Постепенно в селах активизировались подпольные группы, и в 1943 году они объединились в партизанский отряд имени Сталина. Николай Лихота был избран начальником штаба отряда.

Николай Иванович Лихота был дважды тяжело ранен в партизанских боях. Второе ранение — в грудь — свалило его в тяжкий для отряда момент, и, чтоб не оказаться обузой для товарищей, он застрелился.

Мне бы очень хотелось стать рассказчиком легенды. Но невероятные подвиги младшего лейтенанта и гибель его — только правда.

Вот какие люди были в городке и вокруг него!

Я правильно называю Умань городком, но хочу подчеркнуть не столько его размеры, сколько выразить свою нежность в уменьшительной форме слова.

До войны в Умани числилось 50 тысяч жителей. Какая-то часть населения успела эвакуироваться, другие встали в ряды армии. А около 20 тысяч жителей городка было расстреляно оккупантами, из них не менее половины — узники еврейского гетто (их могилой стало урочище Сухой яр, расстреливали их и в «яме»).

Никогда не будет забыт и подвиг уманчан, спасавших и прятавших обреченных своих земляков-евреев.

Об одном из скорбных и прекрасных подвигов сообщила 27 июля 1944 года газета «Колхозная правда».

Инвалид первой мировой войны Антон Иванович Дятлов оборудовал в своем доме тайник и укрыл четыре еврейских семьи — двенадцать человек.

Кто-то донес в гестапо.

Спасенных вновь водворили в гетто, бросили туда же и жену Дятлова с тремя детьми.

И квартиранты Дятлова, и его семья были уничтожены фашистами.

После освобождения городка инвалид обратился к Верховному Главнокомандующему И. В. Сталину с письмом: «Немцы убили мою жену и троих детей. Вместо венка на их могилу прошу принять в фонд обороны пять тысяч рублей и драгоценности: два обручальных золотых кольца, изделия из серебра — графин с подносом, два подстаканника, пудреницу, солонку, два бокала, три ложки.

Пусть мой скромный взнос поможет нашей доблестной Армии добить фашистов.

19 июля 1944 года. Умань, ул. Пролетарская, 41

Дятлов.

Приписка: деньги и ценности приняты Уманским отделением Госбанка».

Так жил, страдал и боролся городок Умань.

Одни обстоятельства и события становились известны, другие открылись значительно позже, а некоторые и поныне не обнародованы.

Почему?

Наверное, и потому, что уманчане, подобно жителям многих других городов и сел, оказавшихся под немецким сапогом, считали и считают, что вели себя так, как и следует вести себя советским людям в суровых и страшных обстоятельствах.

Не этой ли сдержанностью и скромностью объясняется то, что об иных подпольных организациях и одиночных героях борьбы стало известно через годы и десятилетия, благодаря поискам красных следопытов, краеведов, а то и случайно.

Сколько еще невыявленных подвигов, безвестных героев...

Об одном из них я не могу не рассказать.

Молодежную подпольно-диверсионную группу в Умани возглавлял двадцатилетний комсомолец Андрей Петрович Романщак. Он, только что получивший диплом физико-математического факультета в Уманском учительском институте, вступил добровольцем в истребительный батальон и к моменту окружения города стал командиром взвода. Вместе с отходившими войсками 6-й и 12-й армий добровольцы оказались у Зеленой браны. Под Копенковатым Андрей Романщак был ранен, его спрятали колхозники, выходили уже в оккупации. Из Копенковатого он отправился в находящееся неподалеку родное село, где учительствовала его мать.

Забрав сестру Надю, Андрей пришел в оккупированную Умань и поселился там же, где жил в студенчестве, у учительницы М. К. Береговенко.

В материалах Черкасского облпартархива началом боевой деятельности группы значится сентябрь сорок первого. В первую десятку вошли, кроме брата и сестры Романщак-ков, еще местные студенты и вчерашние школьники.

Как ни скупы сохранившиеся материалы, как ни скудны воспоминания очевидцев, из них вырисовывается фигура молодого энтузиаста с недюжинными способностями организатора и вожака. Это хорошо чувствовали товарищи, называвшие его не иначе как «пламенный Андрей». Он вскоре отправился в опасную поездку по окрестным селам на поиски своих товарищей по школе, по пионерским слетам, по студенческой поре. Создавались малочисленные по составу, но боеспособные группы. Они знали, что делать, овладевали диверсионной наукой, собирали оружие на полях недавних боев, содействовали побегам военнопленных, прятали их в лесах и у местных жителей.

Уже в начале 1942 года враг ощутил удары неведомых мстителей, особенно на железной дороге. Рухнул под откос воинский эшелон, было уничтожено несколько паровозов.

«Пламенный Андрей» с товарищами сумели вовлечь в свою группу сотрудников гебитскомиссариата — немца-фольксдойча и поляка. Это была большая удача, сопряженная со смертельной опасностью. К счастью, эти два сотрудника группы Андрея оказались весьма полезными и честными людьми. Но, видимо, удача привела к ослаблению осторожности, и новая попытка проникнуть в самое логово противника закончилась трагически.

Романщак решил привлечь к подпольной работе Валентину Усенко, бывшую учительницу немецкого, поступившую на службу в СД переводчицей. Это была роковая ошибка: Валентина Усенко вместе с фольксдойчем Иоганом Вернером навели фашистов на след Андрея, он был захвачен в лесу, где уже долгое время базировался центр подпольной организации.

Польский товарищ, проникший в тюрьму в качестве переводчика, сумел передать Андрею лаконичную, всего из трех слов, записку — «друзья не спят», передать ему бумагу и карандаш. Вот что написал товарищам Андрей:

«...Я променял бы всю свою жизнь на один день свободы, но этот день стал бы для разных вернеров и усенко и другой погани адом. Не горько умереть за идею, за которую погибли миллионы, но горько, что жил мало, мало сделал. Мне уже 16 декабря (речь идет о годе 1942-м.— Е. Д.) будет только двадцать один...»

Подпольщики предпринимали героические, просто невероятные усилия, чтобы спасти Андрея. Об этом рассказала его сестра Надежда Петровна, и поныне живущая в Умани. Подпольщик, член группы с первых ее шагов, недавний школьник Василий Демидюк, работавший в ремонтных мастерских, сумел даже проникнуть в кабину грузовика, который палачи приказали пригнать на рассвете к воротам тюрьмы. Увы, героя увез к месту казни другой грузовик, спасение не удалось...

«Пламенный Андрей» не дожил до двадцати одного года...

Через год в бою, окруженный карателями, дождавшись, когда они подойдут к нему вплотную, взорвал их и себя гранатой Вася Демидюк. О нем в Умани сложена и поется песня...

Записки, пересланные «пламенным Андреем» из тюрьмы, а также его стихи сохранились и находятся в Черкасском облпартархиве. Это не только человеческие документы, но и свидетельство поэтической одаренности. Я осмеливаюсь привести его строки в своем переводе с украинского. Вот стихи, посвященные предмету первого увлечения:

*Любви не время — длится бой,
Людской захлебываясь кровью.
Утихнет бой, придет любовь,
Пусть ей победа путь откроет.*

Я исподволь, постепенно собираю и перевожу стихи, написанные революционерами в последний день жизни или в ночь перед казнью. У меня уже есть «Завещание» американца Джо Хилла, «Последнее прощание» филиппинца Хосе Рисаля, я постараюсь заново перевести письма из Моабитской тюрьмы друга своей юности Мусы Джалиля, стихи немецких антифашистов из «Красной капеллы». Если у меня хватит сил создать такую книгу завещаний, я непременно включу в нее и перевод стихов «пламенного Андрея», украинского комсомольца Романцака, написанных в уманской тюрьме перед расстрелом:

*Не утратила смерть сама,
Когда оставилась мне в очи.
Вы думаете, что зима
И это прозябанье волчье
Меня сломили? Никогда!
Зима свирепствует напрасно,
С весной не справится беда,
Меня и смерть согнуть не властна...*

Наивные вопросы и жесткие ответы

В Западном Берлине проводилась дискуссия, организованная Евангелической академией: «Восьмое мая — освобождение или капитуляция?»

Пригласили меня как автора книги «Автографы победы» — о штурме Берлина и о надписях, сделанных советскими воинами на стенах и колоннах рейхстага.

Я выехал через столицу ГДР в Западный Берлин, был радушно принят и поселен в мансарде Евангелической академии в районе Ваннзе, знакомом мне по весне 1945 года.

Я понимал, что для немецких участников беседы эта дискуссия — нелегкое испытание, да и сам волновался здорово, не потому, что боялся каверзных вопросов — я здесь, как раз в этом квартале, уже был, правда, много лет назад, освистан пулями, но просто по ситуации: такая вот дискуссия в Западном Берлине. Да еще и в религиозном учреждении. Непривычно.

В зале Евангелической академии собралось много народу — старшие и совсем молодые, примерно половина на половину. В перерыве ко мне подошел бледный молодой человек с волосами, подстриженными, как у российского различинца, в небрежном джинсовом костюмчике, с криво повязанным, мятым шейным платком. Представился:

— Фолькер фон Тёрне, генеральный секретарь организации «Акция искупления немецкой вины», поэт...

Движение, которое представляет фон Тёрне, с позиций гуманизма резко осуждает фашизм, его участники считают, что каждый немец и молитвой, и покаянием, и делами должен отвечать перед всем миром, а прежде всего перед народами, пострадавшими от нападения гитлеровцев, и тем самым искупить хоть часть их вины. Сам Фолькер — сын генерала войск СС, палача, позорно закончившего свою жизнь от пули не то бельгийских, не то голландских патриотов (мне почему-то неловко было уточнять). Ища искупления вины отца, фон Тёрне не раз бывал у нас в стране, в других странах, подвергавшихся оккупации в пору второй мировой войны. Он возлагал цветы к памятнику на Мамае-

вом кургане над Волгой, участвовал в своеобразных субботниках на месте концлагерей Освенцим, Маутхаузен...

Позже я встречался с этим молодым человеком, носителем пылающей совести, и в Берлине, и в Москве, и на международных конференциях, связанных с проблемами мира.

Особенно запомнилась одна из наших последних бесед.

Я спросил фон Тёрне, слышал ли он об Уманской яме и входит ли этот концлагерь в число объектов, опекаемых «Акцией искупления немецкой вины».

Фон Тёрне, всегда казавшийся мне бледным, еще более побледнел.

— Само собой разумеется. Уманская яма упоминается в некоторых книгах, вышедших в эти годы. Немцы, может быть, во время войны и не слышали о ней, но теперь знают это ужасное место. В плане нашей организации — съездить в Умань, найти место концлагеря, посадить цветы в эту многострадальную землю.

Меня давно, со времен трагического августа сорок первого, мучил один вопрос. Я никак не мог понять, почему у аккуратных и педантичных немцев в августе 1941 года царил такой хаос и беспорядок в лагере для советских военнопленных... Ведь вторая мировая война шла уже без малого два года, была захвачена чуть ли не вся Европа. Неужели не накопился опыт, неужели не были еще до нападения на нас отданы какие-то распоряжения ну хотя бы хозяйственного порядка, не установлены для содержания пленных нормы воды и пищи, пусть самые голодные и подлые?

Я понимал, что вопрос мой носит несколько демагогический и, уж во всяком случае, риторический характер. Я до конца своих дней благодарен неразберихе, царившей в лагере: будь у них порядок, за недолгие дни моего пребывания там распознали бы, что я политработник, и, безусловно, расстреляли.

Ответ Фолькера был неожиданным и еще более страшным, чем я мог предположить:

— Ты все-таки наивный поэт, Эуген, хотя и был комиссаром. Разве ты не знаешь «плана Барбаросса»? Ваша страна по этому плану должна быть молниеносно захвачена, с Москвой, Днепром, Донбассом, Волгой, Баку. Все должно было закончиться к осени. В интендантстве вермахта даже не занимались вопросами зимнего обмундирования. Незачем! Не понадобится! В плен попадают не полк и не дивизии, их уничтожают или они сами рассыпаются. В плену через шесть недель оказывается вся ваша страна,

речь идет о порабощении всего населения. А военнопленные нужны были моим обезумевшим соотечественникам (так он сказал с печальной улыбкой) в весьма ограниченном количестве для того, чтобы убирать за сверхчеловеками навоз. Разве наци не отпускали пленных по домам?

Фолькер фон Тёрне не ошибается, задавая такой странный вопрос.

Да, в первые недели Уманской ямы фашисты применили хитроумный маневр: передали через громкоговорители, что должны объявиться красноармейцы — жители сел, оккупированных немецкой армией. Их ждут в комендатуре. Одновременно был подкинут слух (фашисты умели использовать слухи): они будут распущены по домам!

Фашистская разведка давно интересовалась нашими порядками, уж конечно, ей было известно, что по существующему правилу призывники проходили срочную службу вдали от дома.

Следовательно, сентиментальный пропагандистский трюк с возвращением осчастливленных украинцев в родные хаты не должен был коснуться основной массы военнопленных.

А придумано было хитро!

Это была первичная регистрация (ведь в августе еще не составляли списков), способ выявления коммунистов, комиссаров, советских работников — всех, кто подлежал неременному уничтожению.

Расчет был психологически верен: именно эти люди будут первыми искать любой возможности вырваться из-за колючей проволоки.

Проводился короткий, но достаточно подлый и опасный экзамен: скажи «паляныця», «било телятко». Знает ли украинский язык? Назови села, расположенные вокруг твоего родного села. Названия колхозов? Фамилии соседей?

Экзаменаторы, прибывшие с Запада украинские националисты с желто-голубыми повязками на рукавах, были, пожалуй, опытными психологами либо считали себя таковыми. Во всяком случае, для того чтобы выдать себя за местного украинца, чтобы обмануть этих гестаповских наемников, надо было хорошо подготовиться, умело сыграть роль простака.

Подозрительных охаживали кулаком и плеткой и тут же передавали в руки гестаповцев.

Не каждый день, но все же отпускали после проверки десятков-другой «местных жителей».

Они шагали к оплетенным колючей проволокой воротам лагеря, опасливо посматривали по сторонам — вдруг разоблачится их обман, только бы успеть выбраться на волю.

А навстречу им в ворота лагеря загоняли схваченных в дубравах, задержанных в оврагах, собранных по хатам раненых и больных.

Несколько человек отпускали, несколько десятков расстреливали, другие умирали от ран и болезней, а в ворота вступали все новые и новые колонны.

Отпущенному выдавался на руки документ — «аусвайс» с именем и фамилией, с адресом «освобожденного села», куда он направляется «для ведения осенних сельскохозяйственных работ». Владелец «аусвайса» должен предъявить бумагу немецкому коменданту и старосте, а потом регулярно отмечаться в полиции.

В комендатуру лагеря обращались старики: отдайте сына на поруки; или женщины: отпустите раненого мужа или брата. Уманчане бесстрашно, зная, что часовые могут выстрелить, подходили к воротам лагеря, всеми способами стараясь вырвать воинов из рук врага. К чести уманчан и колхозников окрестных сел надо сказать, что чаще всего они просили не за сынов и не за «чоловиков», а за вовсе незнакомых людей. Случалось, что обман удавался — граждане Умани возвращали воинов в строй.

Враги отпускали горстку пленных отнюдь не из гуманных соображений.

Они все еще были уверены, что война вот-вот закончится, Советский Союз будет стерт с карты Истории и в колониях, управляемых высшей расой, останутся отобранные для рабского труда наиболее физически здоровые унтерменши (недочеловеки) — эти русские, украинцы, белорусы, грузины.

Нечего медлить! Пусть бывшие красноармейцы из навсегда разбитой (они так думали) армии пока подкормятся за свой счет и соберут для великой Германии богатый урожай 1941 года. По мере захвата новых и новых земель на Востоке (это дело дней!) страна сама превратится в гигантский лагерь рабов.

На третий, на четвертый месяц войны даже в одурманенных успехах головах нацистов зашевелилось сомнение: уж не обманули ли они самих себя?

Бежавшие из лагерей и отпущенные с «аусвайсами» пополнили ряды партизан и подпольщиков. Не все, разумеется, но многие. Да и на тех, кто пошел служить в полицию

и администрацию, врагам тоже не удавалось опереться: одни оказывались связанными с подпольем, других патриоты безжалостно казнили.

По селам прошли облавы: распущенных по домам добренькой немецкой армией, «обманутых большевиками» селян стали вновь водворять за колючую проволоку или отправлять в Германию вместе с подростками на ка-торгу.

Знаю я все это, сам знаю. Не так уж я наивен, как это кажется Фолькеру фон Тёрне, бледнолицему сыну палача, подавленному тяжестью немецкой вины.

И все же его объяснение первоначальных порядков, вернее, беспорядка Уманской ямы более или менее достоверно.

Почему же все-таки гитлеровцы упустили из виду, что военнопленных надо кормить?

Увы, тут уж Фолькер фон Тёрне проявляет некоторую неосведомленность. Они не упустили из виду, не ошиблись в расчетах.

Они запланировали голод!

Будущий подсудимый Нюрнбергского международного трибунала, один из главарей гитлеровского государства (он так и назывался «рейхсляйтер»), Альфред Розенберг, предвкушая захват наших богатств, заявил за два дня до нападения Германии на СССР: «Мы не берем на себя никакого обязательства по поводу того, чтобы кормить русский народ продуктами из этих областей изобилия».

Раз уж завели мы такой разговор, задам еще вопрос:

— Немцы — такие аккуратные, брезгливые, не правда ли, а вот допустили вшивый и червивый кошмар, эпидемии. В России давным-давно был просто забыт тиф — он вновь возник именно в лагерях военнопленных.

— Если со снабжением пленных продовольствием вермахт не торопился, то на возникновение вшивости отреагировал немедленно. Вошь была зачислена в союзники, ставились даже научные опыты по ее размножению и распространению.

— Почему? Зачем? Ведь даже в безумии есть свой смысл?

Мой печальный собеседник вразумляет меня:

— Медики-палачи быстро сообразили, что концлагеря на оккупированной территории можно без особых усилий и затрат превратить в котлы, где будут вариться эпидемии, превратить в рассадники и надежные распространители

тифа. Солдата, зараженного тифом, хорошо и облагодетельствовать — отпустить домой. Пусть он догонит свою отступающую армию и перезаразит побольше красноармейцев.

Признаться, мне стало не по себе от такого простого объяснения, хотя я все это знаю.

А фон Тёрне добавил:

— Возникал вопрос и о чуме как наиболее верном и удачном способе уничтожения ваших людей. Но из опасения, что чума перекинется на немцев, этот способ был отвергнут.

В дальнейшем большинство лагерей перекочевало на территорию Германии. Продолжались казни, но с маниакальной плановостью вокруг бараков проводилась дезинфекция: боялись, что болезни переползут в немецкие города.

Зато в лагерях, оставшихся и в тех или иных обстоятельствах возникавших на советской территории, еще оккупированной врагом, вошь и тиф культивировались и распространялись прилежно, на научной основе. При освобождении Белоруссии я был свидетелем преступной акции заражения жителей тифом в районах Паричи и Озаричи...

Вот, оказывается, где зарождалась античеловеческая доктрина бактериологической войны, ныне вынашиваемая американской военщиной.

Я видел во Вьетнаме отравленные колодцы, разговаривал в Ханое с интернированными американскими летчиками. Они не отрицали, что не только бросали бомбы и лили напалм, но и развеивали вещества, смертоносные для джунглей и отравляющие людей («оранжевый реактив»).

Кто из американских поэтов станет секретарем организации искупления их вины?

Этот вопрос мы задаем уже вместе с Фолькером фон Тёрне...

В заключение этой главы хочу поближе познакомить читателя с Фолькером фон Тёрне. Он дал мне свое стихотворение, опубликованное в западноберлинском журнале. Оно называется «Раздумья в мае». Я перевел это суровое стихотворение:

Я говорю о себе: Фолькер фон Тёрне

Родился в тридцать четвертом году XX века,

Когда мои товарищи уже сражались против убийц,

А убийцы считали меня себе подобным —
Будущим убийцей.

Я пил молоко,
Отнятое у голодных,
Носил одежду,
Сорванную с плеч моих братьев.
Читал книги,
Воспевающие и оправдывающие разбой.
Слушал речи,
Призывающие к убийству...
Обыкновенную бойню
Я называл своей родиной.

Когда уже восставали народы
Против захватчиков и убийц,
Я молился за неправую победу
Зверей, города превращавших в пепел,
И беспечно вдыхал
Сладкий запах цветущих лип.
Но в смерти каждого Человека
Был я виновен!

Да, многое изменилось за прошедшие годы. Подросли новые поколения. А сейчас по улицам городов Федеративной Республики Германии шагают демонстранты, протестующие против размещения американских ракет средней дальности.

Враги на посту

В конце июля 1941 года из района Умани удалось эвакуировать за Днепр, а затем и в тыл страны часть раненых бойцов и командиров 6-й и 12-й армий. Эвакуация проходила тяжело — уже невозможно было воспользоваться железной дорогой; автомашины и повозки двигались по разбомбленным и размытым дождем грейдерам, беззащитные при налетах вражеской авиации. И все же тысячи жизней были спасены.

Но самые кровопролитные бои произошли на этом участке фронта в последнюю неделю июля и в начале августа, уже в полуокружении и в полнейшем окружении. Не только дивизионные медпункты, но и госпитали, разумеется, оставались в зоне боев и непрерывно пополнялись новыми ранеными. Не хватало перевязочных средств и лекарств, невозможно было развернуть по-настоящему операционные и перевязочные.

После гибели наших двух армий в руках врага оказались эти полевые лазареты, размещавшиеся в палатках, в зданиях сельских больниц и школ, а то и просто в хатах.

Мне сказал тогда знакомый военврач третьего ранга из медсанбата танковой дивизии, что медики еще в Подвысоком приняли решение оставаться при раненых, чего бы это ни стоило. В условиях, когда приказ «выходить мелкими группами, действуя по своему усмотрению» освобождал командиров от их должностных обязанностей, решение врачей становилось маленьким, а может быть, и великим подвигом. Некоторые из медиков определенно знали, что обрекают себя на гибель, но совесть не позволила им изменить долгу врача, клятве Гиппократова и товарищескому уговору.

Среди материалов Подвысоцкого народного музея и писем, адресованных мне, немало свидетельств героизма наших военных врачей.

Ветеран партии, пенсионерка Елена Петровна Довженок из Запорожья прислала довоенную фотографию

своего брата Бориса Россика. Я всматриваюсь в черты юного красивого лица, думаю: а может, это он перебинтовал мне руку в Уманской яме?

Из письма жителя Волгодонска Василия Ивановича Сысоева Елена Петровна узнала о подвиге и гибели своего брата. Вот что писал Сысоев:

«Я познакомился с ним осенью 1941 года в больничной палате в селе Тальное, что в 45 километрах от Умани. Из рассказов Бориса я понял, что он попал в окружение в районе села Подвысокое и вместе с ранеными, взятыми в плен, при которых он остался как врач, был брошен в Уманскую яму. Там работала небольшая группа наших врачей-патриотов. Борис Россик собирал, добывал у здоровых пленных индивидуальные пакеты, чтобы перевязывать раненых, пытался хоть как-то организовать питание несчастных. Гнилое просо, пшено, картофельные очистки все-таки варили. Он все отдавал раненым, а сам дошел до крайней степени истощения. У него атрофировался пищеварительный тракт. Как врач, он должен был знать, в каком состоянии находится».

Из Умани умирающий Россик попал в Тальновскую больницу.

Василий Иванович Сысоев вспоминает Тальновскую больницу. Оккупанты отказались помогать больным и тяжело раненым, все заботы о них взяли на себя местные жители и пленные врачи. Выпускник Ленинградской военно-медицинской академии Буткин делал все, чтобы спасти жизнь своего коллеги Бориса Россика. Его пытались кормить, но пища уже не усваивалась организмом, и вскоре Россик скончался от дистрофии.

Бывший пограничник с 12-й заставы 97-го погранотряда Николай Арсеньевич Базанов, живущий ныне в городе Калининe, вспоминает, как восемь суток держались на рубеже страны его товарищи, как отходили последними, как бы отодвигая временно границу в глубь страны, как уничтожали вражеские десанты. В схватке с диверсантами пограничник был ранен в голову и пришел в себя в медпункте № 47, дислоцировавшемся в клубе села Подвысокое. Это было в конце июля. Раненые лежали на соломе в зрительном зале, а на сцене клуба была оборудована операционная.

7 августа в зал клуба ворвались фашисты.

«Они шагали по нашим телам, что-то орали, стреляли в потолок. И вот к ним со сцены (операционной) бросился наш хирург с пограничными петлицами, военврач третьего

ранга — фамилию его никак не могу вспомнить. Этот врач встал на защиту нас, раненых, стал что-то кричать немецкому офицеру. Фашист ударил врача, а он ответил фашисту сильным ударом в лицо. Врача вытащили из зала клуба, больше мы его здесь не видели¹.

Мы, раненые, стали пленными. Весь обслуживающий персонал остался наш, советский. Врачи и санитары ходили по полю недавнего боя, собирали на земле все, что могло бы пригодиться для нашего лечения (конвоиры отпускали их для сбора индивидуальных пакетов, они могли бы бежать, но возвращались). Особо много для облегчения нашей участи делал врач Бондарев Иван. Он говорил, что в 1941 году окончил в Ленинграде медицинскую академию». (Я навел справки о Бондареве. Да, он закончил перед войной академию, с первого дня был на фронте — далее след его теряется.— *Е. Д.*)

Николай Арсеньевич Базанов побывал и в Уманской яме, и в других лагерях, дважды бежал и лишь в 1943 году вернулся в строй, чтобы дойти до Победы...

Многие товарищи писали мне о героизме врача 80-й стрелковой дивизии Марии Михайловны Стешенко.

Наступил в Подвысоком такой момент, когда в бой пошли и врачи, и медсестры, и раненые. Командир медсанбата Владимир Коваленко не выдержал — застрелился, пришлось Марии Стешенко возглавить медсанбат на переднем крае. С первого по четвертое августа на опушке Зеленой брамы стояла насмерть батарея капитана Григория Густилина. У батарейцев имелось одно преимущество: врачи находились рядом, перевязывали раненых немедленно. Снаряды кончились, был смертельно ранен Густилин. Мария Михайловна оказала ему первую и, увы, последнюю помощь...

Мария Михайловна пишет об этом капитане: «Раненный осколком в живот, он был удивительно спокоен, верил в победу. Умер он в селе Подвысокое, куда я успела его эвакуировать. После войны я посетила семью Г. Густилина в городе Артемовске, даже ездила на свадьбу его сына Леонида. Мальчик очень похож на отца...»

После 13 августа немцы стали свозить раненых с полей и из сел в районные центры. Один такой сборный пункт был в Голованевске, на скотном дворе «Заготконторы»,

¹ После обнародования этого факта Н. А. Базанов получил несколько писем от товарищей по 97-му отряду и по Подвысокому. Они помогли ему вспомнить фамилию непреклонного врача. Это был военврач 3-го ранга Танцура.— *Е. Д.*

на соломе. Вместе с ранеными пришла в лагерь под видом санитарки военврач Стешенко. В складках ее юбки был зашит орден Красной Звезды, полученный еще на Карельском перешейке в сороковом году. Мария Михайловна сберегла свою боевую награду, а после выхода из окружения, в новых боях, к ней прибавились еще два ордена.

Когда в конце августа все раненые были отправлены в Умань, мнимая санитарка исчезла из Голованевска. Она перешла линию фронта возле станции Лозовая.

Мария Михайловна и ныне несет почетную службу врача в Первомайске, неподалеку от тех мест, где хлебнула лиха в сорок первом...

Но далеко не всем так повезло, как Марии Стешенко, далеко не всем удалось добраться до линии фронта и перейти ее. Впрочем, были врачи, которые к этому не стремились, считали, что их место, их боевая позиция — здесь, в лагерных лазаретах («ревирах») либо в сельских больничках, где условия содержания раненых и больных были невероятно тяжелы.

Мало кто из них, кадровых военврачей, вышел из этих мест, имел поблизости какую-нибудь родню. Нет, родным домом их была Красная Армия.

Немногочисленные местные сельские врачи и фельдшеры в кратчайший срок нашли общий язык со своими армейскими коллегами и всячески содействовали их внедрению в новую обстановку, укрывали от жандармов, полицейских, всевозможных администраторов, хлынувших из Германии в завоеванную будущую колонию великого рейха.

Я получил десятки, а может быть, сотни писем, в которых повествуется о благородной деятельности персонала сельских медицинских пунктов, больниц или околотков Новоархангельска, Подвысокого, Голованевска, Тального и других населенных пунктов.

Больше всего рассказов — о селе Дубовое, где действовал специальный хирургический пункт для подпольщиков и партизан. Там трудились выбравшийся из Бориспольского концлагеря хирург Владимир Антонович Мороз и хирургическая сестра Евгения Андреевна Романенко, участники подпольной организации врачей и фармацевтов «За Советскую власть».

Они лечили раненых — это была подготовка кадров для партизанского отряда.

Живет в Умани память о враче-подпольщике Борисе Михайловиче Марковиче, человеке, не страшившемся риска.

Вот одно из скромных его дел, спасших, однако, жизнь многим командирам и комиссарам. Их опознавали немцы по прическам — рядовых у нас стригли под машинку. Через уманчанок, поступивших на работу в «яму», Маркович добыл парикмахерскую машинку и наголо остриг своих товарищей. Многим удалось скрыться при этой маскировке.

Войдя в доверие к оккупантам, Маркович и другие медики из его группы выбрались из лагеря, направились работать в район, в Цыбулевскую больницу, ставшую постепенно партизанским госпиталем.

В конце 1943 года Маркович был арестован и замучен в гестапо. Но его сотрудникам удалось спастись и пробраться к партизанам.

Помнят в Умани интенданта 3-го ранга фармацевта Александра Сомова. Его группа снабжала партизан медикаментами, она под его началом постепенно выросла в подпольную организацию, распространилась на несколько районов.

Сомов был казнен врагами накануне освобождения Умани...

Накапливая и сопоставляя материалы о благородной деятельности медицинских работников в Уманском лагере и окрестных селах, я много думал о том, что советские медики, не имея единой организации, действовали единообразно, словно бы по плану, по четкой инструкции.

А может быть, гуманнейшая профессия врача определяет линию поведения? К сожалению, история двадцатого века полностью опровергает подобную мысль: фашистские хирурги производили варварские опыты над своими жертвами, берлинские бактериологи прививали пленным страшные болезни. Впрочем, у них в более поздние времена нашлись последователи в заокеанских лабораториях. Так что дело не в самой профессии — она, оказывается, может обернуться и палачеством.

Советскими врачами руководила просто совесть, просто клятва Гиппократа. Они считают, что поступали нормально, не больше. Но и не меньше. Это были советские врачи — вот самое краткое и исчерпывающее пояснение.

Я побывал в интереснейшем, с блестящей экспозицией музее медицины в Киеве и огорчен, что не увидел материалов об участии медиков в подпольной борьбе на оккупированных территориях. Это одна из прекрасных страниц истории медицины.

В поисках участников событий я познакомился с советским ученым-инфекционистом Григорием Петровичем

Угловым, врачом 44-й дивизии, насмерть стоявшей и погибшей в Зеленой бреме.

Григорий Петрович оказался задиристым, метким на слово, не старым еще человеком. Предупредил, чуть окая:

— Простите, если не совсем литературно разговариваю: я северянин, помор, у нас лексикон особенный.

Я опасался начала разговора — иные товарищи по несчастью сразу замыкаются, услышав название Подвысокое, — тяжело вспоминать. Поэтому разговор начал издалека, попросил рассказать о первом раненом, которому пришлось оказывать помощь. Когда и где это было?

— В 6 часов 12 минут 22 июня, сами понимаете, на границе. Молодой красноармеец срочной службы. Ранение в живот, но какое-то счастливое — пуля не затронула кишок. Такой я поставил диагноз, обрабатывая рану, — он позже подтвердился полностью. Красноармеец переживал, что ничего не успел на войне, а я его успокаивал — еще посчитаешься с врагом в бою... И тоже, кажется, не ошибся.

— И вы дошли до Зеленой браны?

— После тридцати семи дней непрерывных боев, похоронив и командира, и комиссара полка (комполка Плюхин воевал добровольцем в Испании), я оказался в Подвысоком, в должности старшего врача отделения армейского госпиталя, развернутого на опушке дубравы. Повышение получил.

Готовился прорыв из окружения, а нам было приказано остаться с тяжелоранеными. Прямо скажем, невелика была надежда, что нас выручат после успешного выхода из окружения, хотя разговор об этом шел, обещание такое давалось.

И вот немецкие мотоциклисты окружают госпиталь. Первое, что они сделали, — забрали и увезли все продукты со склада. Не очень поживились, но все подчистую взяли.

А тяжелораненых — 2170 человек, при них семь врачей и пятнадцать фельдшеров. Спасибо местным жителям — помогали, чем могли.

Еще свистели вокруг пули, а к госпиталю шли женщины села Подвысокого — с продуктами в узелках, с питьевой водой в кувшинах. Часовые отгоняли их прикладами, а они шли и шли, бесстрашные и удивительно спокойные.

Потом господа завоеватели мобилизовали этих женщин с подводами, чтобы везти раненых в Умань. Перед отправкой автоматчики прошли по палатам, поубивали нетранспортабельных — короткими очередями, прямо на койках, на топчанах, на соломе...

В Умани доктора Углового подержали неделю в «яме», а потом «выявили»: у него на петлицах оставалась эмблема — змейка, чаша эскулапа. Рядом со сказочным парком Софиевка размещался «ревир» номер 3 для советских военнопленных, туда и повели его. Немецкие врачи в палаты заходить боялись — это был ад: медикаментов и перевязочных средств нет, на тысячу человек один стерильный бинт в день, кровь, гной, на полу под ногами трещали вши.

— Удивительное дело,— вспоминает Григорий Петрович,— у раненых не было отчаяния. Говорили: вы нас вылечите, а Красная Армия выручит. А если придется долго ждать — пойдем партизанить.

Григорий Петрович разбирает свои бумаги, находит сшитые суровой ниткой разграфленные листочки — записано, сколько было раненых, сколько ежедневно умирало. Давайте посчитаем: за ноябрь и декабрь 1941 года из 2317 человек умерло 948.

Мы хоронили своих близ парка Софиевка. Составляли список: имя, фамилия, по возможности адрес — кто откуда. Списки помещали в бутылку и зарывали ее, как с тонущего корабля бросают письмо в волны.

Экскаваторщики, строители сегодняшней Умани! Будьте внимательны при закладке фундаментов новых зданий, при раскопках — в земле прах погибших и бутылки с поименными списками.

Если наткнетесь на братскую могилу, учтите — бутылка должна быть в левом углу ямы.

Я прошу Григория Петровича поведать мне, что он чувствовал, о чем думал в неволе.

— Боролось все внутри: убежать было сравнительно легко и так же рискованно, как находиться в плену,— жизнь человеческая ничего не стоила. Но тяжело было бы оставить на произвол судьбы больных. Вот почему я не торопился с побегом. Медперсонал, впрочем, не только лечил: связались с подпольем, с партизанами, помогали бежать выздоровевшим.

Помню такой случай: молодой старшина по имени Володя, раненный в живот, никак не давал мне осмотреть рану, отталкивал, сопротивлялся. Я увидел, что рана его перетянута толстой, красной, слишком широкой и ровной, чтобы быть лишь от крови красной, полосой материи. Я понял, что это полковое знамя. Предложил ему перепрятать знамя в надежное место, но он и слушать об этом не хотел. Так и лежал, перевязанный знаменем, и представьте, выздоровел. Мы помогли ему скрыться. Не знаю, удалось ли ему

выйти к своим. Напечатайте про этот случай, вдруг он жив, найдется! Володя. Четыре треугольника в петлицах...

Пришла пора и мне уходить,— говорит доктор Угловой.— В Умани скрывался у подпольщицы Шуры Коробкиной (гестаповцы казнили ее накануне возвращения наших войск). Долго выбирался к своим, вновь стал в строй, воевал, получил орден. После войны вел научную работу как инфекционист. Сколько эпидемий мы убили, задушили, искоренили! Это, я вам скажу, тоже война. А в Умани у меня была практика, я и сам тифом заболел.

В письмах, которые прислали мне участники битвы, говорится о многих медиках-героях.

Вспоминают добрым словом начсанарма-б, называвшегося в плену Радченко. Его расстреляли сразу в Подвысоком, а начальника госпиталя — женщину-военврача Тойберман — позже, в Виннице.

Один из лазаретов Подвысокого пришлось разместить в овчарне — в школе, в сараях, в хатах уже не оставалось места.

Когда врачи и часть раненых пошли на прорыв, самых тяжелых оставили под присмотром военфельдшера Марии Дуняшко. Вот что пишет один из чудом спасшихся:

«Молодая дивчина, совсем молодая, мужеству ее мы поражаемся... Она, рискуя жизнью, доставала у жителей еду, а главное, воду. Она одна была защитницей, а потом вернулись из неудавшегося прорыва врачи, и она им сдала своих раненых по всей форме, и сама тоже осталась в этом аду. А ведь девчонка, ей переодеться бы и смыться ничего не стоило!»

Я выбрал из многих воспоминаний и писем лишь самую малость воспоминаний о военных врачах. Верю: будет когда-нибудь создан мемориал в Подвысоком (место ему — на опушке брамы). И надеюсь, что ваятель не забудет увековечить и образ советского военного врача.

Советов, Знаменев, Сердюков

Уверен — как ни беспощадно уходящее время, будут еще найдены многие герои сражений сорок первого года, будут названы их имена, будут начертаны их фамилии на обелисках.

Ряды искателей множатся, круг поисков расширяется.

Но обстоятельства военных времен весьма усложнили нашу работу.

Боюсь, что многие подлинные имена восстановить чрезвычайно трудно, если не невозможно.

Уничтожение личных дел, списков, документов стало почти правилом в зажатых в клещи войсках; не без основания считалось, что враг воспользуется советскими документами в шпионских и провокационных целях, и их уничтожали в момент, казавшийся смертным часом. Живые искали в карманах гимнастеров погибших товарищей не только удостоверения, но даже письма: все забирали с собой. А как потом сложилась судьба этих совершенно правильно поступавших товарищей и однополчан?

Документы раненых хранились обычно в канцеляриях госпиталей. Долго ли существовали канцелярии?

Старались затеряться и скрыться в толпе командиры высокого ранга, с презрением отвергая преимущества, которые им сулили палачи. Не трусость руководила их поступками: они не желали доставлять радость врагу — еще один командир полка или дивизии схвачен. Это было еще и формой подготовки к побегу, а побег командиру куда трудней осуществить, чем рядовому. Скрывались комиссары и политуки, чтоб не отдать свои жизни так дешево и сразу.

Можно только порадоваться тому, что командиры были выявлены не все.

Командир 72-й стрелковой дивизии генерал-майор Павел Ивлианович Абрамидзе при выходе из леса переоделся, в плен попал в шоферском комбинезоне и довольно успешно выдавал себя за шофера. Его разоблачила какая-то сволочь. Бежать генералу уже не удалось, но несчастье свело его с замечательными людьми — с Карбышевым,

Шепетовым, Огурцовым, Тхором, Потаповым; он участвовал в лагерном подполье.

В довоенные времена 72-я стрелковая соседствовала со знаменитой 99-й дивизией, в бой они вступили одновременно в районе Перемышля. Плечо к плечу сражались эти соединения в Зеленой броне. И вот в плену комдив Абрамидзе вновь оказался рядом со своим прямым начальником — командиром 8-го корпуса Михаилом Георгиевичем Снеговым. Надо было продолжать воевать, и они продолжали — честно и бесстрашно. Опоздай освобождение на несколько часов, еще оставшиеся в живых подпольщики были бы неминуемо уничтожены эсэсовцами...

Ровесник века, Павел Ивлианович и ныне в строю — на военной кафедре Тбилисского университета.

Но продолжим воспоминание об Уманской яме. Я провел там десять или одиннадцать дней, и страшный хаос, еще царивший в августе, оказался для меня спасительным.

Помню трагические встречи с товарищами и знакомыми. Чувство стыда и общей униженности заставляло отводить глаза. Но хорошо запомнился первый вопрос, который задавали друг другу старые знакомые:

— Как тебя зовут? Кто ты по званию, по должности? Из какой ты части?

Подразумевалось, что будет названа (запомни непременно!) придуманная фамилия, по преимуществу украинская, соответственно новое имя и отчество, ну, еще и адрес «родного дома» — близлежащего села.

Очень распространена была версия: мол, я только что мобилизован в армию, человек сугубо гражданский, да и темноват, в какую часть попал, даже не успел узнать, а тут — окружение.

Хотя лишь немногие имели касательство к военной разведке и особому отделу, но легенды (все пионеры знают, что так называются придуманные для разведчиков и отработанные с максимальной правдоподобностью, оснащенные десятками тонких подробностей биографии и истории) составлялись искусно и заучивались тщательно, чтобы и во сне не выдать себя.

Ближе к осени абвер и гестапо стали наводить «порядок» в лагере, составлять списки, проводить проверки и переключки и, что всего хуже, изучать своих пленников, умело используя скрывавшихся врагов, уголовников, шкурников, а также малодушных и безвольных.

И все-таки очень многие товарищи, оказавшиеся в Уманской яме, сумели скрыть свои настоящие имена,

фамилии, должности, звания, но не в поисках личной безопасности, а для борьбы.

Удачно утаившись под выдуманным псевдонимом, эти смелые и честные люди сгорели в пламени войны дотла, и очень редко, чаще всего случайно, удается теперь найти их подлинные имена, их довоенные адреса. Получилось, что, скрывшись от врага, они скрылись и от своих — от потомков, от истории. Их безымянность — особая форма мужества.

Недавно я ознакомился с опубликованными в печати ГДР списками расстрелянных, замученных, повешенных, гильотинированных советских участников антифашистской борьбы, действовавших в концлагерях Маутхаузен, Дахау, а также в командах «острабочих». Участвовал в розысках документов и опубликовал их в нашей стране советский историк Е. А. Бродский.

Это далеко не полные списки, иногда случайно сохранившиеся отдельные страницы гестаповских архивов.

Отчетливо видно, что многие наши боевые товарищи жили и боролись в неволе под псевдонимами, ушли на казнь, не выдав своих подлинных имен.

В списках, составленных на основе тюремных документов, фигурирует немало фамилий, скорее всего придуманных, напоминающих о местожительстве или месте рождения: Федор Новгородский, Вениамин Мордовский, Михаил Камчаткин, Захар Донской.

Озорно выбранная, несомненно, ненастоящая фамилия — Севильский... А вот лагерная кличка — Петр Усатый.

Такого рода псевдонимы все же пусть в малой степени, но приоткрывают тайну — след Новгородского надо искать в Новгороде, а Мордовского — в Мордовской АССР. Севильский, возможно, был парикмахером, а Усатый наверняка носил усы. И все же — слабая, тончайшая, ненадежная ниточка!

А другие ушли на казнь под именами, наполненными глубочайшим смыслом, волнующим и свидетельствующим о неколебимой верности и гордости советского человека:

Советов...

Знаменев...

Мученик... (Псевдоним в духе предреволюционной демократической литературы: Скиталец, Батрак, наконец, Горький.)

Костриков... (Вспомним — это ведь подлинная фамилия Сергея Мироновича Кирова.)

Сердцов... (Напрашивается ассоциация с выбором, который сделал отец А. И. Герцена.)

А вот случай, когда выбор псевдонима уже таит в себе подвиг интернационалиста:

Владимир Тельманов!..

Тельманов и его соратники объединились для борьбы в 1943 году.

Об этом важно вспомнить потому, что одно время было мнение, будто советские люди бездействовали в фашистской неволе, поднимались на борьбу, когда уже были слышны выстрелы наших и союзнических орудий.

Тельманов и Костриков, Советов и Знаменев всходили на эшафоты с пением «Интернационала». Быть может, их дети и внуки никогда не узнают, что это пропавшие без вести их отцы и деды.

Известно лишь, что там сражались и умирали воины из-под Смоленска и Севастополя, Киева и Одессы, были там и воины из Зеленой браны...

Дивизия город не оставила

Не выходящая из боя с первого дня войны 169-я стрелковая дивизия в конце июля 1941 года сражалась близ города Первомайска на Украине. Имея задачу помочь войскам 6-й и 12-й армий, прорывавшимся на Первомайск, дивизия сама оказалась в кольце, понесла большие потери. На рубеже Первомайска погиб ее славный командир генерал-майор Федор Евдокимович Турунов.

В ожесточенных боях тех дней прошла по дивизии весть, что убит и командир отдельного саперного батальона капитан Иракий Церетели.

Теперь я знаю: мы с капитаном отходили от Львова на восток по одним дорогам. Батальон выполнял фортификационные работы на границе, когда напал враг, держался, сколько мог, а потом пришлось отходить, разыскивая основные силы дивизии. Лишь через месяц, уже на востоке Винничины, батальон воссоединился со своей 169-й, а вскоре потерял командира.

Капитан Иракий Церетели пришел в сознание — неизвестно, через сколько дней. Он лежал на глинобитном полу, на соломе. Шапка бинтов подсказала: ранен в голову. Попробовал встать и вновь повалился в ужасе: левой ноги нет...

Рядом — от стены до стены — лежали такие же бедолаги: кто без ноги, кто без рук. В дверном проеме — часовой, только не в нашей, но и не в немецкой, полевой светло-желтой форме, чернявый, смуглый.

Тяжелораненых перенесли в автобусы. Конвоируемые итальянцами, они были отправлены в город Первомайск. Впрочем, конвой мог не тревожиться — никто из охраняемых не сумел бы ступить и шагу, не то чтобы бежать.

Первомайск был занят немецкими, румынскими, итальянскими войсками, а наша 169-я дивизия все же сумела вырваться и отошла, соединившись с главными силами Южного фронта.

Раненых определили в городскую больницу; держали там под охраной, а выздоравливающих отправляли в лагерь.

На палату «обрубков» — безнадежных инвалидов, казалось, не обращали внимания. Местные жители приносили продукты; выбиваясь из сил, по суткам дежурили врачихи. Одна из них, Варвара Демьяновна, делая перевязку, тихо сказала капитану:

— Я вас знаю! Мой муж тоже из 169-й, был у вас в саперном батальоне политруком. Николай Гладких, может, помните... Он здесь.

Из разговоров с соседями по палате капитан Церетели понял, что все инвалиды тоже из 169-й: лейтенант Виктор Маевский (потерявший руку), рядовой Николай Елизаров с таким же увечьем, лейтенант Адольф Смолкин (без ноги), старший сержант Илья Евстифеев, весь израненный и вдобавок контуженный... В трагическом положении и состоянии они еще и шутили: комбат есть, лейтенанты есть, политруки, сержанты, рядовые,— значит, невеликое, а все же подразделение славной 169-й стрелковой дивизии. Лишь один товарищ по несчастью из местных — милиционер Яков Ашурков, тоже тяжелораненый. И опять шутили — для порядка нужен и милиционер. Больница, будем считать, медсанбат, мы команда выздоравливающих. Еще повоеюем!

Мучительно медленно шло заживление ран...

В октябре 1941-го ночью кто-то вошел в палату, спросил у лежавшего у двери: где капитан? Ираклий Церетели поднял веки. В незнакомце, одетом в крестьянскую куртку, комбат узнал своего замполита, батальонного комиссара Аптекмана.

Комиссар наклонился, горячо зашептал: «Счастлив, что ты жив, родной мой Ираклий, только тихо, не волнуйся». И вдруг перешел на официальный тон: «Вы командир части, член партии, надо действовать! Вам поручено развернуть большевистскую подпольную работу в Первомайске. Ждите связного от партизан. Пароль — «Брод». Сказал и исчез.

Лишь к зиме зажила культя у левого колена комбата, затянулись раны его товарищей, их направили не в лагерь, но в дом престарелых и инвалидов, что когда-то именовался просто богадельней. Там-то — закономерно, а все же невероятно! — создали инвалиды из 169-й дивизии подпольную организацию. Ираклий Церетели был выбран ее руководителем.

Комиссар батальона и связные с паролем «Брод» не приходили. Пришлось искать связи самим. Неоценимую помощь оказал Яков Ашурков.

Пользуясь старыми знакомствами, он разведаль-таки дорогу к партизанам Голованевского леса, связал Церетели с подпольными группами, действовавшими в Первомайске (с группой Ф. Загубелюка, с группой А. Камышникова).

Подпольщики из 169-й дивизии сколачивали актив, действуя по всем правилам конспирации: надо, чтоб одни жители города знали только Безрукого, другие — только Безногого. Вокруг инвалидов группировались целые семьи: мужья и жены, братья и сестры, даже дети. Собирали на остывшем поле боя оружие, чтобы передать партизанам; вели пропаганду, искали листовки, сбрасываемые с самолетов, переписывали их во многих экземплярах на листочках школьных тетрадок и доставляли по дворам; переправляли «окруженцев» в партизанский отряд; собирали информацию о противнике (капитан и другие инвалиды называли эти сведения по-военному «разведданные»).

Имелись три конспиративные квартиры, одна из них служила явкой для партизан: их представители пробирались из леса, наведывались за оружием, медикаментами, провиантом.

Иракий Церетели не забыл, что он офицер инженерных войск. Им была составлена памятка партизану-подрывнику «О правилах ведения и мерах предосторожности подрывных работ», столь необходимая партизанам.

Подпольщики умело использовали особую структуру города Первомайска, состоявшего из трех частей (не районов, а именно частей, так они и назывались): Ольвиополь, Голта, Богополь. В отличие от других оккупированных городов, невеликий Первомайск был разделен немцами, румынами, итальянцами на зоны оккупации. В каждой части города наводились свои порядки, что и облегчало и усложняло деятельность подпольщиков.

Церетели и его товарищам удалось даже проникнуть в лагерь военнопленных. Старший сержант Илья Евстифеев со своей группой организовал массовый побег из Ольвиопольского лагеря. Бежало человек 300! Этот опытный младший командир и в подполье соблюдал воинские порядки: все восемь товарищей, находившихся под его началом, были вооружены. Пулемет «максим» хранился в колхозной конюшне. На хуторе Вербовая был у них склад боеприпасов, оружия и патронов.

Пока 169-я героически сражалась и наступала (в 1942 году!) под Харьковом, обороняла Сталинград, участвовала в славных боях на Курской дуге, шагнула за Днепр и освобождала города Белоруссии, ее маленькое подразделение

под командованием комбата Ираклия Иосифовича Церетели вело тихий и смертельный бой на рубежах сорок первого года, в невеликом городе Первомайске, где сливаются реки Синюха и Южный Буг.

Согласно исторической справке, в группу (вместе с жителями города) входило около сорока человек и действовали подпольщики с конца сорок первого до марта сорок четвертого, то есть более двух лет.

Оккупанты дважды арестовывали Ираклия Церетели. Однажды увечье выручило — человек без ноги казался этим здоровенным негодьям бессильным, а потому неопасным. В другой раз...

Но я позволю себе привести рассказ лейтенанта в отставке, подпольщика Адольфа Смолкина, живущего ныне в городе Чимкенте.

Капитана арестовали румыны по подозрению в том, что он скрывает безногого Смолкина, называющего себя иным именем и фамилией. Ираклию Иосифовичу обмотали ноги, точнее, ногу, прикрутили к деревяшке колючей проволокой. Нечистый на руку конвоир, однако, задумчиво сказал, что, бывает, за деньги и из тюрьмы выходят.

И деньги были собраны местными жителями: семьей Тараповых — Марией и Михаилом (он тоже был инвалид), Марией Ягрнюк и другими подпольщиками.

О деятельности подпольной группы Церетели рассказал один из его славных сотоварищей Илья Андреевич Евстифеев, проживающий и ныне в Первомайске. Он подробно написал мне, как подпольщики вовлекли в свой круг работников мельницы. С их помощью удавалось не раз отправлять подводы с мешками в партизанский лес. Приходилось всячески изворачиваться, чтобы оправдать недостачу. Полицаям, охранявшим зерно и муку, сбъясняли, что продукты отправляют немецким начальникам, а проверить, так ли это, фашистским прислужникам было трудно.

Изобретательно работали! Пожалуй, ни один автор детективных повестей не придумал бы ситуаций, возникавших в Первомайске.

В 1942 году достали батарейный радиоприемник. Где его прятали? В конюшне колхоза имени Шевченко, переименованного оккупантами в «Грюнландвиртшафт». Его маскировали соломой в стойле, где содержались буйные племенные жеребцы, не подпускавшие к себе никого, кроме двух конюхов. Эти конюхи и принимали сводки Совинформбюро и передавали их для размножения на тетрадных листках и раздачи населению.

Вызволённых из лагеря военнопленных подпольщики не бросили на произвол судьбы. Многие остались в Первомайске, ушли в подполье и проходили обучение у Церетели — он инструктировал их по подрывному делу.

Ефстифеев восторженно говорит о характере Церетели, о его чудесном оптимизме: первые же встречи с комбатом подняли в Первомайске дух борьбы.

И все же оккупанты не могли себе представить, что группа инвалидов, оборванных и несчастных, — грозное подразделение славной стрелковой дивизии, подпольная организация, обладающая к тому же магнитной притягательной силой, — их вера в жизнь, их вера в победу поражали и покоряли, сливаясь с непреклонностью жителей зеленого Первомайска...

В марте 1944 года до Первомайска стали доноситься артиллерийские громы. Близилось освобождение.

Подпольщики усилили разведку, добыли и систематизировали важнейшие сведения о противнике: какие части пока еще в городе, но уже готовятся к отступлению и по каким дорогам; где замаскированы артиллерийские батареи; какие здания заминированы (схема); на каких рубежах будут обороняться арьергарды и многое другое.

За сбором данных, что называется с поличным, враги захватили подпольщика Якова Ашуркова. Герой успел за несколько минут до расстрела передать соседкам по улице важнейшие сведения. Они попали по назначению.

А руководитель группы Иракий Церетели, со спрятанной под одеждой картой с нанесенными по всем правилам данными, заковылял навстречу артиллерийским выстрелам. Его задачей было как можно раньше передать советскому командованию карту Первомайска, результаты разведки. Ему посчастливилось встретиться с передовой группой разведчиков знаменитой 13-й гвардейской стрелковой дивизии.

Написав эти строки, я позвонил по телефону старому другу полковнику в отставке Ивану Самчуку, начальнику штаба корпуса, куда входила 13-я.

— Какого числа вы освобождали Первомайск?

— Ночью разбуди, не ошибусь — 22 марта 1944 года.

— Трудно было?

— Как всегда... Грязища, распутица, противник сопротивлялся ожесточенно. Форсирование Южного Буга, ну, сам понимаешь. Тебе, может, будет интересно — к нам в руки попала карта со всей обстановкой в Первомайске.

Подпольщики ее приготовили и успели вовремя передать разведке одного из полков 13-й! Очень здорово пригодились!

Так капитан Ираклий Церетели передал из сорок первого в сорок четвертый год от 169-й стрелковой дивизии 13-й гвардейской эстафету на рубеже города Первомайска.

Я обратился к своему собрату — одному из грузинских поэтов, просил найти Ираклия Церетели, разузнать о нем.

Вот такая история пришла ко мне из Тбилиси.

Осенью 1945 года в Тбилиси вернулся демобилизованный майор Ираклий Иосифович Церетели. Демобилизовали его в Киевском военном округе по общему приказу. В «характеристике по демобилизации» говорилось, что «войну он прошел в должности командира части, энергичный, инициативный, волевой командир инженерных войск. Умеет организованно обеспечить принятое решение. Награжден орденом».

Заключительные строки характеристики: «Может быть использован на ответственной партийной и советской работах».

Майор был стройный, подтянутый, не пользовался ни палкой, ни костылем, стараясь, чтоб никто не заметил, что он на протезе. Он поступил на работу — инженером по сельхозтехнике, получил комнатку, женился.

Ни сослуживцы, ни друзья, ни родственники, ни даже жена не знали подробностей боевого пути майора. Он не любил рассказывать о себе, на вопросы отвечал лаконично: «Воевал, как все»; «Награды? Да, награжден двумя орденами...»

В семье Церетели уже отметили серебряную свадьбу, когда в дом стали приходить письма из города Первомайска, что стоит при слиянии реки Синюхи с Южным Бугом: из горкома партии, от школьников, от краеведа Николая Андреевича Кузнецова и директора музея Романа Васильевича Кучерявого.

Николай Кузнецов в долгих поисках обнаружил следы подпольщиков из 169-й дивизии и опубликовал в газете «Прибужский коммунар» статью «Загадочный капитан», вызвавшую бурный отклик: оказывается, в Первомайске многие помнят Ираклия Церетели.

Лишь из этих писем узнала жена героя Лиля Александровна о боевом пути своего мужа. Он сначала и показывать их не хотел, но пришлось показать, когда он поручил ей перестукать на машинке свои ответы.

В 1976 году Ираклий Иосифович приезжал в Первомайск, встретился со своими товарищами по подпольной борьбе и шутя сказал им: «Ну, вот и таинственный капитан!»

Взволнованный этой историей, я собрался в Тбилиси, мечтая встретиться с этим удивительным человеком. Но не получил ответа на письма, а вскоре узнал, что они уже не застали Ираклия Церетели: старые раны преждевременно оборвали его жизнь.

Но жив его подвиг, его имя и образ воина-комбата, от имени 169-й дивизии не оставившего город Первомайск в трудные годы.

Легенда о яблоках и зернах пшеницы

История, которую я сейчас расскажу, вернее, две истории о двух войнах Зеленой браны, к сожалению, не легенда. Почему я жалею об этом?

Потому что, рассказывая я легенду, мне было б дозволено самим жанром что-то присочинить, пририсовать, а может, и — грешным делом — приукрасить.

И вошли бы в мой рассказ, а то и не вошли, а вбежали два старых товарища, стройные, красивые, молодые (так просто в легенде остановить человеческий возраст, а герои остаются молодыми лишь тогда, когда отдали будущей победе все, до последней капли крови...).

Легенда — в данном случае — название условное.

Люди, о которых я обязан вам поведать, если и доберутся вновь до Подвысокого через четыре десятка лет, то не смогут вбежать и с трудом войдут в хату, которую они запомнили тогда, память о которой пронесли через всю свою нелегкую, но чистую жизнь.

Они могут лишь, выбрав хороший, сухой летний месяц, предпринять далекое путешествие до опушки Зеленой браны и въехать в село на своих полученных в отделе социального обеспечения малолитражных автомобилях «Запорожец» с ручным управлением. И выйти из машин им будет и сложно, и боль прижмет, но они и виду не подадут, постараются улыбаться беспечно: ну, наконец-то собрались и махнули в памятные места, представьте, и дорога оказалась не такой далекой... Один из Абхазии приедет, другой из Дагестана.

Рассказ начинается издалека. Разумеется, из Подвысокого.

В 1970 году летом ученик 8-го класса Подвысоцкой средней школы Коля Буйвол (это тогда он был Коля, а теперь уж, поди, только Николаем его и величают) пошел в дубраву гулять, заметил на коре дерева зарубку — очень старую, с оплывшими краями.

Красные следопыты привыкли примечать и искать разгадку подобных знаков. Неудивительно, что мальчик

разглядел в зарубке стрелочку, указатель, сделал несколько шагов в правильном направлении и принялся копать землю.

Он снял в одном только месте совсем невеликий слой земли, тот самый, который называют культурным слоем, и увидел край клеенчатого чехла.

Из земли им было извлечено хорошо сохранившееся в чехле алое с золотыми буквами боевое знамя: «60-й отдельный Кавказский саперный батальон».

Надо сказать, что это не первая находка: и раньше в броне и на окрестных полях находили реликвии той далекой битвы. Интересно то, что находки бывали только случайные: если искали, все словно пряталось под землю!

Знамя пронесли перед строем на пионерской линейке.

Его появление тревожило, волновало, бередило души.

Неужели никого не осталось из состава отдельного 60-го саперного батальона?

А все ж есть направление для поиска: батальон имел наименование Кавказского.

Пионеры разослали письма в редакции газет Закавказских республик и Северного Кавказа: может быть, откликнутся ветераны-саперы.

Метод оказался правильным.

Удалось узнать, что батальон хоть и именовался отдельным, но воевал вместе с 141-й стрелковой дивизией, той самой, которой командовал генерал Яков Иванович Тонконогов.

Пришло письмо из Дагестана от бывшего сержанта Данияла Гафизова.

Больно резанули по сердцам его слова:

«Половина моего тела осталась на родной мне украинской земле, я всегда сердцем там, где пролил кровь, где терял боевых друзей...»

Половина тела осталась...

Увы, это не образ, не фраза, не строка из дагестанской поэзии.

Даниял Гафизов вырвался из августовского окружения, участвовал в освобождении Украины от захватчиков и в наступательном бою получил тяжелое ранение, лишился обеих ног.

В дни празднования тридцатилетия победы над фашизмом прибыла в почтовое отделение Подвысокое посылка, на вес легкая, а все же не письмо, а именно посылка.

Школьники распечатали сверток. Оказывается, Гафизов прислал горсть дагестанской земли и тридцать зерен пшеницы, выращенной им на горном склоне, на каменистой почве.

Горсть земли и горсточка зерна — чтобы породниться.

Собрался совет музея. Постановили: тридцать полученных от ветерана зерен посеять на пришкольной делянке и возле братской могилы. Там положено сажать цветы, но пусть прильнут к граниту и колосья.

Невелик был первый урожай, но существует прекрасный закон зерна и закон сеятеля: в первый же август, как золотая ракета, устремился ввысь колос — могучий, четырехгранный, ровный, зернышко к зернышку, а если их сосчитать, в каждом колосе не меньше ста, значит, будет три тысячи дагестанских зерен на первый год, а на второй — триста тысяч, а на третий — тридцать миллионов.

Из первых трех тысяч отобрали тридцать полновесных гафизовских зерен и вернули в музей, чтоб хранились они как дорогой экспонат всегда. Говорят, зерно сохраняет жизнь свою тысячи лет. А всю прибавку замешали в семенной фонд колхоза «Дружба», так что теперь един подвысоцкий и дагестанский хлеб.

Переписка новых поколений пионеров с Гафизовым продолжается, а рассказ мой о сыне Дагестана, обладающем такой поэтической душой, пусть перейдет теперь в новую правдивую легенду — о лейтенанте запаса горьковчанине Петре Ивановиче Грищенко, проживающем ныне в городе Сухуми, потому что для его здоровья именно сухумский климат необходим. А для души ему было необходимо съездить на Украину.

...Петр Грищенко оказался в августе 1941 года в Подвысоком вместе со своим 283-м корпусным артиллерийским полком, поддерживавшим огнем 99-ю дивизию в нескольких боях, в том числе и в последнем. А отходили они от самой границы.

Ночью 5 августа артиллеристы гоняли взад-вперед по Зеленобрамской улице тягачи, рассчитывая, что противник примет их за танки, идущие на прорыв. А тем временем основная колонна прорыва покидала село, двигаясь по улице Богдана Хмельницкого. Отвлекающий маневр артиллеристов был просто вызовом огня на себя. Это — и, к сожалению, только это — удалось Петру Грищенко и его товарищам. Под обстрел себя подставили, но существенной помощи главным силам 6-й и 12-й армий не оказали, да и не могли тогда оказать.

Когда ситуация стала безнадежной и оставалось только погибнуть в рукопашной схватке, контуженный и раненный в голову двадцатилетний лейтенант закопал во дворе хаты, а точнее, в саду полевую сумку с документами.

Он закапывал сумку, а вокруг шла беспорядочная стрельба, от ее грома до срока срывались наземь яблоки с деревьев... Старался запечатлеть в памяти это место, измерял взглядом и проверил шагами направление и расстояние — от угла хаты до места, где захоронена сумка.

Много тяжелого и страшного пришлось пережить Петру Грищенко, что вспоминать об этом. А все же ему повезло быть в рядах тех, кто штурмовал Берлин весной сорок пятого.

Увы, после долгой кочевки по госпиталям в сорок седьмом году он вернулся домой без ног. (Высокая ампутация бедер — так было определено при выписке.)

Долгие годы собирался Петр Иванович посетить места, где завершились первые пять недель непрерывного боя. Ему необходимо было вновь побывать здесь, его звала земля, где были зарыты и ждали его документы.

И вот на грейдере, ведущем в село и как бы разграничивающем поля и дубраву, опять появился «Запорожец» с ручным управлением. От Сухуми до Подвысокого близок ли путь? К счастью, осень стояла ясная, дороги твердые и не очень пыльные.

В селе он легко восстановил по памяти картину далекого сражения и нашел хату и сад, где ждала или не ждала его лейтенантская полевая сумка.

Второй раз познакомился он с хозяйкой хаты — оказалось, что зовут ее Ксенией Илларионовной, что фамилия ее Антошко и что фамилия эта и имя ее мужа — на обелиске памяти погибших граждан села Подвысокого.

Повспоминали, повздохали, помолчали...

А потом нежданный гость попросил у хозяйки лопату и двинулся в сад. Он уже не мог теперь шагами измерить расстояние, война отняла эту возможность. Но точен глаз артиллериста, ошибиться он не мог.

А на том месте, именно на том месте, где он закопал полевую сумку, стояла, широко раскинув отягощенные словно светящимися плодами ветви, прекрасная и могучая яблоня.

Смутное, труднообъяснимое чувство овладело Петром Ивановичем. Оно было окрашено скорей радостью, чем печалью. Он забыл давно, как чувствуют землю ступнями ног,

он ощущал ее тепло теперь всем телом, всем своим существом.

Правда, боли, в минуты особого волнения всегда мучившие ветерана, нахлынули с новой силой. У этих болей есть медицинское название — фантомные, то есть боли-призраки. Как могут болеть конечности, которых нет?

Грищенко отложил в сторону лопату. Нельзя ранить эту землю, нельзя потревожить корни прекрасного дерева, выросшего на его полевой сумке, да так, словно она и была тем зерном, из которого рождаются яблони.

Вот две истории о зернах и плодах. Мне кажется, я имею право объединить два случая и две судьбы, но не потому, что оба героя правдивой легенды приехали в Подвысокое на «Запорожцах» с ручным управлением.

А за то, что и Гафизов и Грищенко — люди такой трудной судьбы, мы ни у кого не будем просить прощения. В зоне, куда я привел тебя, читатель, в Зеленой бреме, не найдешь легких судеб и веселых сюжетов...

Думаю, что можно назвать эту правду легендой, а героев ее — легендарными.

Центр узнал

Один винницкий журналист рассказал мне историю, что называется, гражданскую-прегражданскую, мирную-премирную, имеющую лишь косвенное отношение к поиску следов и фактов героизма и мужества воинов 6-й и 12-й армий. В областной газете было упомянуто имя бывшего партизана Николая Иосифовича Сидоренко. Газета сообщила, что он ныне кандидат наук.

Газета ошиблась, упомянув о «кандидатстве», фактов не проверила. Сидоренко действительно занимался научной деятельностью, медленно и трудно готовил диссертацию, но кандидатом наук он тогда еще не стал. Случай, скажем прямо, не такой уж существенный. Неужели поправку давать, писать письмо в редакцию? Прочтут и забудут? Газета живет один день...

Ошибка журналиста причинила прямо-таки страдания Николаю Сидоренко. Никогда и никому, кроме гестаповцев, не лгавший воин, военнопленный и партизан был выбит из колеи, сильно расстроен, чтоб не сказать — сражен наповал. Он выглядел лгуном, хвастуном, бахвалом! Вдруг подумают, что это он дал о себе неверные сведения!

Как исправить ошибку газеты, как спасти свою честь? В Виннице, с которой связано столько трудного и важного, хорошего и светлого, теперь и показаться нельзя!

Сидоренко принимает решение — не медлить больше ни минуты, самым срочным образом готовить и защищать диссертацию.

Он оставляет обжитое местечко в Москве и отправляется в далекий северный город Воркуту. Не на день, не на месяц. Всерьез и надолго. Через три года диссертация, основанная на глубоком изучении северных угольных месторождений, была готова и защищена. Ученые признали работу эту отличной, защита прошла триумфально.

Таким вот способом исправил Николай Сидоренко ошибку журналиста, о которой тот, наверное, давным-давно и накрепко забыл. Дело шло о чести: вместе с диссертацией защитил Сидоренко и свою честь.

Характерец, скажу я вам! Впрочем, среди людей, с которыми мне приходилось встречаться на дорогах послевоенного поиска, немало удивительных по своей чистоте и прямоте натур. Совесть и честь на первом месте, все остальное лишь мелочи и подробности.

Я познакомился с Сидоренко как раз тогда, когда он вернулся из Винницы. Теперь уж он мог спокойно ездить в края своей партизанской юности и прямо смотреть людям в глаза. Во всяком случае, он так считал. Он показался мне человеком, знакомство с которым облагораживает. Я узнал, что он снова москвич, что у кандидата технических наук кроме боевого ордена и партизанской медали теперь еще и пять медалей Выставки достижений народного хозяйства. (Это редкие, трудно достигаемые и высокие награды.)

Захотелось мне написать о мужестве ученого, о пребывании моего нового знакомого за Полярным кругом в угольном бассейне, но, когда мы встретились, оказалось, что нам до конца жизни, наверное, не хватит времени на одни только военные воспоминания.

Николай Сидоренко, как говорят, крепко сбитый, малого роста, удивительно спокойный человек с добродушной улыбкой. По моим представлениям, он еще не стар: встретил войну восемнадцатилетним, так что остается приплюсовать пролетевшие годы, и с возрастом все будет ясно.

Он начал срочную службу в 173-й горнострелковой дивизии, в 352-м артиллерийском полку, и успел 22 июня со своим полком выдвинуться вперед к границе. Пришлось не по назначению применять 76-миллиметровые орудия: учили вести огонь по закрытым целям, а стрелять надо было прямой наводкой по движущимся танкам. И не просто движущимся, а ведущим огонь и набирающим скорости.

Мы вспомнили золотящуюся пшеницу с алыми капельками маков, вспомнили, что в первые дни почти в самом пекле боя можно было увидеть беспечных деревенских мальчишек, наблюдающих за единоборством танкистов с пушкарями, а если говорить обобщенно,— за смертельной схваткой двух миров.

Вспомнили горящий Тарнополь, Волочиск и Подволочиск, наконец, уманский уникальный парк Софиевка, куда артиллеристы между двумя очень нелегкими боями ходили на экскурсию, будто волшебством на час перенесаясь в недавние школьные времена.

Практически артиллеристы 352-го полка с 22 июня по 5 августа не выходили из боя, были на марше. Ни разу

не пришлось ночевать под крышей — только на боевых позициях, на батарее, на зарядных ящиках, сначала полных снарядами, а потом и пустых.

Как это ни странно, несмотря на очень тяжкие бои, потери были небольшие, а раненые оставались при орудиях. Я спросил Сидоренко, как это удавалось. Он отшутился: «Так дрались, что помирать было некогда! Все больше с танками схватывались».

Но впереди неизбежно была Зеленая брама.

В той дубраве закопаны замки орудий, замолкших, израсходовавших весь боекомплект и боезапас. Артиллеристы остались с одними винтовками. Неизвестный полковой комиссар собрал их в дубраве, объяснил обстановку, повел на выход из кольца...

В пешем строю сборный отряд — человек триста, может быть, чуть побольше — двинулся на юго-восток. Сидоренко пришлось впервые участвовать в рукопашной, впервые форсировал он вплавь реку. Мы разложили на моем письменном столе карту Кировоградской области. Вот она — река Синюха, какая тонкая синяя жилочка!

Но это на карте она такая, это сейчас она такая. А тогда она была не речкой, а водной преградой, была глубока, с быстрым и стремительным течением. И на противоположном берегу бронетранспортеры, минометы, пехота. Местность открытая, укрыться негде.

Все же Николаю Сидоренко удалось участвовать в рукопашной и на левом берегу Синюхи.

Потом образовалась группа; неизвестный комиссар, уже раненный, но неведомо как еще державшийся на ногах, спросил, есть ли среди них разведчик. Сидоренко ответил: «Есть. Только артиллерийский». — «Ну, ничего, действуй!»

Когда Николай вернулся из разведки в условленное место — овраг, змеящийся к реке, он не нашел уже свою группу. Один в поле не воин, — значит, надо выходить из окружения. Шел и все задавал себе один и тот же вопрос, верна ли эта поговорка — один в поле не воин?

Нет, не верна: ночью на шоссе услышал трескучий мотор, увидел мотающийся свет фары. Поднялся из кювета, вскинул винтовку, выстрелил по фаре, а попал, оказывается, в мотоциклиста. Мотоцикл покатился по дуге прямо в кювет и перевернулся в двух шагах от стрелявшего. Из коляски выскочил пулеметчик. Он, видимо, был ранен и находился в каком-то припадке ярости. Пришлось добить его прикладом...

...Как-то раз одиночный боец все же не справился с дикой усталостью, присел на просяном поле и тут же заснул. А поле прочесывали.

В лагере Гайсин, в старых полковых конюшнях (и я их помню, наверное, до конца дней не забуду) встретился Николай со своими товарищами по батарее. Теперь они были товарищами по неволе.

С другом-артиллеристом Иваном Пешко вместе бежали с этапа...

Дальше рассказ Николая может показаться невероятным. Но я обязан засвидетельствовать — сорок первый год полон чудес. И вот одно из них. Решив идти на север, в леса, беглецы вынуждены были остановиться в Калиновском районе Винницкой области. Иван заболел, а оставить товарища невозможно. И вот там, в глубоком немецком тылу, в местах, которым предназначено было вскоре стать особо секретной зоной оккупантов, существовал и работал свекловичный совхоз, полностью отвечая смыслу своего наименования — советское хозяйство.

Был и управляющий трестом, и директор, а рабочие — окруженцы 6-й и 12-й армий — многие еще в военной форме. Во всяком случае, артиллерист Сидоренко своего сержантского достоинства не уронил.

Оккупанты боялись появляться. Иногда наезжали полицаи, но они старались побыстрее убраться.

А для кого, на кого окруженцы работали? — предвижу законный вопрос и сразу отвечаю: на своих. Работали на Советскую власть и для того, чтобы чувствовалась она, Советская власть, здесь.

Когда задули зимние ветры, Сидоренко перебрался из совхозного общежития в село Самотня. Его приютили в семье Муржинских. Семидесятилетняя хозяйка Юлия Марьяновна встретила радушно. Ее любимым выражением было: мой дом — это кусочек Советской власти.

Нашлись его товарищи по 6-й и 12-й армиям, активно действовали местные жители — родился в Калиновском районе партизанский отряд. Комиссаром отряда стал Петр Каленикович Волынец, двадцатилетний красноармеец, тоже из 6-й армии, но к тому же еще и местный — уроженец села Павловка.

Партизаны действовали на свой страх и риск — не давали житья немецким гарнизонам, уничтожали полицаев, блокировали дороги. Они практически восстановили в районе Советскую власть.

Партизанское движение и подпольная борьба в Виннице и Винницкой области — очень большая и особая тема, и рассказ мой только об отряде, где находился Сидоренко, — одном из многих винницких отрядов.

На борьбу с партизанами и подпольщиками были брошены карательные отряды. Сидоренко попал в беду, когда находился в доме Муржинских. Крестьянская хата, как крепость, вела бой с врагами. Сколько их было — сказать трудно, но батальон карателей действовал там — это уж точно.

Лишь немногим, в том числе Николаю Сидоренко и сыну Муржинских Владиславу, удалось вырваться. Погибли советская патриотка Юлия Марьяновна и второй ее сын.

Много можно рассказывать о партизанах.

В одном из боев был тяжело ранен партизанский комиссар Петр Вольнец. Его отправили в родное село, выхаживали. Один из его родственников оказался предателем. Он привел карателей. Они окружили хату. Комиссар вел бой один, отстрелял все патроны до последнего.

Имя его не забыто: он посмертно удостоен звания Героя Советского Союза, в селе установлен памятник.

После гибели Вольнца партизаны сошлись на сход. Открытым голосованием избрали Николая Сидоренко комиссаром.

В общем-то малочисленный отряд, измотанный до последнего предела, вел не только местную, но и такую разведку, которую надо бы назвать стратегической: партизаны узнали, что где-то в Винницкой области руководство вермахта собирается разместить фронтовой командный пункт. Но надо было еще разобраться, уточнить место, проверить, не ложный ли слух. Слухов в то время — и достоверных и вздорных — хватало.

Однако в Коло-Михайловке под Винницей, в десяти километрах от совхоза, о котором речь шла выше, велось большое и строго засекреченное строительство. Разведчики заметили, что на военный аэродром вблизи Калиновки прилетают специальные самолеты, привозят генералов со свитой, по-видимому принадлежавших к высшим чинам. На легковых машинах прилетевшие отправляются в Коло-Михайловку.

Слухи, разведывательные данные, наблюдения местных жителей были тщательно проанализированы и проверены. Судя по всему, здесь располагалась восточная ставка Гитлера. Ни больше ни меньше.

В отряде накопились ценнейшие сведения, однако из-за отсутствия связи с Большой землей эти сведения пока оставались бесполезными. В том, как они необходимы нашему Верховному Главнокомандованию, сомнений не было. Партизаны маленького отряда приняли решение — срочно искать и установить связь с большими партизанскими соединениями, чтобы при их посредстве передать в Москву важнейшие разведданные.

Николай Сидоренко повел невеликий отряд — всего тринадцать человек — на север. На Житомирщине, в Городнянском районе, после долгого и опасного пути набрели на партизанское соединение полковника Якова Ивановича Мельника. Данные о ставке Гитлера под Винницей были переданы в Центр.

Я не могу сказать с определенностью, что именно от Николая Сидоренко и по материалам только его отряда советское командование узнало тайну «Волчьего логова» — местоположения ставки Гитлера на Украине. На Винничине действовало несколько отрядов, множество подпольных групп и организаций, в них входили и окруженцы 6-й и 12-й армий. Вполне вероятно, что сведения сошлись из нескольких источников, но именно это и сделало данные достоверными.

Ясно одно, что и после августа 1941 года продолжал честно нести воинскую службу артиллерийский разведчик 173-й горнострелковой дивизии Николай Сидоренко.

После освобождения пришлось партизану перейти на «гражданку»: его избрали первым секретарем Винницкого горкома комсомола. Война сделала его винничанином, и потому он так болезненно воспринял ошибку областной газеты, преждевременно назвавшей его кандидатом технических наук.

Легенда о Гансе Олесцаке, тельмановце

Хочу познакомить читателей с письмом, которое прислал из Умани незнакомый мне Александр Лаврович Данильченко (улица Крупской, дом 2). Он вспоминает, как в 1948 году ездил в село Небелівка, что близ Подвысокого, на родину своей жены. Письмо невелико, всего из трех фраз, причем вся история изложена вообще-то в одной фразе:

«И вот, как собрались все родственники, это было у сестры Устины Гребенник, хата ее в конце села, я взял свой баян и начал играть и спрашиваю, почему плачете, война давно кончилась, надо веселиться, и вот они начали мне рассказывать, какие там были бои, как действовали партизаны и всегда собирались у ихней хаты, и в этих партизанах был один молодой немец, его звали Ганс Олесцак, и он так хорошо играл на аккордеоне, как вы, но в одну ночь предатели донесли, что партизаны здесь, и наутро появились немецкие танки, но Ганс не дрогнул, он надел немецкого генерала мундир и вышел к ним навстречу, но тут же его встретила гитлеровская пуля, и он погиб, и хату сожгли, но люди и соседи похоронили Ганса на огороде, об этом знают старожилы и соседи, где жила Устина Гребенник, а сейчас живет ее дочка Лида.

Слава Гансу-тельмановцу!»

Вот какое было письмо! Некоторые детали в нем неправдоподобны, а все-таки придумать такую историю невозможно.

Обратимся к документам.

В фундаментальном научном исследовании «История городов и сел Украины» в статье о Подвысоком упоминается, что там в годы Великой Отечественной в партизанском отряде, которым командовали майор Суський, а после его гибели — Николай Стройков, воевал антифашист Ганс Олесцак. Он возглавлял группу бывших солдат вермахта — немцев и словаков.

Я связался с Николаем Стройковым, проживавшим в городе Ельце, и получил от него пожелтевшую копию отчета о деятельности партизанского отряда. Оказывается,

отряд этот возник в августе 1943 года, насчитывал поначалу лишь восемь человек и первой его базой было село Небеловка. Запомним: та самая Небеловка, где проживают родственники Александра Данильченко и где на огороде похоронен молодой немец, так хорошо игравший на аккордеоне.

В отчете рассказывается, как производилась раскопка оружия, зарытого в лесу окруженцами, как рос отряд за счет бывших военнопленных и местных жителей, как партизаны осуществили свое первое нападение на противника — отбили стадо коров, угоняемое гитлеровцами на запад. Этим коров раздали затем жителям сел, расположенных вблизи Зеленой браны.

Следующим было нападение на штабную машину немцев.

В отряде уже 30 человек. В нем, как в войсковой части, заведен «Журнал боевых действий». Записи в этом журнале ведутся с похвальной регулярностью.

Вот запись от 9 ноября 1943 года: «Прибыло пополнение в количестве десяти человек со станции Помошная, из них один немец — Ганс Олесцак, который помог в вооружении, привез их на автомашине и снабдил большим количеством консервированного питания и боеприпасами. Люди, прибывшие со станции Помошная, до розыска отряда двое суток жили в лесу. Грузовая машина была уничтожена».

Запись событий следующей ночи: между селом Теклиевка и Новоархангельском уничтожено три грузовых автомашины, одна легковая, в которой был взят железный сундук с документами штаба немецкой части.

Множатся ряды партизан. Возрастают и масштабы их боевых дел. В отчете фигурируют уже трехзначные цифры. Вот вновь появляется имя Ганса Олесцака:

«7 января 1944 года взято в плен около 300 человек. Чехи и словаки согласились перейти на нашу сторону. Командовали ими партизаны Ганс Олесцак и Борис Рачкован».

«13 января 1944 года в село Борщевая вошел немецкий обоз, был окружен и разбит, в качестве трофеев взято: подвод — 37, лошадей — 80, винтовок — 45, патронов — 14 800 шт., ручных пулеметов — 3, пистолетов — 20, походных кузниц — 2, одна походная сапожная мастерская. Фашистов убито 43. С нашей стороны убитых 2 чел., ранено 4. В бою отличились Федор Кондрашев и Ганс Олесцак...»

О том, как пришел Ганс в партизанский отряд, рассказала в своих воспоминаниях партизанка Валентина Михайловна Кривонос.

На станции Помошная, где она проживала у своих родителей с начала 1942 года, молодые ребята объединились в подпольную группу. Конспирируя свои встречи, придавали им видимость гулянок. Подпольщики распространяли сводки Советского информбюро, накапливали оружие, приступили к диверсиям на железной дороге и в депо.

Воспроизвожу рассказ Валентины Кривонос:

«Рядом с домом, где я жила, стоял другой двухэтажный дом, в котором жили немцы и чехи — шоферы, которые возили на фронт и в части оружие, горючее, питание и др.

К нам в дом стал приходиться Ганс Олесцак. Он познакомился с моей младшей сестричкой на улице, говорил, что она похожа на его сестру, напоминает ему его дом.

Портрет Ганса Олесцака: рост средний, спокойные голубые глаза, светлый волос, яркое очертание губ, прямой нос. Характер мягкий, добрый. Тогда ему было лет 20—22. Отец — рабочий, мать — домохозяйка, сестра Эрика — 16—17 лет, брат Эрвин — 15—16 лет. Ганс любил музыку, немного играл на аккордеоне. Он часто приходил к нам в дом в свободное время, сидел и молчал... Он немного знал чешских, польских и русских слов, а я — немецких. Стали с ним знакомиться, рассказывали о нашей жизни до войны, он — о своей семье и своей жизни. Ему очень нравилось, когда его называли русским именем Ванюша. Ганс рассказывал, что его отец — антифашист, потому им пришлось сменить местожительство при приходе Гитлера к власти. Отец не разрешал ему поступать в гитлерюгенд, поэтому он находится в рабочей команде как неблагонадежный.

Он нас очень стеснял, мы жили в одной комнате, здесь же плита, на которой готовили; первое время стеснялись при нем кушать, так как часто приходилось кушать такие вещи, что в настоящее время считаются несъедобными. Мы рассказывали ему о нашей жизни до войны, к чему он относился с недоверием, так как видел настоящую нищенскую жизнь и не мог себе представить, что мы жили кое в чем лучше, чем они. Со временем мы к нему привыкли и все делали, не обращая на него внимания. Когда ко мне приходили ребята, он затевал с ними разговор. Ребята первое время относились к нему враждебно и на меня сердились, что я не могу его отвадить, но моей маме он понравился, расположив ее к себе тем, что он с большой любовью рассказывал о своей семье, часто ей помогал по хозяйству, даже пол подметал, а когда мама угостила его нашей едой (как-то достали, верней, выменяли ячневой муки, и мама

испекла печенье), он стал приносить свой паек и просил маму готовить кушать всем. Мама не соглашалась, но он очень просил, и мама уступила, говоря: все равно это наши продукты.

Как-то я пришла домой очень расстроенная. В этот день увозили в Германию нашу молодежь, почти детей. Я упала на постель и стала плакать от всего виденного горя и своего бессилия. В это время пришел Ганс, я набросилась на него, ругая и проклиная фашизм. Я такая была страшная в своем гневе, что Ганс убежал. Когда я немного успокоилась, у меня родилась мысль, что он может пойти и рассказать своему офицеру: он же немец. Но страха не было, так переполняло душу горе.

Вечером пришел Ганс, встретили мы его настороженно, а он стал оправдываться перед нами, как будто хотел оправдаться за всю Германию. Стал просить, чтоб мы помогли ему остаться человеком, он сделает все, что мы от него потребуем. Тогда Александр Полтавчук дал ему пачку листовок и сказал, чтоб он разбросал их по селениям, где будет проезжать. Он это сделал, радовался и говорил: вот если бы узнал отец, он был бы рад, но писать ему об этом нельзя...»

Представьте себе, читатель, Помошную — большую по тем временам железнодорожную станцию и поселок при ней. Разрозненные группки комсомольцев, оставшихся по разным причинам и обстоятельствам на оккупированной территории, действуют на свой страх и риск, ища связи с партизанами. Они не имеют единого руководящего центра, не зарегистрированы в Украинском штабе партизанского движения, не получают ни от кого директив и заданий. Они просто по велению сердца выполняют свой комсомольский долг, долг советских людей, действуют подчас неуклюже, но в высшей степени благородно.

В послевоенные десятилетия открываются все новые и новые истории, подобные той, которую рассказала Валентина Кривонос. Ячейкой подпольной борьбы с фашизмом могла быть одна семья, несколько семей, проживающих по соседству, школьные товарищи.

Юноши и девушки, родившиеся при Советской власти, воспитанные на ее справедливых принципах, незаметно даже для самих себя оказались подготовленными к беззаветной борьбе. Их борьба с фашистскими захватчиками и была в конечном счете выполнением задания Коммунистической партии. Не на час, не на день — навсегда полученного.

Нельзя не восторгаться, не гордиться, не преклоняться перед верностью и беззаветностью воспитанных партией мальчиков и девочек.

Особой отличительной чертой иных подпольщиков — я делаю это заключение на основе ряда примеров — были непреклонность и бесстрашие. С какой-то легкостью (порой трагически оборачивавшейся беспечностью) иные подпольщики балансировали на острие ножа, словно из них вынули тот механизм, который где-то в таинственных глубинах подсознания управляет инстинктом самосохранения...

Но вернемся в Помошную.

Деятельность помошенских подпольщиков привлекла к себе внимание полиции и гестапо. Ребята стали замечать слежку. Потянувшаяся было ниточка к партизанам оборвалась, не завязавшись. Позже узнали: ближайший партизанский отряд был в те дни блокирован противником и вел тяжелейшие бои.

Ожесточились местные полицейские. Был арестован верный друг юных подпольщиков, работавший мастером в железнодорожном депо, немец-антифашист Герман Мюллер. Он помогал «запарывать» паровозы, поставленные на ремонт, похищал из вагонов и передавал подпольщикам оружие. До ареста ему верили. Но сумеет ли выдержать тюремные пытки?

(Я хочу успокоить читателей: Мюллер не подвел своих советских товарищей, выдержал все испытания. Ныне Мюллер живет в Карл-Маркс-Штадте, улица Ясвенга, дом 53. Буду в Германской Демократической Республике, непременно к нему заеду.)

Не страхом, а необходимостью сохранить подпольную группу объясняет Валентина Кривонос принятое самими подпольщиками решение: покинуть Помошную, пробираться к партизанам Зеленой браны. Уход сразу всей группой будет слишком заметен — полицейские и гестаповцы могут догнать, а выбираться по одному еще опасней, да и сохранится ли группа в этом случае?

У кого-то из ребят, работавших в депо, возникла дерзкая идея: уговорить Ганса Олесца увезти подпольщиков из Помошной в его крытом грузовике.

Как раз в эти тревожные дни к группе присоединилось несколько малознакомых молодых людей, попавших под наблюдение гестапо. Им тоже необходимо было скрыться.

Уговаривать Олесца не потребовалось: он же давно обещал Валентине и ее друзьям «сделать все, что надо и как

надо». Такое скорое его согласие показалось подозрительным и усилило тревогу. А Ганс тем временем готовился в дорогу: загрузил крытый кузов своей машины ящиками с патронами и консервами, под носом у часовых перетащил в нее из других машин оружие.

Ненастной ноябрьской ночью (как раз накануне 26-й годовщины Октябрьской революции) подпольщики стали выходить на окраину Помошной. Туда должен был подъехать Олесцак. Долго его ждали. Опять сомневались: «Неужели подведет?»

Наконец из темноты выкатилась машина. Поехали к другому условленному месту — забрать новых товарищей, с которыми еще не успели как следует познакомиться. Те собирались медленно. Опять пришлось ждать. Некоторые вообще не пришли, а ночь уже на исходе. Отправились в рискованный путь не в полном составе.

Весь остаток ночи и целый день ехали по рокадной дороге, в почти непрерывном двустороннем потоке немецких автомашин — попутных и встречных. Сидели под брезентом с оружием наготове. Кто-то высказал тревожную догадку: «Машину Олесцака, вероятно, уже ищут». Свернули на проселок.

Погода была типично ноябрьской — дождь со снегом. Маскировка неплохая, но плохо для ориентировки на малознакомой местности. Заблудились. Выслали разведку. Разведчики долго не возвращались. Ребята стали нервничать. Новички готовы были расправиться с Гансом — он-де во всем виноват. Старые его друзья не допустили этого.

Разведчики вернулись, так и не разыскав партизан. Посовещавшись, подпольщики решили продолжать поиски. Однако не все согласились с таким решением: пятеро из «новеньких» объявили о своем намерении вернуться домой. У них отобрали оружие, и они ушли...

Вскоре возникла новая неприятность, можно сказать, даже беда: испортилось что-то в моторе. Всю ночь, не зажигая света, прокопались с ним. Под утро Олесцак все же оживил свою машину. Заехали в глубь леса, подальше от дорог. Нашли оплывшие уже окопы и траншеи 1941 года. Весь запас оружия и патронов перетащили туда, свой автоковчег сожгли и опять занялись поисками партизан. Ориентироваться в лесу эти люди — преимущественно железнодорожники — не умели. И все же кто-то из них обнаружил свежий след на траве. По нему набрали на землянки, таившиеся в густом кустарнике.

Из землянок выскочили незнакомцы в старых красноармейских шинелях, наставили на нежданных гостей винтовки. Начались расспросы, похожие на допрос: «Кто такие? Откуда? Зачем пожаловали?» Появление здесь молодых людей с неблизкой станции Помошная, да еще с шофером-немцем выглядело почти фантастикой. Ребят повели в село Небеливка. Там выяснилось, что они попали не в тот партизанский отряд, в который рассчитывали попасть. Но им и здесь были рады. Привезенные ими боеприпасы и оружие были очень нужны. Нуждался отряд и в пополнении личного состава. Омрачал всеобщую радость только шофер-немец. К нему отнеслись с подозрением, что вполне объяснимо. Комсомольцам из Помошной на первых порах пришлось защищать его.

Ну, а дальнейшее известно из документа, копию которого прислал Николай Стройков. С начала января 1944 года Ганс Олесцак активно участвует в боевой деятельности партизан. С самодельным рупором выходит он «на передний край» и призывает своих соотечественников бросить оружие, не издеваться над населением, не жечь дома, не умирать напрасно за Гитлера. Впервые услышав взволнованную речь Ганса Олесцака, немцы замерли от неожиданности, даже стрельбу прекратили. Зато потом каждое его слово встречали ураганным огнем.

Свидетельства Александра Данильченко и Валентины Кривонос, пришедшие ко мне разными путями, совпадают. 15 января в Небеливке отряд был окружен карателями, имевшими на вооружении пушки и минометы. Шесть часов длился бой, кровавый и неравный.

Олесцак со своей немецко-словацкой командой находился на краю села, в доме Гребенников. Он, как и его товарищи, не дрогнул перед карателями. Партизаны выстояли в этом бою, но понесли тяжкие потери. Погиб и Ганс Олесцак. Семья Устины Гребенник похоронила его на огороде.

Такова легенда о немце-тельмановце. В ней только про генеральский мундир явная фантазия, а все остальное — правда!

Я побывал в селе Небеливка.

Прах Ганса перенесен теперь в центр села, и конусообразное надгробие высится рядом и в одной ограде с братской могилой партизан.

Удалось встретиться со свидетелями и участниками последнего боя. В Небеливке помнят немецкого товарища, говорят о нем душевно, вспоминают всякие житейские

случаи, связанные с тем, что Ганс смешно путал русские слова.

Колхозники Небеловки, несмотря на страдания, которые причинили им немцы, резко отделяли от оккупантов Ганса и тех солдат вермахта, которые перешли на нашу сторону и находились у него, как шутили в селе, на перевоспитании. Его называли «наш Ганс», командир партизанского отряда не раз говорил ему: «Быть тебе в будущей Германии секретарем комсомола, не забудь тогда пригласить нас в гости!»

Попытки найти семью Ганса в ГДР и ФРГ оказались безуспешными. Некоторые партизаны считают, что все из-за того, что фамилию немца записали неточно — он не Олесцак, а Олесцаух... Возможно...

От Зеленой браны до Серебряного бора

Телефонный звонок, незнакомый, и очень спокойный, деловитый голос:

— Здравствуйте... Мы тут втроем собрались, все вроде бы ваши побратимы по сорок первому году, по Зеленой бране. Сидим, вспоминаем. Может, присоединитесь к нам? А то ведь завтра разъедемся вновь, когда еще удастся встретиться?

— А где вы?

— Можно считать, недалеко, возле Серебряного бора. На метро доберетесь, а там встретим.

Я застегивал пальто уже на улице, ужасно спешил, хотя никак не мог себе объяснить, почему так безоглядно и стремительно откликнулся на поздний телефонный звонок, на незнакомый голос, оставил недописанной строку, помчался неведомо куда.

Ехал долго, с пересадкой и ловил себя на том, что выискиваю взглядом среди замкнутых в кругу своих дум пассажиров таких, которым под шестьдесят. Может, тот вон или этот на опушке Зеленой браны вырывал зубами чеку гранаты-лимонки, задыхаясь и проклиная Гитлера, бежал туда, где, казалось, есть еще узкая щель для прорыва?

Шестидесятилетних мужчин (или около того, плюс-минус) чрезвычайно мало встречается. Тогда я обратил на это внимание впервые и тут же постиг причину: для проходивших срочную службу в 1941 году было наготовлено в Германии слишком много пуль, снарядов и бомб. Кто выжил, тот выжил чудом.

Поплыла в зеркальных окнах вагона станция метро «Полежаевская», и я вспомнил Васю Полежаева, проходчика, потом бригадира, потом начальника строительства. Его отозвали с фронта, надо было строить новые туннели, а то бы куда раньше его фамилия получила право воплотиться в названии станции метро. А может, станцию и не назвали бы так...

Вышел, как условились, из первого вагона и сразу узнал своих товарищей по Зеленой бране, хотя, надо полагать,

никогда раньше их не видел. А может быть, и шли рядом в тот неудавшийся прорыв?

Все трое отнюдь не громадного роста — поколение, которого еще не коснулась акселерация, — но крепенькие. Время их не согнуло, не ссутулило. Никак не скажешь про таких: старики.

Мы пожали друг другу руки, как будто каждый день встречаемся здесь, на платформе метро, вместе ездим на работу и с работы. Соседи?

Да, мы соседи, только не по Серебряному бору, а по другому лесу, с загадочным названием — Зеленая брама. Мне не зазорно спросить у старых друзей, как их зовут-величают, где они проживают теперь?

Евгений Серебряков приехал из Арзамаса. Федор Мымриков — тамбовец. Михаил Румянов — москвич, к нему на квартиру и топаем мы по пушистому снежку, пересекая по диагонали дворы новых домов, так похожих друг на друга. Не встретить меня боевые товарищи в метро, очень долго пришлось бы искать...

Воспоминания начинаются тут же — не о погоде же нам разговаривать!

Двое из моих новых, а может быть, старых друзей служили срочную под Львовом, в 10-й дивизии НКВД; третий, Евгений Серебряков, до войны был лишь в одном гарнизоне с ними — сын начальника штаба батальона (к 22 июня ему исполнилось только шестнадцать лет).

66-й полк 10-й дивизии имел в своих разгранлиниях железнодорожный мост через реку Сан под Перемышлем и в первый же день войны геройски отстаивал эту важнейшую коммуникацию. Почти все защитники моста погибли, участвуя в знаменитом контрударе вместе с 99-й стрелковой дивизией и пограничниками. В тот именно день школьник Евгений Серебряков стал в ряды красноармейцев, скрывшись в одной из рот, — отец конечно же отправил бы его в тыл.

Отец и сын — в одном строю. Ситуация несколько литературная. Но этот сюжет отягощен обстоятельствами, которые выдумать трудно: Виктор Серебряков знал, что его негодник сын достал себе снайперскую винтовку и воюет, однако не мог найти Женьку. Сын стремился не попадаться отцу на глаза. Так они и шли по одним дорогам, участвуя в одних боях, но не встречаясь.

Чекисты, как правило, отходили последними, прикрывая другие части. Отход — тяжкий маневр, а прикрывать отход — дело наитягчайшее.

Отходили от Перемышля на Львов, от Львова — на Тарнополь, от Тарнополя — через Волочиск и Подволочиск, участвовали в сокрушительном ударе по врагу под Оратовом.

Федор Мымриков был фельдшером. Михаил Румянов и Евгений Серебряков — стрелками, а точнее, снайперами. Обороняли Умань до тех пор, пока все части 6-й и 12-й армий не отошли к Подвысокому.

О Зеленой бреме, которая и собрала нас в уютную квартиру Михаила Румянова, мои товарищи говорят с неохотой, затрудненно, слова тяжелые, как каменные глыбы. Там полк превратился в батальон, батальон — в роту. И рота впоследствии погибла...

На подступах к селу Терновка в разгар тяжелого боя, то и дело переходившего в рукопашную схватку, обстановка вынудила облить бензином из бака разбитой автомашины знамя полка. Знамя вспыхнуло, казалось, что оно еще развевается, но это было уже только пламя.

Михаил Румянов получил в том бою тяжелое ранение — осколок вонзился в спину, повредил позвоночник. Его, так же как и других раненых, везли на подводе, но выбраться из окружения не удалось.

Серебрякова выручил его мальчишеский облик и возраст. Вместе с двумя такими же мальчишками-музыкантами он вышмыгнул из наспех огороженного концлагеря в Звенигородке. Подростки подались в северном направлении, рассчитывая скрыться в лесах и партизанить. Но Евгений снова угодил врагу в руки. И снова бежал, вырезав доски пола в товарном вагоне и выскочив из эшелона пленников вблизи Освенцима. Мечта о партизанском отряде все же сбылась. Правда, он оказался в польском партизанском отряде. Носил там кличку Ключ. А когда отряд соединился с наступавшей Советской Армией, партизан Ключ снова стал красноармейцем Серебряковым и в сорок пятом году вернулся на родную землю, встретил мать и брата, узнал о судьбе отца. Сын сказал только — отец воевал честно. А я получил сведения об отце Евгения, Викторе Серебрякове, в архиве войск МВД.

На берегах Синюхи после гибели командира он командовал остатками полка, был тяжело ранен. Его спрятали и выходили колхозники.

Выздоровев, он пробрался на Брянщину, где стал начальником штаба, а затем — командиром Дятьковской партизанской бригады. Был награжден орденом Красной Звезды.

Он погиб в бою 1 июля 1943 года. На месте его гибели — обелиск со словами: «Виктору Серебрякову — партизанскому Суворову». Не многие удостаивались такого сравнения!

Имя Серебрякова носит лучшая пионерская дружина московской 445-й школы...

Евгений пришел с войны двадцатилетним. Самое время закрепляться в какой-то профессии. И стал он слесарем. Помогал матери растить младшего брата.

— Может, знаете Серебрякова Геннадия? — спрашивает он застенчиво.

Только после этого вопроса я понял, почему лицо Евгения с первого взгляда показалось мне знакомым. Он так похож на моего доброго знакомого, поэта Геннадия Серебрякова. А ведь Геннадий мне никогда не рассказывал ни про отца, ни про старшего брата.

Инженер Евгений Серебряков неопределенно пожимает плечами, а товарищи его, весело переглянувшись, объясняют:

— Из Серебряковых словечка не вытянешь о себе. Это сегодня Евгений немножко разговорился!

Михаил Румянов после Подвысокого тоже стал партизаном и подпольщиком. Но уже совсем далеко от Родины. Строитель московских набережных, снайпер 10-й дивизии, участвовавший в трех рукопашных схватках, после ранения полгода лежал пластом у добрых людей, а когда позвоночник сросся, гитлеровцы увезли его, как «рабочую силу», в Лотарингию. Там Румянов вошел в состав подпольного комитета «острабочих», установил связи с французами, а также с советскими партизанами. Стал бойцом партизанского отряда, которым командовал старший лейтенант Иван Фищенко. В августе 1944 года (после неудавшегося покушения немецких офицеров и генералов на Гитлера) начались повальные аресты среди «острабочих». Румянов попал в гестапо. Всего про него не узнали, но на приговор к пожизненному заключению хватило. Отправили в Заксенхаузен, где он, разумеется, продолжал подпольную деятельность.

Я спросил Михаила Румянова, связана ли назначенная ему пенсия по инвалидности с тем ранением позвоночника. Он ответил сдержанно:

— И с этим тоже.

— А с чем еще? — домогался я.

— Нас в гестапо обрабатывали дубинками, так что увечий с избытком. Пятый угол искали. Но воспоминания на эту тему исключаются. Не выжимай жалость...

О третьем товарище — Федоре Мымрикове — я слышал раньше, от историка, изучавшего винницкое подполье. Мымриков — бывший военфельдшер, а ныне инспектор санэпидстанции в Тамбове, человек вулканической энергии. Он разыскал десятки, если не сотни, участников подполья, возникшего в Винницкой области. Попал туда Мымриков из Уманской ямы. Еще тогда, когда он находился в «яме», ему перебросили через колючую проволоку ломоть хлеба, а в нем он нашел записку: «Если удастся бежать, приходите в город Турбов и разыщите Наталью Ивановну Музыкант». Путь в Турбов оказался «усложненным». Так сказал Мымриков. Что это значит? Оказывается, Федор заболел тифом и был вывезен за пределы лагеря в груди покойников. А все же к той Наталье Ивановне уманский бедолага пришел и включился в подпольную работу.

И вот Москва, застроенная опушка Серебряного бора. Много лет прошло...

Мы сидим четвером, увлеченные и растроганные и, наверное, навсегда связанные всем, что пережили.

Я хочу проникнуть в общий мир этих трех бывших красноармейцев, прошедших невероятный смертный путь, но и донныне сохранивших боевой дух.

Меня на всем протяжении этой беседы не покидает ощущение, что я позван, чтоб вместе с ними отметить какое-то важное и радостное событие, только три товарища не хотят объяснить какое.

Так я ничего и не угадал, но потом один из ветеранов, тамбовчанин, находящийся со мной в переписке, прислал вырезку из областной газеты, где напечатан Указ Президиума Верховного Совета СССР: Федор Мымриков награжден за трудовые успехи в десятой пятилетке орденом Дружбы народов.

Значит, мы обмывали награду, но Федя и его кровные друзья из сдержанности, присущей их натурам, ничего не сказали мне об этом, или Федя запретил им говорить, чтоб не прослыть нескромным.

И строитель Москвы Михаил Румянов, и медик Федор Мымриков, и инженер Евгений Серебряков, несмотря на различие в характерах и темпераменте, представляют собою в общем-то один и тот же человеческий тип. Про себя я называю людей такого типа «сталью закалки сорок первого года».

А как заботливо и заинтересованно они относятся друг к другу! Как внимательно слушают Михаила, когда он рассказывает о недавней поездке во Францию и встречах

с комбатантами! Как добродушно подшучивают над Федором, не знающим, куда девать свою энергию! С каким пониманием относятся к вдумчивому молчанию Евгения Серебрякова!

Я уехал от них последним поездом метро. Уже подметали мраморный пол станции. За окном набирающего скорость вагона промелькнули три фигуры с поднятыми как-то по-пионерски руками.

Это называлось в нашем детстве «под салютом».

Уполномочен Зеленой браной...

Оказавшись в отчаянном положении, зажатые в клещи вероломно напавшим противником, могли ли мы тогда, летом 1941 года, представить себе как бы все наоборот: не они нас, а мы их окружаем...

не они нас, а мы их поставили на край катастрофы...

не они захватывают нас в плен, а мы заставляем их капитулировать...

Могли ли мы такое себе представить?

Конечно, могли! Повторяли, как заклинание: наше дело правое, победа будет за нами. Будет и на нашей улице праздник! Родина или смерть!

Беру на себя смелость утверждать не только от имени тех, кто продолжал жить, а значит, сражаться, но и от имени тысяч и тысяч погибших наших товарищей: мы были уверены, что одолеем врага, что наглые и самодовольные пришельцы еще проклянут тот час, когда доверились банде фашистских политиканов, военных преступников, захвативших власть в Германии и обуреваемых бредовой и исторически безнадежной идеей мирового господства.

Мы были убеждены, что поменяемся с ними местами, но ни в коем случае — не ролями! Переполненные яростью, все равно не озвереем, останемся верны высшему званию человека и святым принципам своего небывалого общества.

И вот уже в декабре под Москвой немецко-фашистские войска потерпели крупное поражение, а через год с небольшим после Зеленой браны они оказались в котле.

Дело было под Сталинградом...

Читатель поймет душевное состояние, мысли и чувства людей, выходявших с боями из окружения, пропавших без вести, побывавших в плену, испытавших на себе всю жестокость врага. Оставшиеся в живых участники боев в районе села Подвысокого, сражавшиеся теперь под Сталинградом, были как бы уполномочены Зеленой браной не сводить счеты, но участвовать в справедливом возмездии.

Недавно, работая в архиве, я сравнил две трофейные карты: на одной зафиксировано наступление немцев на

Киев в 1941 году, на другой — прорыв к Сталинграду летом 1942 года.

Гитлеровский генштаб со свойственной ему догматической самоуверенностью спланировал операцию по выходу к Волге в духе тех же общих шаблонных стратегических установок, как и прошлогодний прорыв к Днепру. Хотел повторить свой успех.

Если положить на кальку схему, покажется, что она скопирована.

Наносится удар, чтоб захватить большой город у реки, а на правом фланге окружаются две, а может быть, и три армии (6-я, 12-я и еще 18-я). Это сорок первый год...

В сорок втором впереди у них уже Волга, но и в донских степях они намереваются окружить и уничтожить две, а при удаче — и три советские армии.

Но в «котел» теперь попадут они. Как поведут себя они, оказавшись в окружении?

Вернувшись после второго ранения на свой Донской фронт, я стал свидетелем подготовки и осуществления одной из блестящих операций, вошедших в историю военного искусства.

Будут окружены немецкая 6-я армия и часть 4-й танковой. Шестая! Для меня это было важно — я из нашей погибшей шестой...

19 ноября 1942 года северо- и юго-западнее Сталинграда началось наше решительное наступление, и вскоре замкнулось кольцо вокруг армии Паулюса. (В мирные времена 19 ноября утвердилось торжественной датой — Днем артиллерии, а теперь праздником в честь ракетных войск и артиллерии.)

Хорошо помню сырой мороз того утра, туманную дымку. Траектории реактивных снарядов казались багровыми.

Час двадцать молотила наша артиллерия, а потом в направлении, указанном стрелами возмездия, устремились танки и пехота.

Может быть, операция была рискованной, но расчет точен: через 100 часов боя 330 тысяч солдат и офицеров противника очутились в «сталинградском котле».

Признаюсь, такую радость на войне я испытывал лишь дважды: в ноябре сорок второго в междуречье Дона и Волги и в мае сорок пятого на улицах поверженного Берлина.

В те ноябрьские дни я находился в 91-й танковой бригаде, которой командовал беззаветный храбрец, богатырь с виду подполковник Иван Игнатьевич Якубовский.

(Будущий маршал, дважды Герой Советского Союза и Главнокомандующий войсками Варшавского Договора).

В первые же часы боя танки бригады врзались в боевые порядки противника. В станице Перекопской были захвачены немецкие пехотинцы. Чтобы поглядеть на них, я поспешил к разведчикам. И вот уже мой спутник, фотокорреспондент фронтовой газеты, снимает групповой портрет завоевателей.

Настоящая зима только подступает, но у некоторых из них уже заметны на щеках пятна — явное обморожение. Шинели тонкие, обувь кожаная, у офицеров дополнительно — соломенные неуклюжие чуни, попытка хоть как-то утеплить ноги.

Разведчики, обнаружившие их в сараях на окраине только что освобожденной станицы, докладывают, что там же найдено десять еще не остывших трупов. Осмотр показал, что все эти солдаты получили ранения недавно — в эти дни, но причина смерти другая — они убиты выстрелом в затылок, все одновременно.

Допрашивают обер-лейтенанта, он признается, что раненые убиты по его приказу, поскольку известно, что русские расстреливают раненых пленников, он приказал уничтожить этих солдат.

Кто прикончил их — всех одним способом, одним приемом?

Обер-лейтенант отказывается указать на палача! Что-то бормочет о чести офицера и о том, что никого не выдаст. И очень удивляется, что советский «энкаведе» интересуется подробностями.

Потом, когда ему втолковали некоторые прописные истины, он признался все-таки, что у него в «компании» (то есть в роте) есть один солдат, который был в «эйнзацкоманде» (то есть в команде палачей), был там уличен в некоторых мужских извращениях и отправлен на фронт. Вот он и исполнил приказание и мастерски отправил на тот свет десять своих раненых товарищей.

Благородный обер-лейтенант так и не выдал палача, и всю компанию повели на пункт сбора пленных... Может быть, современному читателю покажется странным, но я помню — никто не удивился этому зверству...

Мы и не такого навидались!

Намерения советского командования были весьма определены: предложить противнику капитуляцию и в возможно более короткие сроки принять пленных по всем правилам нормальной войны. (Когда я написал слово «нормальной»,

рука моя дрогнула — применимо ли к войне такое определение? Нет, нет и нет! Но и в этом крушении норм есть свои правила, грубо растоптанные врагом.)

За первые семнадцать месяцев войны перспектива массового пленения вражеских войск впервые стала реальностью.

Меня заинтересовало тогда и очень захотелось узнать теперь, что было предпринято нашим государством, чтобы прокормить тысячи и тысячи немцев, румын, итальянцев, которые неминуемо попадут к нам в руки.

Вот что я узнал:

24 ноября 1942 года, на следующий день после того, как замкнулось кольцо вокруг фашистских войск под Сталинградом, Совет Народных Комиссаров СССР обсудил вопрос о будущих военнопленных и принял постановление о продовольственных нормах для них.

В Управлении тыла Советской Армии нашли и показали мне пожелтевшую и обветшалую, но не потерявшую своей пронзительной силы бумагу — постановление-распоряжение. Правительство утвердило «раскладку»:

Хлеб ржаной — 600 граммов.

Овощи, картофель — 500 граммов.

Мясо и жиры — 93 грамма.

Крупа — 80 граммов.

В рационе предусматривались еще сахар, соль, томаты, мука, чай, перец, уксус, лавровый лист. Не знаю, почему ошеломляющее впечатление на меня произвели последние строки этого столбика, перечисление томатов, уксуса, лаврового листа.

Ну, а как снабжал Гитлер своих доблестных воинов?

Приведу запись в дневнике боевых действий вермахта за 10 января 1942 года: «Суточная продовольственная норма 6-й армии составляет ныне 75 граммов хлеба, 200 граммов конины, включая кости, 12 граммов жиров, 11 граммов сахара и 1 сигарета».

Могу только добавить, что норма у них соблюдалась более или менее регулярно лишь в отношении конины («включая кости»), поскольку мерзлые трупы лошадей валялись повсюду.

Помню ужасающую историю: при ликвидации «котла» мы наткнулись, сколь помню, в районе Питомника на лагерь советских военнопленных. Мы освободили своих товарищей (я даже узнал среди умирающих знакомого майора), дошедших до последней черты. Почти месяц им не выделялось никакого продовольствия. Живые и мертвые лежали рядом на гнилой соломе.

...Молодой полковник интендантской службы, которому было поручено ознакомить меня со старыми документами, кажется, заметил, что я побледнел.

Он схватил со стола своего начальника сифон с серебряной газированной водой, шумно наполнил стакан и поднес его мне.

Но утолю ли я жажду этой чистой водой с бегущими вверх пузырьками?

В моей памяти оживает Уманская яма и коричневая лужа на ее дне. Мы черпали зловонную воду пилотками или ржавыми жестяными консервными банками, пили, но многих тут же выташнивало. Охранники со свастиками на рукавах веселились — норовили ударить сапогом или кольнуть штыком в зад тех, кто станет на четвереньки, чтоб напиться...

Эта вода оказалась самым активным источником дизентерии и других, не менее губительных болезней, косивших нас...

Впрочем, чего это я разнервничался?

Да, я из Уманской ямы, но я видел сталинградский «котел», и белорусский, и многие другие наши победы, я в Берлине утром второго мая у Бранденбургских ворот читал стихи нашим воинам, пришедшим сюда из Зеленой браны и с берегов Волги. Я стоял на броне самоходки, мне был виден дымящийся рейхстаг, а за моей спиной была улица Унтер-ден-Линден с ее едва начавшими оживать деревьями.

Мои товарищи слушали стихи, а шагах в десяти от нашего самовозгоревшегося митинга шла бесконечная серозеленая вереница сдающихся немецких солдат. Они бросали на брусчатку винтовки, автоматы, фаустпатроны — вырастали колючие кучи смертельного металла, потерявшего силу.

Я победитель и вправе гордиться тем, что моя Советская власть на следующий день после окружения немецкой 6-й армии под Сталинградом распорядилась, как кормить будущих пленных, предусмотрев перец, уксус и лавровый лист.

Хлеб ржаной — 600 граммов...

Мясо и жиры — 93 грамма...

Овощи, картофель — 500 граммов...

Не больше того, а в иных случаях и меньше получали сироты в детских домах, наши матери в эвакуации... 125 граммов комковатого блокадного хлеба — и то не ежедневно — доставалось тогда ленинградцам...

...Мои товарищи по Уманской яме не могут забыть август 1941 года.

Учитель Виктор Николаевич Степанов из Казани, бывший рядовой 718-го арtpолка, попавший в «яму» тяжело-раненным (он навсегда остался инвалидом), пишет мне: «Вы знаете, как нас кормили — одну ложку проса в день. Просо, правда, опускали в горячую воду, но от этого оно не превращалось в пшеничную кашу. Кусок хлеба я получил, как и другие, лишь через две недели, когда нас вели, подгоняя палками, из ямы снова на птицеферму...»

Рацион голода не был жестокой «самодеятельностью» лагерного начальства.

Среди известных теперь всему миру трофейных документов вермахта есть директива фельдмаршала Кейтеля от 8 сентября 1941 года:

«В этой войне обращение с военнопленными в соответствии с нормами человечности и международного права недопустимо...»

Восьмого мая 1945 года я имел возможность с близкого расстояния рассматривать фельдмаршала фон Кейтеля — сначала на Темпельхофском аэродроме, когда он вышел из самолета и был окружен уже не английским, не американским, а нашим конвоем, а потом — в зале Инженерной школы в Карлсхорсте.

Он держался если не надменно, то во всяком случае важничал. Мне подумалось: тщеславие распространяется даже на такую область, как позор. Не кто-нибудь, а именно он, Кейтель, будет подписывать Акт о капитуляции и войдет в историю не как рядовой, а как самый главный носитель позора!

Наша журналистская братия в Карлсхорсте особое любопытство проявляла к короткому стеку, которым он нервно жонглировал. Одни говорили, что это маршальский жезл, другие, что просто хлыстик. Впрочем, восьмого и девятого мая этот факт — маршальский жезл или хлыстик в его руках — уже не имел существенного значения.

К заседанию Нюрнбергского Трибунала фельдмаршал сильно пооблез и сник. Ему уже трудно было отрицать, что к фашистским расправам он не имел никакого касательства...

Но все это будет потом, а пока, зажатый нами в между-речье Волги и Дона, противник отчаянно сопротивляется.

Седьмого января на командном пункте Донского фронта я встретил своего старого товарища майора Николая Дятленко. Он был сосредоточен, подчеркнута — а может быть,

даже слишком — спокоен. Я уже знал, что он пойдет в стан врага с пакетом — советское командование предложит окруженным выход из безнадежного положения.

Их будет трое — трубач, старшина и парламентар Дятленко. Бойцы называют троих бесстрашных парламентской группой. Интересная оговорка. А может быть, некоторые термины имеют способность обгонять время.

В руках у трубача — белый флаг.

Я впервые вижу белый флаг у наших. Да, тогда в Зеленой броне враг захватил в плен оставшихся в живых воинов 6-й и 12-й армий, но никто из них не вышел навстречу врагу с белым флагом. Понятия «капитуляция» для нас не существовало. Умирали под красным флагом...

Ультиматум сталинградский, подписанный генералами Вороновым и Рокоссовским, можно считать историческим документом великодушия и гуманизма: всем прекратившим сопротивление гарантировалась жизнь и безопасность, всем больным, раненым и обмороженным — медицинская помощь, всем сдавшимся — нормальное питание; всему личному составу обеспечивалось сохранение военной формы, знаков различия, орденов, ценностей, а высшему офицерскому составу — и холодного оружия.

Ультиматум не был принят, и 10 января по сигналу «Родина!» мы были вынуждены перейти в решительное наступление.

Вот тут-то и началось массовое пленение окруженных.

Пленение, которое одновременно было и нелегкой борьбой за спасение: в вышедших на Западе воспоминаниях бывших солдат и офицеров 6-й армии рассказано, что раненых было не так уж много, но здоровых ни одного, а умирающих — три четверти. Дистрофия, обморожение, тиф, экзема, скоротечная чахотка, воспаление легких. Впрочем, зачем ссылаться на книги? Я все видел своими глазами.

В первые дни нашего наступления солдаты противника попадали в те же медсанбаты, а затем в госпитали, что и наши раненые.

Поэтому не сохранилось отдельных данных о лечении немцев.

Не могу назвать и цифры — сколько тонн крови было перелито.

Не пугайся, читатель!

Не о пролитой, о перелитой крови речь. О той, что была сдана шатающимися от усталости трудящимися заволжских городов и сел после долгого дня у станка, матерями, сестрами, женами, вдовами...

Между прочим, спасенные не спрашивали об арийской чистоте перелитой им крови.

Ни за пролитую нами, ни за взятую от нас кровь мы никому и никаких счетов не предъявляли. Да и вообще предъявление счетов не в нашем характере, и не для этой цели я привожу интересную цифру: с 10 января по 2 февраля 1943 года (то есть при ликвидации «котла») для взятых в плен под Сталинградом нами было израсходовано две тысячи восемьсот сорок тонн продовольствия...

Но это так, для сведения. А то уж больно много клеветнических воспоминаний о Сталинграде вышло на немецком языке и недобросовестных исследований на английском.

Стараясь не отстать от наших полков, я спешил с запада на восток, но на этот раз это уже было наступлением. Мы врезались в страшную глубину «котла», где умирали от болезней и голода, где замерзали солдаты, причинившие столько горя и страданий нашей стране и народу. Нам было чуждо чувство мести и злорадства: мы с горьким презрением наблюдали разложение 6-й армии.

Что защищает жалкое огородное чучело в шинели с обожженной полрой?

Один веселый американский журналист через несколько дней отправит на свой континент, где, слава богу, не разрушено ни одного дома, корреспонденцию, а в ней сделает историческое открытие: гитлеровское войско потерпело поражение из-за того, что между Волгой и Доном не было теплой уборной.

Дурно пахнущее открытие с подтекстом — представители западной цивилизации угодили в азиатскую дикость. А без подтекста можно вспомнить, что, окруженные, они с невероятной быстротой дичали. Пленные в эти дни рассказывали, что в траншеях и подвалах творилось черт знает что. Гадили друг на друга. Из-за куска кошачьего мяса душили, пыряли кинжалами, на лезвиях которых выгравировано «кровь и честь».

Январская агония продолжалась еще почти три недели.

Какое-то время действовал ненадежный воздушный мост — они силились вывезти раненых. Пленные показывали, что на аэродромах легкораненые при «штурме» готовящихся к вылету из «котла» «юнкерсов» топтали тех, кто был на носилках. Пытались сбежать под разными предложениями и высокопоставленные офицеры, и рядовые дезертиры.

Гитлер и его штаб вновь и вновь в своих приказах и радиogramмах требовали, чтобы 6-я армия продолжала сопротивление.

Тридцатого января наш редакционный радист-переводчик записал речь Геринга на митинге по случаю десятилетия захвата власти Гитлером. Геринг изрекал:

«Солдату все равно, где сражаться и умирать, в Сталинграде ли, под Ржевом, или в пустынях Африки, или на севере за Полярным кругом в Норвегии...»

Но еще пятью днями раньше мы увидели высывающиеся из развалин и подвалов белые и серые лоскуты на палках. Теперь уже они стали высылать парламентаров, чтобы сдать.

Им не все равно было, где умирать.

Они нигде не хотели умирать.

Мы принимали капитулирующие колонны. В 6-й армии свирепствовал тиф (адъютант Паулюса полковник Адам в своей книге «Трудное решение» утверждает, что сыпняком было заражено более 90 процентов личного состава). Дистрофики, обмороженные... Здоровых я просто не видел.

Уже затихала канонада, когда на командном пункте одной из наших дивизий я лицом к лицу столкнулся с другом детства — Игорем Лидовым, теперь подполковником медицинской службы. Все были возбуждены, опьянены победой, а Игорь являл собою полную противоположность — озабоченный и расстроенный, он просил и требовал от командира дивизии помощи.

В чем дело? Оказывается, Игорь назначен начальником всех немецких госпиталей в Сталинграде. Его вызвал суровый человек — представитель Государственного Комитета Оборона (то есть верховной власти) и приказал за 24 часа наладить питание военнопленных согласно нормам, утвержденным Совнаркомом. Вежливо, но достаточно определенно Игорь был предупрежден: невыполнение данного приказа — расстрел.

Я встретился с Лидовым после войны и спросил его, как он справился тогда с заданием. Бывший мальчишка — вся грудь в орденах — ответил весело: «Как видишь, я остался жив!»

Госпитали для немцев раскинулись по всей Сталинградской области: в Бекетовке, Александровке, Балыклее, Ольховке, Рудне, Фролово, Камышине, Капустином Яру. В самом городе госпитали были развернуты в подвалах, которые удалось привести в порядок, и даже в знаменитой бетонной трубе, где находился во время боев командный пункт командарма-62 Василия Ивановича Чуйкова.

Но не только в Сталинградской области лечили немцев. Вот какую историю узнал я недавно, и при неприятных

обстоятельствах: во мне зашевелился сталинградский осколок крупновской стали и пришлось лечь в больницу. Поскольку тема войны невольно вновь возникла, правда, не столько в моей жизни, сколько в моем теле, я спросил заглянувшую в палату профессора Тамару Ивановну Парменову (Аникину), была ли она на фронте.

Доктор Парменова ответила, что на передовой ей быть не пришлось, но некоторое представление о войне она имеет. Перед войной закончила институт, вышла замуж. Из-за того что на руках у нее был младенец, ее направили в госпиталь тыловой — в город Соль-Илецк. Госпиталь 33—22 предназначался для тяжелораненых и размещался в районной больнице.

Однажды группу хирургов и младшего персонала вызвал комиссар госпиталя и сказал, что придется решать новые задачи, на время оставить хирургию: в бывшее родильное отделение привезут не раненых, а больных.

Комиссар знал, что почти все женщины, которых он вызвал, недавно стали вдовами (эта участь не миновала Тамару Ивановну, к тому же у нее умер ребенок), и потому говорил с паузами, все не решался договорить до конца. А речь шла, оказывается, о прибытии транспорта с пленными немцами, больными чахоткой и пеллагрой. Они из Сталинградского «котла».

Женщины словно окаменели — они не представляли, что им уготована такая пытка. Кроме того, их специальность — хирургия, а о пеллагре, например, они не имели никакого представления: последние случаи пеллагры в СССР отмечались десять лет назад и в медвузах профессора не имели возможности продемонстрировать студентам больных.

Пленные немцы прибыли в ужасном состоянии. У больных пеллагрой была ослаблена умственная деятельность, кожа в экземе. Они ходили под себя, за ними необходимо было все время убраться...

Оказалось, что пеллагрикам необходимо четырехразовое мясное питание, особый рацион требовался туберкулезным.

Соль-илецкие вдовы кормили с ложечки пленных, а потом брели домой к своему скудному тыловому пайку по карточкам.

— Как вы это выдержали? — сорвалось у меня.

— Чтоб не сойти с ума, я ходила в советское отделение госпиталя и делала операции нашим бойцам. Но и немцев — очень многих — мы вырвали у смерти. Мы победили пеллагру, в ряде случаев погасили чахотку.

Из-под белоснежного медицинского колпака профессора выбиваются совсем белые волосы. Она улыбается мне и, уходя, повторяет:

— Так что я не была на фронте, не участница войны, просто врач.

На Западе показывали несколько лет назад клеветнический фильм «Врач из Сталинграда». Может, пора немцам сделать иной фильм под тем же названием?

Ефим Иванович Смирнов, генерал-полковник, руководивший в годы войны медико-санитарной службой, в своей книге «Война и военная медицина» приводит внушительную цифру — 61 400 коек были армией переданы НКВД для лечения военнопленных. (Управление по делам военнопленных находилось в ведении НКВД. Вот, оказывается, чем занимались эти страшные чекисты, о которых на Западе наворожены горы клеветы, которых и поныне рисуют с кинжалом в оскаленных зубах.)

Прочитав эту книгу, я обратился к автору и спросил Ефима Ивановича, что это были за койки.

Генерал-полковник не понял моего вопроса.

Я поймал себя на том, что смотрю в даль Сталинградской битвы из глубины еще более отдаленных событий и занимаюсь сравнением несравнимого. Это мы валялись в пыли, в лучшем случае — на окровавленном каменном полу какого-нибудь пакгауза или сарая — без бинтов, без лекарств, голодные и вшивые. Страшную свалку полутрупов и трупов фашисты именовали ревиrom или лазаретом.

Койка — это и есть койка. На ней простыня, одеяло, подушка, и стоит она в палате, как маленькому, разъяснил мне генерал-полковник, очевидно досадуя, что связался с таким невежественным писателем.

Считаю необходимым процитировать один абзац из книги Е. И. Смирнова; вспомнив о шестьдесят одной тысяче четырехстах койках, предоставленных в наших госпиталях раненым немцам, он пишет: «И. В. Сталин проявил особый интерес к организации лечения военнопленных, особенно после окончания Сталинградской битвы, когда среди них было много больных, страдавших дистрофией и сыпным тифом...»

Не перегружаю ли я свое повествование документами, фактами и данными, не выхожу ли я за рамки художественной прозы и за пределы своей задачи — рассказать об одном из первых сражений Великой Отечественной войны.

Но я назвал свою легенду документальной...

И коль пошел рассказ о великой победе на Волге, надо поведать о том, как завершилась битва.

31 января 1943 года на медленном зимнем рассвете по войскам распространилась весть: мотострелки 38-й бригады держат в осаде здание универмага, а там в подвале — штаб 6-й армии.

Из врытого в волжский берег блиндажа, где ночевал, я побежал в сторону универмага.

Развалины улиц представляли зрелище невероятное: мимо наших танков тянулись унылые и страшные вереницы бросивших оружие, закутанных кто во что немецких солдат.

Горели костры, в их отсветах можно было разглядеть и наших гвардейцев, и... пленных румын в бараньих шапках.

Запыхавшись, я протиснулся во двор универмага. Там было много наших. Увидел группку немецких офицеров. Их охранял один молоденький автоматчик.

Не стану изображать из себя героя: в подвал меня не пустили, как я не доказывал, что фронтовая газета не может завтра выйти без моего репортажа.

Но я увидел, как из темной глубины медленно поднялось несколько командиров из мотострелковой бригады.

Ну и счастливые же были у них улыбки!

За ними следовал худой и серолицый, в шинели с поднятым воротником генерал-полковник (потом мы узнали, что Гитлер произвел его в фельдмаршалы и это была самая последняя радиограмма из Берлина).

Его вел наш генерал-майор — ладный и статный, поделовому озабоченный, но спокойный. Я сразу узнал его, хотя с генеральскими петлицами не видел и вообще не видел давно — с первых дней августа 1941 года.

Это был начальник штаба 64-й армии Иван Андреевич Ласкин. Командарм Шумилов — герой Мадрида — поручил ему принять капитуляцию.

А ведь это Ласкин собирал на опушке Зеленой браны воинов 15-й Сивашской дивизии и готовил их к решающему рывку, который завершился выходом оставшихся в живых из окружения.

Когда погиб комдив Николай Никифорович Белов, полковник Ласкин возглавил отряд. Рядом с ним шел, не кланяясь пулям, бригадный комиссар Сергей Петрович Семенов.

Сивашцы рванулись прямо на артиллерийскую засаду и забросали расчеты орудий гранатами.

В первый день группа Ласкина прошла с боем пять километров, потом преодолела второе кольцо и все-таки пробились!

Как писали в старину, судьбе было угодно, чтоб именно один из командиров, хлебнувших горя в нашей 6-й армии, принял капитуляцию штаба 6-й немецкой армии.

...Я встречался с генерал-лейтенантом Иваном Андреевичем Ласкиным в 1982 году. Ровесник века, он полон энергии, в нем неиссякаемый запас житейской мудрости: говорить с таким человеком — одно удовольствие. Он помнит во всех подробностях и 7 августа сорок первого — опушку у Подвысокого, — и 31 января сорок третьего года — подвал сталинградского универмага. Генерал-лейтенант Ласкин вспоминает:

«Я назвал себя и объявил его пленником. Паулюс подошел ко мне и, высоко подняв вверх правую руку, на скверном русском языке произнес:

— Фельдмаршал германской армии Паулюс сдается Красной Армии в плен».

Из записок К. Симонова

Когда я, вернувшись из Подвысокого, не столько приступил, сколько подступил к работе над материалами, постепенно сложившимися в эту книгу, нашелся «болеющий», уже не давший мне отложить в сторону ни одной страницы и постоянно подогревавший идею написания «Зеленой браны». Не скрою, некоторые товарищи-литераторы не то чтоб отговаривали, но мягко советовали мне продолжать тихо и спокойно сочинять песни, писать лирические стихи и не лезть, во-первых, в прозу, а во-вторых,— в зону истории, именуемую 1941 годом: под силу ли тебе...

Но мой «болеющий» при каждой встрече интересовался, как продвигаются дела, настаивал, нажимал, проверял — что уже сделано...

Этим контролером стал Константин Симонов, товарищ юности, и в общем-то всей жизни.

Мы на второй день войны выехали на разные фронты, но с одинаковыми предписаниями: «Для выполнения специального задания правительства» (такой текст на бланке остался, видимо, от прежних времен и командировок), а перед тем, как рассказано на первой странице симоновской книги «Разные дни войны», вместе ходили в райком и получили партийные билеты...

При выезде на Южный фронт корреспондент «Красной звезды» Симонов записал в дневнике: «Долматовского видели в последний раз четвертого августа...»

Симонов провел на Южном фронте немало трудных дней, был в осажденной Одессе и вблизи тех мест, где завершилась трагедия 6-й и 12-й армий, но с внешней стороны кольца... Он рассказывал мне в январе 1942 года, когда мы наконец свиделись, что надеялся найти мой след, многих спрашивал, даже хотел пробраться в 6-ю армию, но ее уже не существовало... Ведь помимо задания редактора, он выполнял еще просьбу моей мамы...

В дальнейшем мы не раз встречались на фронте — в Сталинграде, на Курской дуге, на Днепре, при освобождении Польши и наконец в Берлине, не только на пылающих

улицах, но и в здании инженерного училища в Карлсхорсте, при подписании капитуляции.

Многое мы видели и пережили вместе, а все же разлука сорок первого года особенно сблизилась, навсегда осталась самым памятным для нас периодом нашего товарищества и постоянной темой для воспоминаний.

Симонов говаривал о моей броне и Уманской яме чаще, чем я, потому я не удивился, когда в июне 1979 года получил от него письмо, в котором были такие строки:

«Вроде мы с тобой работаем, я тоже начал кое-что царапать. Насчет Уманской ямы — когда вернусь в Москву, м. б. покажу тебе интересные для тебя материалы. Донесения, цифры вышедших и пр. и пр., от чего волосы дыбом. Все это и персональное тоже. Это у меня собралось в связи с большим архивным материалом, который я хотел использовать для книги «Разные дни войны»...»

Письмо пришло из Гурзуфа, из санатория. Я с нетерпением ждал возвращения товарища в Москву, но вернулся он не домой, а в больницу, из которой ему не суждено было выйти.

Оказалась последней и наша встреча в больнице.

Мы провели вместе день в щемящих душу воспоминаниях, в упрямых спорах с примирительными эпилогами, утешались не очень веселыми шутками, делились планами. Симонов накануне успел прочитать начальные главы моей «Зеленой браны» и накидал мне ворох замечаний и поправок, как это было принято в нашем литературном общении.

— Как выздоровлю, притащу тебе мои записи, цитаты из архивных фолиантов. Я собрал много всего про Южный фронт, о нем ведь почти ничего не знают. Для тебя не будет открытий, а все же пригодится в хозяйстве.

Расставание наше не было сентиментальным, Симонов умел жестко переходить на деловой тон:

— Если операция пройдет неудачно, тебе трудно будет найти мои записи. Ориентируйся на заголовок «Южный фронт».

При таких оборотах больничного разговора положено ругаться или отшучиваться, но не удалось ни то, ни другое — заглянула недовольная сестра со шприцем, да и время вышло. Я понуро брел по опустелым коридорам, повторяя как заклятие: только бы обошлось.

Но беда нагрянула очень скоро.

Удар был слишком тяжел, чтобы мне явиться к его близким и попросить разрешения покопаться в заметках

и записках. Начало свой отсчет другое время, уже без Константина Симонова, и трудно понять, то ли я остался на платформе, а он уехал, то ли уехал я, на платформе остался он...

Подвалило еще горестей, намело сугробы. Время отталкивало меня, и поболее трех лет должно было пронестись, пока я набрался духу и решился войти в безжизненную квадратуру его рабочего кабинета.

Меня оставили одного, я склонился над бескрайней пустыней его стола. Записки сложены в тяжеленные, прямоугольные, как бетонные блоки, картонные папки.

Развязываю тесемки, начинаю путешествие по дороге, пройденной за меня старым и верным товарищем.

Сверху лежащий, самый первый листок — перевод с немецкого. «Приказ по первой танковой группе, 26 июня 1941 года...» Документ какой-то... Интересно — ведь он помечен четвертым днем войны, может быть, самый первый немецкий документ, оказавшийся в наших руках и именно своей первостью заинтересовавший Симонова. Я отчетливо себе представляю: вот он находит в архиве трофейный документ, обращает внимание на дату... Тут начинает действовать газетчик: такой документ в начале войны не попал в руки нашего брата, надо хоть теперь отыграться.

Начинаю читать. Э, да я все это уже знаю, не просто где-то и когда-то читывал очень-очень давно, в незапамятные времена, а наизусть знаю.

История по меньшей мере странная...

Происходившее давно порой всплывает в памяти отчетливей, чем самое недавнее. Вспомнил точно, никаких сомнений: это документ, читанный мной в июне 1941 года, в один из первых дней моего пребывания на войне. Я предстаю перед редактором теперь уже своей армейской газеты «Звезда Советов», он смотрит мне в глаза — примеряет, что за «деятеля» ему прислали из Москвы, неужели он кроме стихов ничего не способен сделать для газеты?

Редактор спрашивает:

— Как вы насчет фельетонов? Не пробовали?

В прошлом году на Карельском перешейке приходилось чуть не в каждый номер «Боевой красноармейской» сдавать фельетоны, и я отвечаю:

— Пробовал.

Тогда редактор вручил мне перевод с немецкого, тот самый «Приказ по первой танковой группе», который нашел в архиве и переписал Константин Симонов...

Документ стал трофеем нашей 6-й армии, уж не помню,

при каких обстоятельствах. Сам командарм Музыченко дал редактору простодушное наставление: найдите такого писака, чтобы разделал Клейста в хвост и в гриву.

И я оказался таким писакой. Мое первое появление на страницах армейской газеты, с которой мне предстояло отныне разделить свою военную судьбу, — фельетон по поводу приказа Клейста. Я даже помню название фельетона: «Фон Клейст приказал штанов не терять».

Приказ Клейста произвел тогда сильное впечатление. Сильное, но не ошеломляющее: ведь он датирован четвертым днем войны, когда мы еще не представляли себе, как повернутся наши дела. Мы еще предполагали, что отбросим напавших за границу, скоро и легко справимся с ними. Трофейный документ подтверждал наши надежды. Вот он:

Приказ по первой танковой группе

26.6.41

Слухи о прорвавшихся советских танках вызвали панику в тыловых службах.

Я приказываю:

1. Необходимо поучением, показом и угрозой наказания указывать на последствия паники.

2. Против каждого зачинщика или распространителя паники должен применяться военный суд. Обвиняемый обвиняется в непослушании или трусости.

3. Каждый офицер обязан при каждом признаке паники действовать строжайшими средствами, при необходимости применять оружие.

4. При танковой угрозе отдыхающие колонны должны защищаться поперек поставленными машинами.

Я запрещаю:

1. При тревоге употреблять панические выкрики, как: «Танки прорвались!» Все привести в безопасность. Должны лишь применяться приказы и команды, как: «Внимание, взять винтовки и шлемы», «По местам» или подобное.

2. Автомшины или колонны, которые бегут, необходимо вернуть обратно. Движение должно быть только планомерное, должно проводиться в полном спокойствии.

3. Водителям автомашин нельзя удаляться от непосредственной близости, где находятся их машины¹. В противном случае целые колонны могут стать неподвижными.

Подписал фон Клейст.

¹ Так в документе.— Е. Д.

Встреча с приказом Клейста, право, здорово разволновала меня... Надо же было через столько лет взять в руки этот неуклюжий перевод, тот самый, с использования которого и началась моя служба в редакции газеты «Звезда Советов».

Переворачиваю страницу...

Теперь уже документ, которого я никогда не видел. Переписано Симоновым с телеграфной ленты. Дата не проставлена, но из текста видно, что разговор о событии, имевшем место 24 июля, а в самых последних числах июля, когда мы обороняли Умань, такого спокойного разговора быть уже не могло. Значит, надо датировать 25 или 26 июля — будет правильно.

Итак, вот что докладывает Военный совет Южного фронта:

Главкому Юго-Западного направления
товарищу Буденному

Говорил с Понеделиным. Установлен вопрос о сдаче чехословаков. Как доложил Понеделин, бригада чехословаков — Лисовец — действительно находилась, но полностью не сдалась. 24 июля 1941 года на нашу сторону перешли только несколько десятков. Предположительно, бригада была готова сдаться и, видимо, собиралась это сделать, но, когда в бою попала под наш огонь и в спину немецкий огонь, понесла большие потери убитыми и ранеными, большая часть разбежалась по посевам.

Все это выяснилось с приходом сдавшихся нам. Приняты меры к подготовке и организации сдачи чехословаков.

Данный факт подтверждает нежелание воевать.

Тюленев, Запорожец, Романов
фонд 228, оп. 701.

Речь идет, конечно, не о чехословацкой, а о словацкой бригаде. Это воинское соединение было вовлечено немцами в войну с самого вторжения, я еще под Львовом слышал про словаков. Историю с неудачной и несостоявшейся капитуляцией словацкой бригады я узнаю сейчас впервые. Несомненно, такой важный факт был передан в Москву, в Ставку, ведь сообщались и куда менее важные события и происшествия.

Почему же в тогдашних сообщениях Совинформбюро, в газетных статьях — ни слова?

Объяснимо: «Приняты меры к подготовке и организации сдачи...» Тут уже требовались терпение и секретность, и они были соблюдены.

Представляю себе, как радовался Симонов, когда нашел в архиве эту депешу.

Симонов не просто делал выписки из документов, но тут же сопоставлял один с другим и уже на полях, очень скупно, ставил едва заметные знаки, в которых можно разобратся. И кое-что понять, если вникнешь в глубину материала.

Чаще всего пометки — своеобразная и несколько запоздалая полемика.

Почти полностью воспроизведен «Журнал боевых действий войск Южного фронта», записи, относящиеся к августу 1941 года.

Надо отметить, что начальники оперативного отдела штаба фронта (три полковника подряд сменились — это подмечает Симонов, нумерует) записывали ход событий не очень точно. Нет, они записывали, наверное, так, как было видно по поступающим в штаб донесениям и депешам. Записи-то правильные, а информация? Была ли она точной?

Вот, пожалуй, соответствующая положению запись:

«За 3 августа»

Группа Понеделина, истощенная в непрерывных боях, в тяжелых условиях ведет бой в окружении, стремясь прорваться в восточном — юго-восточном направлении. Точных данных о положении частей армии, ввиду отсутствия связи, не поступало...»

Маленькой точечкой, долженствующей, наверное, выразить огорчение человека, и через десятилетия бессильного помочь, снабжена эта выписка.

В записях за 4 и 5 августа про нас сказано: «...без снарядов и артиллерии Понеделин отбивал непрерывные атаки противника... боеприпасы на исходе... упорные неравные бои с превосходными (так в документе, и это замечено и подчеркнуто Симоновым) силами противника...»

Вероятно, слово «превосходящие» только еще формировалось, искало себе место в штабном языке и в нашем обиходе.

Горестная запись 10 августа:

«С группой Понеделина (остатки 6-й и 12-й армий) связь потеряна и сведений нет...»

Симонов особенно четко, с явным удовольствием выписывает из записи за 4 августа фразу «войска ведут себя

героически». Я знаю, что почти дословно пересказана телеграмма Понеделина, только у него было не «героически», а «геройски».

Если Южный фронт, его командование так оценило борьбу нашей группы, кто же через несколько дней, да еще и в условиях, когда связи с войсками не было, сообщил Сталину о генералах Понеделине и Кириллове как об изменниках?

После 10 августа в журнале боевых действий 6-я и 12-я армии больше не упоминаются.

Тяжелые дела на Южном фронте...

Уже 14 августа «противник охватом с северо-запада стремится овладеть Криворожем, а также с северо-востока пытается захватить города Николаев и Одесса». Падение Николаева записано, как неожиданное.

...В кабинете, где я сижу, все полки заняты книгами одного автора, так много успевшего написать и так много еще и уже не успевшего.

Книги во всех изданиях и в переводе на многие языки.

Так было при нем, так неприкосновенно и теперь.

Почему-то мне страшно прикасаться к его книгам, вообще к чему-либо прикасаться в этой остывшей комнате.

Мне очень хотелось раскрыть книгу «Разные дни войны», чтобы сравнить, сверить эти записи и выписки с тем, что вошло в книгу.

Но я, лишь вернувшись к себе домой, снял с «симоновской» полки первый том «Разных дней» молодогвардейского издания 1977 года, надписанный 26 июля того же года: «Милому Жене с любовью сорока с лишним летней давности. Костя».

Да, эти поздние выписки, преимущественно из штабных документов, хорошо и по-деловому подтверждают характеристики и предположения, касающиеся Южного фронта в том жестоком августе.

Вот Военный совет докладывает Сталину об оставшихся после гибели «группы Понеделина» 18-й и 9-й армиях: «Эти армии по численности активных бойцов являются в действительности немногим больше дивизии...»

А незадолго (за четыре дня) до передачи наших армий Южному фронту Тюленев сообщает в Ставку, что на одну стрелковую дивизию приходится 55—60 километров по фронту...

В своих записках Симонов внимательно прослеживает судьбу командарма Павла Григорьевича Понеделина и комкора-13 Николая Кузьмича Кириллова.

Формула обвинения, предъявленного им после возвращения на Родину, почти дословно повторяет приказ Сталина от 16 августа 1941 года, приказ, в свою очередь основанный на чьей-то бесчестной попытке свалить на них ответственность за все, что тогда происходило на Южном фронте.

Уже не в машинописи, от руки, большими, толстой линией фломастера, торжествующими буквами Симонов выписывает, что открыты новые данные, что обвинения сняты, что генералы реабилитированы, честь их восстановлена.

Я складываю картонные створки и завязываю тесемки папки с записями и выписками, касающимися Южного фронта. Как много знал Симонов, как много еще не рассказано о войне...

Пора мне собираться домой.

Выйдя на улицу Черняховского, я, как бывало, оглядываюсь, задираю голову — хозяин той квартиры любил смотреть вслед гостю. В кабинете горит лампа, словно там кто-то есть.

Но это я забыл выключить свет...

Скульптор из Зеленой драмы

Поздние поиски участников приграничных боев 1941 года привели меня в квартал московских пятиэтажек, однообразие которых было несколько нарушено пристройкой неправильно и даже неуклюже геометрической формы с продолговатыми окнами под как бы подрезанной крышей.

Ателье скульптора всегда настраивает входящего на некую торжественность и вызывает чувство робости: ты попадаешь в сырую и теплую атмосферу, лично мне знакомую еще по юности, по стройке первых тоннелей метро, и тебя со всех сторон обступают, возвышаясь над тобой, фигуры сталеваров, военных, мыслителей. Они свободно соседствуют с обнаженной женской натурой и замысловатыми композициями, в которых еще надо разобраться.

Тут же ванна с зеленоватой глиной, молотки и долото, бочка с водой, тряпки и куски мешковины. И возникает вздорная мысль, что ночью, когда остаются одни, гипсовые люди накидывают мешковину на плечи и, неподвижные, общаются друг с другом.

Конечно, главную роль здесь должен играть ваятель, создатель и властитель этого искусственного общества.

Дверь со двора вела прямо в мастерскую, и переход от движущегося многозвучья улицы в эту остановившуюся тишину, пожалуй, слишком скор.

Я не сразу обнаружил хозяина. Он поскромнее ростом, чем вылепленные им фигуры, но заметно, что вырывающиеся из рукавов руки с подсыхающей на запястьях глиной крепки, а может быть, и могучи, что плечи его коренастой фигуры чуть сгорблены, но не беспомощно, а так, будто всегда и надежно держат тяжесть.

Знаю, что мешает мастеру неожиданное, а тем более ожидаемое вторжение писателя, но теперь у меня уже нет пути для отступления. Однако скульптор, видимо, не привык к церемониям.

— Мы не виделись, если вообще виделись раньше, каких-нибудь сорок три года, теперь уж подождите еще

минут пятнадцать,— весело говорит мастер, держа на весу свои тяжелые руки. И продолжает лепить.

Труд описывать легче, чем повествовать о процессе творчества.

Самое малое время занимает непосредственно лепка. Не с глиной, с жизнью и смертью имеет дело мастер, а зеленовато-серая масса — лишь материал для воплощения замысла, для придания чувству материальной и зримой формы.

Вот он долго-долго, может быть, лишь ему кажется, что мгновение, стоит, отойдя на солидную дистанцию, и словно успокаивает модель, призывает ее к тишине, вот заходит сбоку, словно подглядывая. И лишь потом подносит в пальцах крохотный комочек глины, прикрепляет ее на место, поглаживает, даже, кажется, что-то шепчет.

Композиция раскинута на широкой прямоугольной доске. Автор занят, увлечен, он мне ничего не объясняет и не показывает. А я, испытывая неловкость за непрошеное соучастие, рассматриваю, что он там лепит, над чем колдует, а сам же делаю вид, что рассматриваю другие, уже готовые фигуры.

В центре доски вылеплен взрыв, высокий, стремительно и колюче расширяющийся кверху. Наверное, очень непросто вылепить взрыв из такого статичного материала. Впрочем, а что в искусстве просто? Но это, конечно, взрыв, именно взрыв, и ни на что иное он не похож, и каждое его ответвление — как рваный осколок тяжелого снаряда — мы еще сорок лет назад насмотрелись, знаем, какие причудливые и страшные формы принимает предназначенный для убийства металл.

На переднем плане, чуть правее взрыва — фигура воина, в сорок первом году его называли красноармейцем. Он в пилотке, в мятой и, может быть, окровавленной гимнастерке с петличками, за плечом старый и верный карабин. Двумя руками он прижимает к своей груди тяжеленный камень, неподъемную глыбу. На ней едва намеченная, но все же читаемая надпись — **ШЕСТАЯ И ДВЕНАДЦАТАЯ, ОТЗОВИТЕСЬ!**

В правом переднем углу площадки, покамест деревянного поля,— плита с намеченными строками еще не написанных стихов.

— Какие здесь будут стихи? — спрашиваю я и нарываюсь на хитрый ответ:

— Такие, какие напишешь!

...Конечно, это еще эскизный проект памятника, мемориала...

Я не выдерживаю своей посторонности, то ли спрашиваю, то ли утверждаю:

— Зеленая брама?!

Скульптор, не отрываясь от своей работы, кивает головой. Да, я пришел по правильному адресу, не ошибся. Мы были вместе, во всяком случае, где-то рядом, в первых числах августа 1941 года в дубраве за селом Подвысокое Новоархангельского района Кировоградской области.

— Шестая и двенадцатая армии, отзовитесь! — призывает бывший красноармеец, ставший ваятелем, и я вдруг обнаруживаю сходство фигуры, держащей на груди камень, с обликом скульптора, создателя будущего памятника.

Мы можем и не представляться друг другу. Все и так ясно.

Скульптор Лев Райзман, разумеется, без заказа, по заказу собственной совести готовит проект памятника для опушки урочища Зеленая брама.

Пришел момент, когда можно, наконец, как будто впервые в жизни, сказать друг другу стандартное и всегда безотказно действующее на влагу ресниц: «А помнишь...»

Девятнадцатилетний красноармеец Лев Райзман, сын красногвардейца гражданской войны, был 22 июня 1941 года дневальным в гарнизоне близ границы, получил на рассвете сигнал-приказ «боевая тревога» и ударил в колокол, поднимая товарищей-артиллеристов...

Тяжелые снаряды — по танкам, картечь — по пехоте противника, гаубица — прямой наводкой. Если хочешь успеть подбить танк, целясь не через панораму, а по нижней производящей ствола (из винтовки, как известно, — по верхней). Не торопись, подпуская танк на 50 метров, но не мешкай — он быстроходен.

От границы до самой Умани ни разу не снимал сапог. А спали? Не помню. А ели? Не помню.

Последний бой был уже на реке Синюхе, и сейчас можно сказать, что для Льва Райзмана все происходит как в немом кино — контузия, потеря слуха, два осколка в спине.

Только при упоминании об осколках я понял, почему скульптор как-то кривится, распрямляя спину во время работы. Да, кое-какие мышцы были повреждены, а «лечение» в концлагере «Уманская яма», наверное, помните, какое. Еще ранение прибавилось, уже когда гнали в «яму», — конвойный кольнул штыком, позабавился...

Артиллеристу очень повезло — в концлагерь привозили раненых на колхозных подводах, ездовыми были солдаты вермахта, а отгонять лошадей в село заставили команду

пленных. Охранник зазевался и заведомо обреченный красноармеец сбежал.

Влачился он в южном направлении, в одном селе наша фельдшерица пинцетом, а больше — пальцами вытащила один осколок из-под лопатки (другой остался, глубоко сидел).

Тюменец Лев Райзман добрался до Одессы, выздоравливал, помогал подпольщикам изготавливать поддельные печати для спасительных документов.

А потом была снова армия, как в песне — «Пол-Европы прошагали»: и Болгария, и Румыния, и Чехословакия, и Венгрия, и Австрия.

Теперь мне остается задать стандартный наивный корреспондентский вопрос — как вы стали скульптором?

Ответ был отнюдь не стандартным:

— Уже на территории Австрии нам достались странные и не очень кому-либо нужные трофеи — несколько ящичков восковых свечей.

Красноармеец Райзман вдруг вспомнил, что в детстве лепил из воска фигурки. Надо попробовать, может, что и выйдет. Интересно вылепить портрет товарища. Весь взвод ожидал, что получится. Оказалось — похож! Кто следующий. Так из трофейного воска вылепил он целую галерею своих боевых друзей.

После демобилизации, на родине начал лепить уже из глины, даже участвовал в конкурсе и неожиданно для себя самого — победил.

Потом были годы ученья, был энтузиазм еще не растроченной на войне юности и строгость учителей и наставников. Самоучка — это, конечно, очень мило, но ваение не забава и не профессия, это призвание, и прежде чем, по методу мудрых мастеров, убрать все лишнее, чтобы глыба мрамора превратилась в скульптуру, надо еще, как говорится, съесть пуд соли.

В разных городах нашей страны высятся скульптуры и монументы, высеченные Львом Райзманом из камня, отлитые в бронзе. Известна его композиция «Лев Толстой и яснополянские дети» (музей Толстого), портреты летчиц-героинь (музей в Монино), памятник М. И. Калинину (Кинешма).

— Главной своей работы я еще не сделал. Все эти годы, теперь уже десятилетия, я мечтал сотворить монумент для опушки леса Зеленая брама, создать памятник своим погибшим товарищам. Перед вами — эскизный проект, можно назвать его и наброском. Красноармеец, держащий

на согнутых в локте руках каменную глыбу, как видите, не согнулся. Взрыв у него за плечами, может быть, осколки впились ему в спину, а он не согнулся, я его понимаю...

Проект рождается медленно и трудно, не дает спать по ночам: ворочаюсь, а потом одеваюсь и по пустынной Москве шагаю в мастерскую. Зажигаю свет, смотрю — маленький мой мемориал на месте, красноармеец с каменной глыбой в руках стоит спиной к взрыву, ждет меня, чтобы рассвет мы встретили вместе.

Я задам скульптору еще один отнюдь не оригинальный вопрос — каковы ваши творческие планы?

— Когда мемориал для Зеленой браны будет завершен, надо набраться сил, завязать нервы в узел и приступить к еще одному проекту. На том месте, где был глиняный карьер, кошмарно знаменитый концлагерь «Уманская яма», необходимо тоже поставить памятник.

— Памятник страданию? Памятник мучениям?

— Нет, мемориал мужеству и непреклонности!

Тайна танка

Вот одна из новых легенд... Впрочем, нова ли она? — ведь речь пойдет о 1963 годе, то есть о делах и событиях, происходивших уже поколение тому назад, не меньше...

В двух письмах, полученных из Кировоградской области, сообщается, что летом 1963 года в Тишковку и Терновку приезжал генерал. Он обошел окрестные овраги, указал место, начали копать, и будто бы из глубин земли извлекли танк. К этому добавляется, что в раскопках участвовал геодезист стройтреста № 5 города Киева В. Н. Девичук, но он не знает фамилии генерала.

Казалось бы, мы имеем дело не с легендой, а со справкой...

А вот жители Тишковки и Терновки опровергают эти, такие конкретные сведения. Утверждают, что ни в 1963 году, ни раньше, ни позже не было такого. Генералы приезжали, но если бы кто из них откопал танк, это бы стало известно в селах. За гостями-генералами ходит целая дивизия мальчишек! Если бы откопали танк, куда бы его дели? Ведь не иголка!

Не нашел я в Киеве и геодезиста Девичука.

Но о том, что танк где-то ждет раскопок, разговоров много.

И еще уверяют, что на дне реки Синюхи, под двухметровым слоем спрессованного ила лежит другой танк, рухнувший с откоса...

Не скажу, новые это легенды или старые, но вот буквально вчера полученное письмо. Адресат — Михаил Антонович Сторчак, киевский военный строитель, принадлежащий к послевоенному поколению.

Сторчак был на охоте в одном из лесков Кировоградской области, остановился с товарищами у лесника и всю ночь слушал рассказы о том, что творилось в августе 1941 года.

Цитирую письмо:

«Этот лес, оказывается, называется Зеленой брамой. Рассказчики участниками боев не были, но говорили остро,

заинтересованно, с подробностями: накануне пленения наши закопали в лесу танк, а в танке документы и знамена частей. Закопали надежно. Немцы об этом почти сразу же узнали, искали танк. Копали и наши пленные (видимо, по принуждению.— *Е. Д.*), и немцы, но ничего не нашли.

Несколько лет назад приезжали в лес наши саперы. Тоже искали танк. Накопали много разного, а танка не обнаружили. Уезжая, сказали, что приедут еще раз, только лучше подготовленными.

Всего этого в ваших книгах нет. Что это, легенда? Скорее всего. Ну а если нет, не легенда? Тогда танк надо искать и находить...»

Я бы отнес сообщение Михаила Сторчака к разряду охотничьих баек, если бы его письмо было единственным. И в моих папках и в материалах народного музея села Подвысокое немало тревожащих душу воспоминаний, откровений, всевозможных пометок на картах, чертежей, схем...

Пишут пионеры, что жена Григория Клементьевича Булаха, служившего лейтенантом в разведотделе 12-й армии, рассказала: в 1979 году, на смертном одре, Булах позвал ее и открыл тайну: в том августе, когда положение стало абсолютно безвыходным, он с майором, фамилию которого запомнил, закопал в овраге документы особой важности.

Булах собирался нарисовать план местности, но не успел...

Еще одно свидетельство: сын старшего лейтенанта Ф. И. Гнатенко Виталий вспомнил, что писал отцу письма на фронт с пометкой «соединение Снегова». В августе 41-го отец попал возле Подвысокого в плен, прошел муки лагерей, партизанил, снова встал в строй армии и был тяжело ранен под Бреслау (Вроцлав). Жена и сын нашли пропадавшего без вести Федора Гнатенко в госпитале в Ессентуках, проводили дни у его койки, слушали его одиссею. Отец рассказывал, что закопал в овраге важнейшие документы, куда-то писал еще с фронта об этом, посылал чертежи и все тревожился: надо скорее встать на ноги, поехать в Подвысокое, произвести раскопки. Увы, 18 августа 1945 года Федор Гнатенко скончался от ран и унес в могилу тайну «соединения Снегова».

«Соединение Снегова» — это 8-й стрелковый корпус 12-й армии.

Генерал-майор Михаил Георгиевич Снегов был в армии человеком известным, одним из первых генералов, удостоенных в Великую Отечественную ордена Красного Знамени

(за Перемышль). О его храбрости писала «Правда» еще в августе сорок первого.

Я говорил с ним лишь однажды, вероятно, первого или второго августа. Положение 8-го корпуса уже было тяжелейшее, но генерал, узнав, что я из армейской газеты, оторвался от карты, спросил, здесь ли Аркадий Гайдар. Они, оказывается, были знакомы еще по гражданской войне. Я ответил, что Гайдар в Киеве...

Но это было так давно! Памятник Гайдару на днепровской круче в Каневе; уже четверть века нет среди нас Михаила Георгиевича Снегова.

Сопоставив письма и свидетельства, собравшиеся на моем рабочем столе, я пришел к убеждению, что легенда о тайнике и танке имеет вполне реальное основание. Пятого августа, перед тем как повести остатки своих войск на прорыв, Снегов приказал загрузить в танк (точнее — в танкетку, она куда меньше) знамена дивизий и полков, а также сейфы с документами корпуса. Танкетку надо было загнать под землю, как хранилище, как своеобразную оболочку спрятанного...

Куда ж ее зарыли?

Якобы в одном из оврагов, именуемом Евдошиным яром, был недостроенный блиндаж. (С названием Евдошин яр тоже связана легенда, только старинная, времен крепостного права, легенда о неравной любви помещика и крестьянки, о самоубийстве девушки по имени Евдоха, что в литературоведении именуется бродячим сюжетом.)

Блиндаж строился для крупного штаба, вероятно, для штаба 8-го корпуса, когда приказано было держать оборону, а может, и для армейской группы. Успели врезать его в склон оврага, чтобы потом накатать сверху бревна. Но штаб Южного фронта наконец разрешил идти на прорыв, в блиндаже уже не стало необходимости, последним пристанищем штаба стала сторожка лесника.

А в недостроенный блиндаж вкатили танкетку, забросали землей, заровняли, даже выложили дерном поверхность.

Все это трудно выдумать. Сведения и сообщения пришли с разных сторон и продолжают поступать поныне.

Перед нами легенда и рабочая гипотеза.

Странно и прекрасно, что танкетку не нашли немцы. Откуда я знаю, что они не нашли? Не только из вышеприведенного письма Сторчака. Ведь если бы нашли, про такую находку раззвонили бы во всех газетах. Знамен 8-го корпуса не было среди трофеев вермахта. Это тоже известно.

Задаю себе вопрос: почему генерал Снегов, вернувшийся из плена и продолжавший служить в Советской Армии до 1960 года, до своей кончины, ни разу не съездил в Подвысокое?

Ответ не однозначен. Командир корпуса мог и не знать, в каком овраге по его приказу зарыта танкетка. Не сам же он закапывал знамена! Он был тяжело ранен и 7 августа на носилках захвачен в плен.

Можно понять и нежелание генерала побывать на местах, как он считал, своего позора.

Я связался с родными Михаила Георгиевича. У него три сына-офицера. Полковник Юрий Михайлович Снегов принес мне пластиковый пакет с бумагами отца.

Пакет нашли после смерти Михаила Георгиевича, он хранился в семье, но к нему не прикасались.

Семейная реликвия — тетрадка, сшитая синими нитками из половинных листков какой-то иностранной разграфленной бухгалтерской книги.

Оказывается, Снегов в плену писал стихи, по правде говоря, не очень складные, но пронзительно-искренние. Исключительно лирические миниатюры. Но я почувствовал, разбирая эти карандашные записи, что генерал опасался — вдруг стихи попадут в руки его палачей — и пользовался лирикой, как неким шифром. Значит, я вижу только верхушку айсберга — не им ли стала в плену его оледеневшая душа?

Мне часто приходится читать чужие рукописи, так или иначе не предназначавшиеся для моих глаз, и я всегда испытываю чувство неловкости при непрошеном вторжении в чужой мир, будто пойман при подглядывании. Сын генерала снимает с меня эту тяжесть — читайте!

В той же тетрадке — дневниковые записи, разговор с самим собой.

Знаю, Снегов слыл суровым солдатом и в концлагере, уже на территории Германии, был избран товарищами председателем тайного суда офицерской чести. Он беспощадно карал предателей и изменников (об этом генерал М. Ф. Лукин рассказал писателю, биографу Снегова — Александру Васильеву).

Но послушайте, сколько нежности и любви к солдату в полустершейся карандашной записи, сделанной генералом в неволе:

«Не забыть никогда того дивного выражения, полного невыразимой теплоты и чувства высокого подвига, что светилось в этих сотнях и тысячах серых и голубых глаз.

Так могут смотреть только истинные герои, скромные, простые и незаметные, которые молча и всецело отдали жизнь свою для спасения любимой Родины...»

Я невольно задерживаюсь взглядом на каждой страничке, читаю душу этого незаурядного воина, а задача передо мной стоит другая: уверен — найду что-то, относящееся к Евдошиному яру!

Мы с Юрием Снеговым перекладываем листы бумаги и набредаем на рисунки. Тем же карандашом, которым записаны стихи и мысли, нарисованы карты и схемы. Рисунок мелкий и, насколько я понимаю, зашифрованный до предела. Почему? Известно, что гестапо пыталось лестью и послаблениями в режиме склонить плененных генералов к «научной» деятельности: господа, воспользуйтесь избытком свободного времени, пишите историю своих воинских соединений, проводите разбор операций, в которых принимали участие... Снегов не поддался на провокацию.

Карты и схемы на ветхих листках, которые я осторожно держу сейчас в руках, составлялись для себя, для памяти. Изучаю, рассматриваю каждый сантиметр через увеличительные стекла, но не в силах разобрать, помечены ли тайники 8-го корпуса... Наверняка они здесь учтены, но как прочитывать условный рисунок?

Спрашиваю Юрия Михайловича Снегова, не вспоминал ли отец о тайниках. Полковник перебирает в памяти далекие годы. Постойте, постойте, был случай, вероятно, единственный. Однажды, в первые послевоенные времена, к отцу приезжал его бывший порученец...

Вообще-то генерал Снегов ни об уманском окружении, ни о плене никому не рассказывал, всякие разговоры на болезную тему пресекал с не свойственной ему в семье резкостью. Но лет тридцать пять назад его посетил дорогой гость. Явился без предупреждения. Они обнялись, долго молчали. Когда прошла оторопь встречи, разговорились, делились воспоминаниями, генерал все его не отпускал.

Оказалось, это его тогдашний адъютант, порученец. — Они о танке со знаменами не говорили?

Юрий Михайлович разводит руками... Разговор велся в соседней комнате, старались не беспокоить собеседников, не сбить их с волны, на которую оба были настроены. Но говорили о Зеленой бреме, это точно.

Фамилию, имя, отчество порученца сын генерала не помнит... Звание? Про звание был разговор, вроде после возвращения из Франции адъютанта не восстановили в звании капитана, он очень обижался.

— Что значит — возвращение из Франции?

Оказывается, адъютант из Уманской ямы был увезен на Запад, бежал, был в отряде маки.

— А откуда приезжал порученец после войны?

— С Украины, кажется, из Львова...

Через несколько дней полковник Снегов позвонил мне и сказал, что его мама, Вера Андреевна Снегова, обладает лучшей памятью, чем сын, и вспомнила, что фамилия адъютанта Ганночка. Имя и отчество, простите, забыла... Как найти этого человека? Правда, он носит редкую фамилию, но достаточно ли этого?

На мое счастье, в нашей стране, и едва ли не в каждом городе, есть вдохновенные искатели и краеведы, они много знают и умеют искать...

Круг их интересов — война, которую они не помнят. Не сама война, а героизм земляков.

Я обратился к своей заочной знакомой, журналистке львовского телевидения Лесе Михайловне Козик. Она в своих поисках не раз соприкасалась с героями Зеленой браны и присылала мне очень интересные материалы.

Я начал получать из Львова огорчительные телеграммы — след Ганночки потерян... И вдруг — торжествующая депеша. Леся Михайловна обнаружила Ганночку. Он теперь живет в Полтаве, есть адрес.

«Выезжаю в Полтаву. Козик».

Чудесные и удивительные все-таки люди — эти искатели!

Текущие дела, весь быт — в сторону, надо прихватить полпятницы, субботу и воскресенье и лететь в Полтаву.

В понедельник — уже из Львова — телефонный звонок, а за ним письмо.

Ганночка Степан Лаврентьевич, 1905 года рождения. С 1927 года в Красной Армии, кавалерист, командир эскадрона. Был комендантом города Перемышля, а когда Перемышль сдали во второй раз, Снегов оставил капитана Ганночку при себе для особых поручений.

В Зеленой бране капитан был ранен в голову. Не до госпитализации было, продолжал действовать. Надо было закопать в ближайшем яру документы и знамена. Это было последнее поручение Снегова.

А потом — плен, дорога невольников на Запад. Капитан совершил побег из плена уже во Франции (Шербур). Все верно, Ганночка воевал в маки. В апреле 1945 года, будучи в Париже, он узнает, что американцы доставили туда группу освобожденных ими из концлагеря советских гене-

ралов и они живут в отеле, ожидая возвращения на родину. Капитан является в отель, докладывает генерал-майору Снегову М. Г., что прибыл с машиной и предлагает совершить поездку по Парижу, готов быть экскурсоводом...

Все это не сразу стало известно Лесе Михайловне.

Поначалу Степан Лаврентьевич был, что называется, закрыт на все замки.

Он — увы, не без оснований — считает себя обиженным и всеми забытым. Товарищи по Червоному казачеству, по Перемышлю, Подвысокому, Шербуру и Парижу постепенно ушли из жизни либо растерялись по белу свету.

Перебравшись из Львова в Полтаву, старик живет одиноко, борется с хворобами. В городе о нем и про него никто не знает, и пусть не знает. Кому он нужен?

Но следопыты недаром называются красными следопытами. Они обязаны добираться до тайников, а прежде всего проникать в человеческие души.

Леся Михайловна сумела не только разговорить старого воина, но и создать атмосферу доверия и откровенности. Ганночка разволновался, по-доброму раскрылся.

Конечно, она встретила человека-легенду! О нем надо рассказывать и рассказывать, а может быть, и поэму сложить!

Невероятно!

А сколько таких удивительных судеб еще не найдено, ждет своего запоздалого часа?

И мне даже немного досадно, что приходится отложить всю французскую эпопею коменданта Перемышля и сосредоточиться не на Булонском лесе и Елисейских полях, а на Зеленой бреме и Евдошином яре. Вместе с письмом-отчетом Козик прислала нарисованную Ганночкой для меня по памяти схему — где примерно должен находиться тайник 8-го стрелкового корпуса.

Надо искать! Вновь забрезжила надежда!

Не подтверждается история с раскопками 1963 года, но и раньше, и позже все-таки землю эту тревожила лопата. Приходилось и лесникам, и работникам районного военкомата останавливать и предупреждать самодеятельных археологов о том, что тайники могли быть не просто заминированы, но наверняка хитроумно связаны с толовыми зарядами. Не только в кировоградских краях, всюду, где прошла война, до сих пор даже грибники и собиратели целебных трав рискуют подорваться на минах.

Участник боев Николай Михайлович Лютов несколько лет назад приезжал сюда из города Владимира, с ним были корреспондент газеты «Красная звезда» и представители архива Министерства обороны. Лютов сам закапывал сейфы с документами, хорошо запомнил и восстановил план местности.

Поиски этой экспедиции были удачными, а все же тайник не сразу открылся своему, так сказать, основателю: Лютов говорит, что сейфы были им обнаружены на некотором расстоянии от дерева, под которым их закопали. То ли дерево шагнуло в сторону, то ли сейфы несколько сдвинулись, поддались вращению земного шара...

Четыре десятилетия позади, пятое десятилетие стремительно отсчитывает годы. Все заросло, спряталось под землю, исчезло... Но оказывается, надежда есть, может быть, поиски только начинаются?

В Зеленой браме до десятка лесных участков, каждый контролируется лесником. У одного из них я побывал в 1983 году. Он рассказал мне, что в некоторых квадратах дубравы, когда шагаешь, чувствуются изменения структуры почвы. То твердая земля, то плывет под ногами, хотя заболоченностей нет. Что-то закопано в земле!

Мы ходили по лесу, и он удивлял меня, знакомя с деревьями и называя их возраст. За сорок лет вырос новый лес, а старый как бы перестроился, перегруппировался...

Я обратил внимание на то, что крыша гаража при доме лесника отличается каким-то странным, неровным покрытием. Перехватив мой взгляд, лесник объяснил: гараж покрыл толем, а сверху — осколками, главным образом «рубашками» ручных гранат — здесь этого добра сколько угодно.

Я спросил, не находили ли еще чего в земле, и получил огорчительный ответ: в глубине леса однажды, уже забыто, по какому поводу, он копнул лопатой и натолкнулся на перевязанные бечевками и туго обернутые клеенкой пачки книг. Между прочим, место там сухое, и книги неплохо сохранились, только подгнили по углам. Так что находку удалось сдать в макулатуру и получить «Королеву Марго» и «Графа Монте-Кристо».

Боже мой, даже не разобрали, что за книги, сдали в макулатуру!

А ведь в первом издании «Брамы» я привел письмо бывшего воина 80-й дивизии, ныне пенсионера Б. И. Водовоза, живущего в поселке Смотрич Хмельницкой области. Водовоз сообщал, что вместе с тылами дивизии в лесу оказалась

упакованная в пачки библиотека проскуровского Дома Красной Армии. В ее фондах хранилось несколько уникальных книг (видимо, в свое время реквизированных в помещичьих усадьбах и старинных замках), в том числе первое прижизненное издание Собрания сочинений А. С. Пушкина.

Когда положение стало критическим, полковой комиссар С. Ш. Прейс приказал зарыть библиотеку.

Вполне вероятно, что находкой лесника и оказалась проскуровская библиотека и бесценное издание Пушкина вместе с другими книгами было сдано в макулатуру...

Будем надеяться, что леснику попали в руки какие-то другие книги! А Пушкин еще найдется...

Хочу верить.

Основания для надежд есть. Предстоят еще раскопки.

...Могли ли себе представить славные мои товарищи, что по тем дубравам, где мы накапливались для атак, увы, не увенчавшихся успехом, по тем оврагам, куда санитары сносили нас, едва державшихся на ногах, обессиленных от потери крови, по тем хатам, где колхозники прятали нас на чердаках, под теми дубами, где мы закапывали документы, через много-много лет пройдут молодые, годящиеся нам во внуки, модно-бородатые кандидаты физико-математических наук с мудренными приборами, и их поход будет называться «Поисковая экспедиция Зеленая брама-1983».

Отчет экспедиции лежит передо мной, на первой странице всевозможные визы и подписи ответственных исполнителей и заведующего отделом космической электродинамики Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Академии наук СССР.

Признаюсь, экспедиция была для меня полной неожиданностью. Только возвратившись из Подвысокого, «исполнители» пришли ко мне знакомиться.

Они оказались очень славными парнями, вдохновенными романтиками, имеющими за плечами немалый поисковый багаж и нелегкий опыт: руководитель группы майор внутренней службы Юрий Лискин — участник экспедиций по местам трудовой и боевой славы; научный руководитель Андрей Станюкович, обнаруживший с помощью приборов пушки с корабля Витуса Беринга на Командорских островах; Юрий Ружин — один из разработчиков проекта создания искусственного северного сияния; Игорь Пименов — участник зимовки на станции «Восток» в Антарктиде.

В экспедиции еще участвовали физик Владимир Скомаровский, мастер спорта по подводному плаванию Александр Колесников, фотограф и тоже мастер спорта Андрей Покровский и даже собственный молодой поэт, милицейский офицер Владимир Метельков.

Вот такая дружина обследовала район сражений августа 1941 года.

Прочитав мой рассказ о тех событиях, ребята, оказывается, решили проверить участок при помощи специальных приборов.

Между нами говоря, они применили некоторую хитрость: чтобы их поездка не показалась начальству недостаточно научной, они в своих заявках нажимали на то, что есть возможность испытать новые поисковые приборы, а институт как раз в этом нуждался.

Искатели объяснили, что планировали встречу со мной перед выездом, но я тогда был на конгрессе мира за рубежом.

Они явились сразу по возвращении — возбужденные, шумные, кажущиеся громадными, прямо с порога вручили мне странный, по первому впечатлению — таинственный подарок: невеликий, но очень тяжелый мешок, наполненный каким-то шевелящимся, перемещающимся, движущимся грузом. В мешке оказался — нет, это невероятно! — отлично сохранившийся типографский шрифт нескольких гарнитур — тот самый шрифт для ручного набора, который принадлежал походной типографии армейской газеты «Звезда Советов» и был похоронен моими коллегами по редакции в последний день существования газеты в селе Подвысокое.

Оказывается, появление экспедиции в Подвысоком породило у сельчан интерес ко всему, что когда-то было закопано в их землю. Вспомнили, что еще в годы оккупации партизаны набрали на кассы со шрифтами и набирали листовки, что в некоторых хатах в качестве детских игрушек хранятся свинцовые палочки с буквами. В общем шрифты собрали в мешок, вот они, полюбуйтесь, как сохранились! Железо рассыпается, медь превращается в мягкую зелень, а этот сплав, именуемый гартон, — целехонек! Вы можете понюхать буквы на ладони и подтвердите, пожалуйста, что шрифт — тот самый. Его просил передать тому, кто закапывал, участковый уполномоченный милиции товарищ Колючий...

Кандидаты физико-математических наук были командированы лишь на неделю.

Народ оказался серьезный: понимая, что срок слишком мал, они не занимались раскопками, ограничились разведкой неглубоких подвысоцких недр.

В аннотации так и сказано, что докладываются результаты магниторазведочных работ для поиска объектов, сокрытых в августе 1941 г. частями РККА. Применялись серийные протонные магнитометры МПП-203. «Задачей работ являлся поиск аномальных зон на перспективных с точки зрения наличия тайников участках, их картирование, предварительная интерпретация и, в ряде случаев, проверка выявленных аномалий раскопками».

Хозяева экспедиции — ДОСААФ Краснопресненского района, ДОСААФ МВД. Ребятам содействовали Центральный музей Вооруженных Сил, командование Киевского военного округа.

Далекие события, политые нашей кровью, переведены на язык науки, и я никак не могу сопоставить прошлое с сегодняшним. А у ребят, оказывается, глазами и ушами стали «быстродействующие квантовые магнитометры, где вывод информации производится на печатающее устройство с запаздыванием считания на 6—7 измерений».

Нет, не понимаю и не пойму никогда, не для меня эти премудрости!

Запутавшись в таблицах и чертежах, я простодушно спросил, что найдено, но мне вновь популярно объяснили, что была лишь рекогносцировка, когда будут окончательно выявлены аномалии — следующая экспедиция уже поведет раскопки.

Оказалось, кандидаты физико-математических наук умеют увлеченно и увлекательно рассказывать, как они обнаружили под землей массы металла, и не только под землей, но и под водой: целый день провели на Синюхе, проверяли с лодки места, на которые указывали старожилы, и теперь убеждены, что на глубоком месте, под не менее чем двухметровым пластом ила есть «объект», заставляющий безумствовать стрелки магнитометров, и что это вернее всего — танк.

Их обследование показало, что дно Синюхи сплошь выстелено металлическими предметами.

Они теперь знают, где искать... (Спросили бы меня раньше, я бы указал, где могут и должны быть эти самые аномалии.)

Пожалуй, ребята несколько поторопились, не изучили историю наших боев в окружении, расположение штабов,

позиции частей, не рассмотрели и не нанесли на местность все схемы и чертежи, присланные участниками боев и хранящиеся в народном музее. Простодушно поддавшись советам одного ветерана, случайно оказавшегося в этих местах, они, например, приняли на веру, что легендарный танк был закопан 31 июля в районе Легедзино... Но в тот день еще держалась Умань, еще не сомкнулось кольцо, и положение не могло быть расценено как критическое. Людей, которые бы закапывали документы и знамена 31-го июля, посчитали бы преступниками. Никто бы не дал им, не позволил приступить к похоронам танка! Танк был еще нужен для боя!

Нетрудно было догадаться, что в августе говорливого консультанта вообще не было в районе боев — он был, по его же словам, ранен и успел уйти либо его эвакуировали. Это могло происходить только раньше трагедии.

Танк закопать могли лишь после 5 августа, когда положение становилось безнадежным...

Не скрою, я очень обрадовался, узнав, что моя книга хоть на один тайник, а все же навела экспедицию.

Я упомянул в одной газетной публикации о колхознике Сергее Горячковском, жителе Подвысокого, о его сыне Грицько, собиравшем в Зеленой бреме оружие для партизан.

Вскоре пришло письмо из белорусского города Несвижа: «Я — тот самый Грицько...»

Григорий Сергеевич Горячковский успел послужить в армии, закончил высшую партийную школу. Теперь он на советской работе в Белоруссии. К письму своему он приложил лист топографической карты с пометкой: вот тут, на огороде, были зарыты документы крупного штаба, а также оружие.

Рисунок Григория Сергеевича, бывшего Грицько, я отослал в Народный музей вместе с другими схемами, коих накопилось у меня предостаточно (на одной, присланной в прошлом году, отмечено крестиком место, где должен быть закопан... самолет. В достоверности этих данных сомневаюсь, но столько чудес вокруг Зеленой браны, что все версии подлежат изучению и проверке).

Грицько предупреждал, что тайник, вероятней всего, заминирован и необходимо проявить осторожность.

И вот в отчете кандидатов физико-математических наук появился в списке обследованных объектов «участок Горячковского».

Это дом 129 по Зеленобрамской улице.

Несмотря на то что был разгар лета, хозяйка разрешила копнуть на огороде, и были найдены, видимо ранее хранившиеся в чемодане, окончательно сгнившем, наган, гранаты, патроны и часть мундира комиссара высокого ранга.

На рукаве — комиссарская эмблема, но не обычная, а золотого шитья.

Как видно из отчета, к изучению предметов была привлечена лаборатория реставрации Института археологии Академии наук, и вот как записано восстановление комиссарской звездочки: «Нашивка (фрагмент многослойной ткани с позументным шитьем) обрабатывалась следующим образом: многократное смачивание перхлорэтиленом на подложке из нескольких слоев фильтровальной бумаги с параллельной механической очисткой острым глазным скальпелем витков позументного шитья...»

Все по науке...

В том же развалившемся чемоданчике обнаружили здорово обглоданный ржавчиной наган и пачку бумаг, которая, правда, в руки искателей не далась.

Вообще в обращении с бумагой открыватели пушек Витуса Беринга, покорители Антарктиды и изобретатели искусственного северного сияния не проявили должного умения. Кандидаты физико-математических наук разве не знали, что пролежавшая более сорока лет под землей бумага, поддававшаяся воздействию влаги и микробов, не выдерживает встречи со свежим воздухом и солнечным светом? Она превращается мгновенно в пыль, в прах, ни восстановить, ни прочесть уже ничего нельзя.

К сожалению, нестойкость бумаги вообще не принимается во внимание многими, если не всеми искателями и следопытами. Находя «смертные» медальоны, не могут удержаться, чтобы не раскрыть их. Легкомысленное любопытство еще одну судьбу хоронит второй раз, и теперь уже навеки.

А ведь если комиссар высокого ранга закопал вместе со своей гимнастеркой бумаги, это, конечно, была не просто пачка старых газет. Но и пачка газет представила бы интерес: ведь нашей армейской газеты «Звезда Советов» нет ни в одном архиве! (Я уже об этом упоминал.)

Правда, в выводах экспедиции отмечено, что необходимо в дальнейшем подключать к поиску специалистов в области обработки и сохранения документов, всего того, что в отчете именуется «оперативной полевой консервацией».

Ценный трофей экспедиции — коллекция найденных в земле печатей воинских частей и соединений. Печати однотипны — бронзовые круглые, с выгравированными номерами и буквами, их вжимают в расплавленный сургуч. Они отлично сохранились, хоть сейчас засургучивай секретный пакет.

Последние дни экспедиция действовала в сотрудничестве с саперами, присланными из военного округа. Но поле деятельности для саперов не было обеспечено, рекогносцировка лишь началась.

О результатах говорить рано. А все-таки дело сдвинулось с нулевой отметки...

Мы расстались с участниками экспедиции добрыми друзьями и условились, что вместе будем изучать поступающие письма и документы, готовиться к продолжению поисков.

Не прошло и недели — меня посетили двое человек из новой группы искателей. Очень молодые, с хорошей спортивной осанкой, самоуверенные.

Представились: Юрий Смирнов — юрист, Алексей Архипов — шофер. Живут под Москвой, в Красногорске, состоят в активе клуба «Искатель», организованного горкомом комсомола. С детства увлекаются подводным плаванием и исторической наукой. Члены клуба, аквалангисты, коллективно читали «Зеленую браму» и договорились готовить экспедицию на реки Синюху и Ятрань.

— Что, по-вашему, можно обнаружить в глубинах этих рек?

Отвечают бойко:

— По-нашему, то же, что и по-вашему. У вас написано, что на дне Синюхи остался танк, значит, мы его должны найти и обследовать.

Мне очень захотелось поближе узнать этих молодых людей.

Оказывается, они уже не первый год занимаются подводными поисками, ездили на Черное море, где сотрудничали с археологами; прослышав байку о сокровищах московского Кремля, вывезенных Наполеоном и затопленных в Бобровском озере, по-партизански махнули в Белоруссию, но их оттуда, как говорится, «наладили», популярно объяснили, что хватает своих аквалангистов и обойдутся без красногорских искателей.

Поговорили о «Черном принце», Бермудском треугольнике, о тайнах морей, и я все-таки посчитал необходимым несколько остудить пыл красногорских ихтиандров: вам

нужны сокровища Наполеона, амфоры эллинских кораблей, а на Синюхе в лучшем случае вы достанете со дна ржавое железо.

Мои гости так на меня посмотрели, что я засомневался — могут ли люди разных поколений понять друг друга, и уверился, что они не отступятся, все равно поедут на Синюху доставать танк...

Достанут?

Хочу верить и верю в их успех. Помощь населения им обеспечена, болельщиков у них хоть отбавляй.

Могу представить читателям в подтверждение хотя бы такое письмо. Оно от Н. А. Левицкого, механика машиностроительного завода в Дружковке (Донбасс). Левицкий сообщает, что ему 34 года и вот уже 14 лет он с товарищами ходит по местам боевой славы вдоль Северского Донца, ведет раскопки, научился подрывать снаряды и мины, разряжать старые гранаты.

«Но это все детство!» — восклицает донбасский следопыт.

А настоящим делом он считает раскопки в районе Зеленой браны и готов принять в них участие. Он мог бы провести в экспедиции свой очередной отпуск, предлагает разбить местность на квадраты и каждый квадрат обследовать, а также изучить все письма, чертежи и схемы.

Письмо завершается скромно: «Думаю, что даже как рабочая сила я пригодился бы...»

Притяжение памяти

Будничной, хлопотливой, далеко не безмятежной жизнью живет Подвысокое. Круглосуточно дежурят агрономы в диспетчерской колхоза «Дружба», с рассвета заняты колхозники на фермах, в ранний час по улицам и тропинкам идут ребята в новую, мало чем отличающуюся от столичных, светлую и просторную школу, тепло дышит и позванивает металлом кузница, пофыркивают тракторы... Приветливы утренние дымы над хатами, а плывущие в южном небе облака словно паруса на мачтах телевизионных антенн...

По графику прибывает из районного центра крытая полупортка, останавливается у домика почты. Сгружают газеты, журналы, посылки, письма. Индекс, знакомый многим, — 317551.

Есть почти в каждом постпакете конверты с цветистыми иностранными марками — они адресованы КИД, то есть клубу интернациональной дружбы.

Обращает на себя внимание, но уже давно не удивляет подвысоцких почтарей приход писем без точного адреса — пишут в Подвысокое, будто это не село, а человек такой и можно к нему обратиться, как к другу или старому знакомому.

Попадается корреспонденция и с адресом и адресатом Зеленая брама, словно это женское имя и фамилия.

Много приходит запросов от родственников воинов, пропавших без вести. Уже известно, что надо их направить председателю сельсовета для проверки по скудным спискам захороненных в братских могилах, ну и конечно в школу и в музей — учителям Фартушняку и Симоненко. Придется педагогам и старшим школьникам-экскурсоводам до ночи разбирать музейный архив: вдруг что-то, хотя бы косвенно содействующее поиску, найдется, обнаружится.

Другая категория писем обращена ко всему селу: вот и читают их многие — старые и молодые его жители.

Подобные письма получают и редакции центральных и украинских газет, а после опубликования ряда статей о боях сорок первого года стал получать и я.

Приведу отрывки из некоторых писем:

«Я решил приехать 9 мая к вам и еще раз повидать тот памятный клочок земли, оставшийся дорогим мне на всю жизнь... Мне кажется, прожившему в нормальных условиях жизнь не так дорого прошлое, как прожившему в тяжелых условиях... Может, и кто из моих однокашников придет», — пишет в Подвысокое Иван Белобрысов из Новограда-Волынского. Белобрысов — это фамилия, которую ему дали в детском доме. Он стал сыном полка в 44-й стрелковой дивизии, музыкантом, и оказался в эпицентре тяжких боев. Потом мальчика спрятали колхозники, но уберечь не смогли — он был увезен на работы в Германию, четыре раза бежал, угодил в тюрьму, был освобожден американцами и вернулся на родину. Много пришлось пережить Белобрысову после боя в Подвысоком, а вот осталась эта земля ему не просто памятной, но дорогой...

Еще письмо:

«В сентябре собираюсь побывать в Умани и Подвысоком. Хочу поклониться тем, кто отдал жизнь за Родину в этих известных нам с вами местах», — пишет мне агроном Митрофан Афанасьевич Патронников из Краснодара. (Он приезжал в Москву, мы познакомились, подружились.)

Политрук, комсомольский работник дивизии, он в сорок первом хлебнул лиха, а в сорок третьем участвовал в движении Сопrotивления в Руре. Там, в неволе, обуревавшие его чувства нашли выход в поэзии; его стихи и песни распространялись среди «острабочих» и в лагерях военнопленных. Многим пришлось по сердцу строки:

*Уманскую яму
И терновский двор,
Все, что было с нами,
Помним до сих пор.*

«...Надо продолжить исследование этого сражения — говорю и от себя и, набравшись смелости, от имени павших», — обращается в «Литературную газету» инвалид войны, награжденный орденом Ленина, А. В. Богомоллов из Красногорска.

Участник штыковых боев в бреме, бывший политбоец-доброволец, киевский инженер Владимир Пивоваров делится своими планами:

«Я принял решение уйти на пенсию в следующем году, в День Победы выехать на неделю в село Копенковатое и разыскать штабную землянку полка».

Письмо из города Владимира:

«Родственники и жены погибших офицеров интересуются и просят узнать: не намечается ли на июль — август встреча ветеранов 6-й и 12-й армий?»

«К вам обращается учительница 8«А» класса. Мои ученики, действующие по маршруту «никто не забыт, ничто не забыто», выражают настойчиво желание на время осенних каникул поехать в Зеленобрамский район Кировоградской области и ознакомиться с историей сражения, происходившего в сорок первом году.

Убедительная просьба сообщить, в Москве или в Киеве можно приобрести путевки, на сколько дней рассчитывать поездку и ее стоимость. От Чернигова до Киева детей доведут автобусом».

Я ответил, что никаких путевок не существует, да и время поездки выбрано не очень удачно. Может быть, лучше летом отправиться в места, названные в письме Зеленобрамским районом, но надо предварительно списаться с подвысоцкими учителями и сельсоветом.

Интересное послание получил я от участника гражданской войны, проживающего ныне на Урале. Он вспоминает, что конники под командованием Григория Котовского в мирное время дислоцировались вокруг Умани, и просит опубликовать в печати, что это — историческое место. Старый воин запомнил названия сел — Терновка, Нерубайка, Подвысокое. Здесь встречался он с самим Григорием Котовским, а недавно узнал, что в Отечественную новое поколение воинов прославило эти края.

Вот почему старый кавалерист мечтает побывать в исторических местах, да только придерживают, мешают путешествию годы — а их уже девяносто.

Передо мной еще одно письмо.

Оно глубоко меня взволновало.

Сын пропавшего без вести батальонного комиссара Вахрушева — Валерий Иванович — всю свою жизнь ищет следы отца, который был заместителем начальника политотдела 45-й танковой дивизии. Известно лишь, что танкисты, оставшись без танков, дрались отчаянно в пешем строю, что Ивана Матвеевича Вахрушева видели поднимающим товарищей в атаку на опушке дубравы в один из первых дней августа. (Я могу понять и простить товарищей, не могущих точно назвать число: все те

дни и ночи соединились в один сплошной и нескончаемый бой.)

Долгие годы проработавший на Севере Валерий Иванович Вахрушев сообщает:

«Девятого мая поеду в село Подвысокое, чтобы взять горсть земли — в моих руках она никогда не засохнет. Если уточню место гибели отца, поеду жить постоянно в село Подвысокое».

(Из Подвысокого мне позвонили по телефону.

В села, расположенные вокруг Зеленой брамы, съехалось несколько десятков участников событий 1941 года. Были даже товарищи, которые специально прибыли с Дальнего Востока и из Сибири.

Был и Вахрушев Валерий Иванович...

При помощи красных следопытов он определил место гибели своего отца и нашел его могилу...)

Так распространяется память...

Народный музей в Подвысоком уже посетило более сорока тысяч человек. Серьезная и солидная цифра, особенно если принять во внимание, что село далеко от железнодорожных станций и добираться туда сложно.

Но для Подвысокого, Копенковатого, Терновки память войны не ограничивается жестокой панорамой августовского сражения, и не только тех боев герои останутся в истории края. У этих нив и дубрав, у этих сел и деревень есть еще и свой, если можно так выразиться, личный счет военных времен.

В колхозе «Дружба» составлены списки; из них явствует, что шестьсот восемьдесят шесть мужчин Подвысокого (и прилегающих к нему, а ныне объединенных колхозом деревень Россоховатки и Владимировки) в сорок первом и сорок четвертом по мобилизации, а еще чаще добровольцами пошли в ряды Красной Армии и сражались на разных участках фронта — от Белого до Черного моря.

Но и те из местных жителей, кто в период оккупации работал в подполье и партизанил, тоже далеко не все действовали именно в этих краях: есть среди колхозников Подвысокого ставшие — по обстоятельствам — и псковскими, и керченскими, и чешскими, и французскими партизанами. Жива память о тех, кто не вернулся...

А не вернулись в хаты, стоящие на опушке Зеленой брамы, триста восемьдесят граждан села. Вдали от дома лежат они в братских могилах на берегах Волги и Миуса, Нарева и Дуная. Им приносят цветы памяти и благодарности в Праге, Будапеште, Белграде...

Но память о них и здесь, на родных холмах.

В центре села, на устремленной к небу стеле,— их имена и фамилии.

Стела в память об односельчанах тем и отличается от обелисков, установленных по соседству и рядом на могилах воинов 6-й и 12-й армий, что на обелисках совсем мало имен, но, увы, много безвестных спят в глубине земли, под ними. А стела с плотно выстроившимися на граните именами высится тоже над захоронением неизвестных солдат, погибших в августе сорок первого при защите этой земли, а вот имена и фамилии — здешние, и невыносимо тяжело их читать. Пишутся они столбиком, как стихи, но не стихотворный прием повтора, если в Подвысоком фамилия Сорока, например, одиннадцать раз написана, словно для рифмы.

Страшно читать пять раз подряд фамилию Попильняк, если и Кирилл, и Владимир, и Митрофан, и Иван Попильняки — все Федоровичи.

Подряд они пишутся, как на поверке в строю,— односельчане:

Вдовиченко — Николай и Сергей Онисимовичи...

Вытяганец — Андрей и Василий Михайловичи...

Вовк — Иван Андронович и Кирилл Андронович...

Гижко — Иван и Николай Емельяновичи...

Гижко — Иван и Антон Куприяновичи...

Гончарук — Павел и Яков Митрофановичи...

Григораш — Иван и Григорий Аверкиевичи...

Только две литеры алфавита, а сколько братьев погибли!

Не было в тот период проблемы отцов и детей, была только проблема спасения Родины. Ушли на фронт из Подвысокого вместе и отцы и сыновья, а вернулись лишь их имена, чтоб рядом встать на обелиске:

Бурдейный Василий Яковлевич,

Бурдейный Иван Васильевич.

Или:

Дихтяр Тимофей Дементьевич,

Дихтяр Степан Тимофеевич...

А если не братья, не отцы и сыны, все равно родня, все равно двоюродные и троюродные либо соседи в нескольких поколениях. Все из одного гнезда...

Вот и получилось, что и защитники и жители Подвысокого так горестно породнились, встали в одну шеренгу на последней поверке.

И фигура скорбящей матери, изваянная над могильными плитами, и склонившаяся рядом пожилая хозяйка хаты, стоящей по соседству, так схожи...

Потому что 93 солдатских вдовы в Подвысоком.

Правление колхоза приняло решение установить им свою, из колхозных фондов надбавку к пенсии и проводить ежегодно всем селом День вдов.

Летним утром, сопровождаемые детьми и внуками, сходятся они к Дому культуры, тому самому, в чьих залах — народный музей.

За теми, кто живет на окраинах села, председатель посылает легковые машины.

Вдовы с корзинами цветов шествуют к братской могиле воинов 6-й и 12-й армий — защитников села и к обелиску Славы, на мраморе которого — имена их мужей, погибших на фронтах Великой Отечественной.

А по обеим сторонам шествия почетным караулом выстроились пионеры и комсомольцы. Они поднимают и смыкают над седыми головами в белых платках ветви дубов, принесенные из Зеленой брамы.

Весь день ласково чествуют этих женщин, и любая из них — мать всех в Подвысоком, а вокруг сыны и дочки, внуки и правнуки каждой из них.

Если находятся здесь в этот день гости — воины 6-й и 12-й армий, они принимают участие в церемонии, как свои, здешние.

Преклонив головы, целуют мужчины смуглые, крепкие еще, святые руки матерей.

Здесь и собрание, как раньше говорили, — сходка, здесь и банкет, как раньше говорили, — тризна.

А завершается День вдов тем, что комсомольцы села получают письмо — «наказ матерей» — с призывом беречь мир и украшать землю своими деяниями.

Подвысоцкая традиция уже распространилась по селам Украины...

По таким большим праздникам фронтовики надевают свои награды. Триста девяносто два жителя села удостоены орденов и медалей, а один земляк, носящий очень распространенную здесь фамилию — Сливко (она несколько раз выгравирована и на обелиске), — Герой Советского Союза и генерал.

Только Антон Романович Сливко в родительском доме бывает не часто. В народном музее есть его фотография — он в полярных летчицких доспехах и с двумя белыми медвежатами на руках — они как справка с места службы.

Зато и на праздники и в будни едут и едут сюда и те, чья кровь вошла в эту землю, и родившиеся позже и не потерявшие надежды найти след близких или хотя бы весть о них, и юные историки, и жители соседних областей...

Однако для участников былых боев путешествие в Подвысокое — далеко не простое дело. Тянет туда ветеранов, как магнитом, а в то же время какой-то тормоз сдерживает, а то и не пускает. Знаю по себе, нередко от сотоварищей получаю подтверждение: трудно ехать туда на праздник.

Резануло по сердцу короткое письмо из Чувашской АССР. Оно обращено к школьникам Подвысокого:

«Дорогие красные следопыты!

Я не заслуживаю, чтобы моя фотокарточка висела в вашем музее, потому что нам не удалось тогда защитить Подвысокое и победить. Враг оказался сильнее нас.

Алексей Ефимов».

Что за человек автор этого письма? Может, он прятался от пули? Может, он в тихом месте пересидел войну, а теперь испытывает муки совести?

Нет.

Я собрал сведения о нем. Это достойнейший человек! В составе 99-й дивизии он участвовал в самом первом бою за Перемышль. После неудавшегося прорыва из окружения в районе Подвысокого ушел в партизаны, а когда партизанский отряд соединился с уже наступавшей Красной Армией, вновь стал в ряды своей 99-й (такое на войне бывало не часто, это просто счастливый случай). Освобождал многие из украинских городов и сел, за которые сражался в сорок первом, потом — города и страны Европы.

С горестью и какой-то труднообъяснимой стыдливостью думает о том злосчастном августе не один Алексей Ефимов. Тихон Краснобородько из Уфы признается: «Если уж быть предельно откровенным, скажу: иные товарищи стараются забыть тяжелые дни, не хотят говорить о них».

Петр Андреевич Кулаков из села Софиевка в Запорожье был политруком роты в 115-м отдельном саперном батальоне и не раз бросался в штыковую атаку в Зеленой бреме. Вырваться ему удалось, но лишь глубокой осенью с группой бойцов он перешел линию фронта.

Он пишет: «Вернулся в сорок пятом, после третьего тяжелого ранения — инвалидом. Выбрали председателем

колхоза, и тридцать лет занимал этот пост. Приходилось рассказывать свою биографию довольно часто. Как упомяну письменно или устно про окружение, находится кто-нибудь, подает реплику: «Значит, плохо воевали...» Тяжело было выслушивать несправедливый укор».

Да, разное приходилось слышать! Я знал одного маленького, но важничавшего начальника, который каждому побывавшему в окружении задавал вопрос: «Почему вы не застрелились?»

Но жители Подвысокого помогают ветеранам найти себя в истории, понять глубинный смысл событий августа 1941 года. Вот что пишет председатель колхоза «Дружба» Степан Трофимович Кривописский, участник Сталинградской битвы: «Слились и породнились наши судьбы!»

На одну из встреч ветеранов 6-й и 12-й армий, состоявшуюся в праздник Победы в его родном селе, Степан Трофимович прибыл из Волгограда, со слета своих боевых товарищей по 193-й стрелковой дивизии, оборонявшейся в 1942 году в цехах завода «Красный Октябрь» (тогда председатель колхоза был политруком роты). Он досрочно покинул гостеприимный Волгоград, чтобы успеть принять гостей в своем колхозе.

Гости уже съехались, когда появился председатель колхоза.

Человек очень тонкий, Кривописский сразу почувствовал, что встреча в Подвысоком отличается от встречи на берегу Волги. Позже он написал мне: «Мы там гордо прошли по цехам «Красного Октября», по широким проспектам вновь построенного города-героя... Здесь же, у нас в селе, я замечал, ветераны чувствуют себя как-то угнетенно, как будто они еще и сейчас виноваты перед нашими людьми, что досталось тогда Подвысокое врагу. Их было 44 только. Они шли по селу на протезах или опираясь на палки. Я такой тост провозгласил:

— Выше голову, товарищ ветеран! Здесь в августе сорок первого года ты до конца выполнил свой долг. В фундаменте Победы сорок пятого года тобой положен тяжелый, но очень важный камень. Не продержись ты тогда две недели у Подвысокого, еще солонее пришлось бы нам в Сталинграде, а ведь оттуда пришли мы в Берлин!

Это сказал человек, пользующийся безграничным уважением и доверием в Подвысоком, кавалер орденов Славы, Красной Звезды, «Знак Почета».

Подвысокое ласково смотрит на своих защитников:

— Выше голову, товарищ ветеран!

Сыновья и внуки

Странно: войдя в контакт с комитетами ветеранов дивизий, я обнаружил в списках поныне здравствующих товарищей фамилии командиров и красноармейцев, про которых мне точно известно, что они погибли на войне.

Однако при более близком знакомстве недоумение мое разрешилось. Фамилии те же, а имена другие. Родилось чувство глубокого уважения к сыновьям погибших. Это они, оказывается, представляют теперь в комитетах своих отцов, ведут переписку, занимаются розысками пропавших без вести. В ряде случаев сыновья стали самыми деятельными сотрудниками и помощниками старых воинов, которые, слава богу, живы, но по состоянию здоровья не имеют возможности справиться со всеми навалившимися на них хлопотами (известно ведь, что у иных пенсионеров хлопот сейчас больше, чем было на службе).

Прикоснувшись к истории 80-й стрелковой имени Пролетариата Донбасса дивизии, я встретился с Виктором Ивановичем Елецким, сыном начальника штаба 218-го полка. Детство и юность Виктора в нелегкие послевоенные годы были отягощены постоянно тлеющим в душе горем о пропавшем без вести, исчезнувшем в пламени войны отце, Иване Елецком. Сын занялся выяснением его судьбы.

В первых ответах на запросы были лишь добрые воспоминания о бывшем начальнике штаба полка. С гордостью прочитал сын в одном из писем: «Вашего отца мы считали не просто командиром, но своим отцом».

Так утвердилось причастность человека следующего поколения к поколению участников Великой Отечественной.

Круг друзей Виктора Елецкого расширялся и множился. Возникло несколько линий поиска, переплелось множество человеческих судеб. Документы полка и дивизии, утраченные в Зеленой бреме, восстанавливались на основании тщательно сверяемых свидетельств и показаний очевидцев. Виктор Елецкий знал уже каждый шаг 218-го стрелкового полка, зримо представлял себе каждый бой, в

котором участвовал капитан Иван Елецкий. На запросы Виктора Ивановича отвечали преимущественно те, кто выбыл из полка по ранению, когда начштаба был еще жив и здоров. Прямых свидетелей гибели отца разыскать не удалось. Наконец и они нашлись, откликнулись.

Начальник конной разведки полка, побывавший и в Уманской яме, и на фашистской каторге, ленинградский рабочий Николай Лебедев прислал стихи:

*То боль внесет, то трепет детский,
Развеет прошлых лет туман.
Я помню, как погиб Елецкий,
Начальник штаба, капитан.
Он будет в новых поколениях,
Отец твой, Виктор, вечно жить.
Нельзя унять земли вращенье,
Нельзя звезды свет погасить!*

А за стихами следовало то, что называется деловой прозой. Николай Лебедев запомнил все печальные подробности гибели капитана Елецкого, вычертил даже схематичный план местности, где 29 июля он лично хоронил начальника штаба полка.

Виктор Иванович Елецкий поехал на Украину, прошел пешком всю дорогу отца — от границы до могилы, — и на памятнике над этой братской могилой рядом с другими именами появилось еще одно: «Иван Елецкий».

Завершение поисков, прояснивших судьбу отца, стало отправной точкой для новых поисков. Теперь инженер из Запорожья Виктор Иванович Елецкий — один из знатоков боевого пути 80-й стрелковой дивизии. К нему уже обращаются за всякого рода справками о людях, воевавших в составе этой дивизии, событиях, к которым она причастна.

Вошел в семью ветеранов 80-й дивизии и сын прокурора этого соединения Геннадий Анатольевич Седаков, живущий в Брянске. Так же как многие, он начал с выяснения обстоятельств гибели отца, с розыска его могилы. Найдя необходимые и такие дорогие для семьи сведения, он не остановился на этом, счел своим долгом продолжать розыски товарищей отца, его однополчан.

Не должно оставаться неизвестных солдат и безымянных могил: долг сыновей, долг живых — искать. Еще не поздно, еще есть свидетели, многое можно выяснить.

Историей 6, 12 и 18-й армий занят ленинградский инженер Юрий Иванович Шепетов. Имя его отца, Ивана

Шепетова, широко известно в военных кругах. О генерале уже рассказано в главе «Дивизия город не оставила».

Шепетов командовал 96-й горнострелковой дивизией, в первые дни войны она входила в состав 12-й армии.

В июле и августе Иван Шепетов силами дивизии наносил удары в северном направлении из района Первомайска, сиюсья деблокировать наши окруженные войска. За умение и отвагу, проявленные именно в этих боях, Шепетов в ноябре 1941 года получил звание генерала и Золотую Звезду Героя. Он — один из первых комдивов, удостоенных высшей награды. В январе 1942 года 96-я горнострелковая стала 14-й гвардейской дивизией.

Юрий Иванович видел своего отца в последний раз на границе: полковник Шепетов попрощался с женой, с двенадцатилетним сыном. Генерал, тяжело раненный, попал в плен под Харьковом. В январе 1943 года за активную антифашистскую деятельность он был замучен в концлагере Флоссенбург. Поначалу сын собирал сведения лишь о своем славном отце, но постепенно круг поисков расширился. Он знает боевой путь 14-й гвардейской, каждый ее шаг. Многие годы сын генерала разыскивал красноармейцев и командиров 6-й и 12-й армий. Сколько имен вывел он — теперь уже не из окружения, но из забвения!

Сын идет на выручку тем, кого пытался спасти его отец.

До 1974 года считался пропавшим без вести лейтенант Морозюк Карп Матвеевич. Так значилось во всех документах. Его сын, сейчас тоже офицер Советской Армии, не смог примириться с безвестным исчезновением отца, тем более что видел его зимой 1942 года в родном селе. Первые поиски дали противоречивые результаты. Появилось сообщение: лейтенант убит 18 июля 1941 года. Но это опровергалось бывшим красноармейцем 680-го стрелкового полка Завеном Куруняном. Он утверждал, что 4 августа раненого лейтенанта Морозюка отвезли на полковой линейке к переправе через Южный Буг возле города Первомайска. А командир артиллерийского дивизиона В. И. Пажиц сообщил, что видел его в бою 6 августа.

Владимир Морозюк перенес поиск в села вокруг Первомайска. Выяснилось, что в августе 1941 года в камышах у Южного Буга был подобран раненый лейтенант, назвавшийся довольно редким теперь именем — Карп. Колхозницы, которые его спрятали и выхаживали, запомнили, что лейтенант говорил: «Если не вырвусь из окружения, пойду в родные места партизанить».

Наверное, опасно было такому человеку возвращаться в родные места — лучше бы скрыться там, где его никто не знал. Но Карп Морозюк решил по-иному: идти именно туда, где его знали и где он всех знал. Раз уж не удалось перейти фронт, лейтенанту-коммунисту показалось необходимым поднять на борьбу с врагом своих односельчан.

Он приковылял 25 августа в свое родное село Немиренцы, под Казатином, где с тридцатого года был первым председателем колхоза «Добробут».

Здесь Карп Морозюк встретился с женой и малыми детьми — они эвакуировались, но оказались отрезанными врагом и вернулись к матери Морозюка.

Карп Матвеевич вел подпольную работу, если можно так выразиться, в районном масштабе. Перейдя на нелегальное положение, дома бывал редко, собирал силы по селам. Жене он оставил на хранение свои документы.

Ее схватили гестаповцы, допрашивали, где скрывается Карп Матвеевич. Она молчала. У нее, комсомолки, на груди под одеждой был партбилет мужа. К счастью, фашисты ни о чем не дознались и отпустили женщину.

Вернувшись к дочери и сыну, жена лейтенанта спрятала партийный билет. Это было необходимо: последовал новый арест, ее увезли в районный центр с маленькой дочкой Галей на руках. Как ни лютовали каты, ничего не добились. Жена подпольщика, разумеется, не выдала мужа. Тогда фашист ударил тяжелой палкой ее маленькую дочь. Молчание матери было непреклонным, но дорого оно обошлось: после долгих мучений девочка умерла.

Много еще не открытых тайн: неизвестный человек, прислуживавший оккупантам, вывел жену Морозюка из комендатуры, называя по имени и отчеству — Викторией Иосифовной, помог скрыться.

Кто он, до сих пор неизвестно; не раскрыта и черная тайна, кто выдал подпольщиков. Карпа Морозюка и его соратников расстреляли 17 апреля 1942 года. Но об этом семья узнала потом, через много лет...

А будущий майор Морозюк подрастал, ходил в стужу в обветшалом пальтишке, которое мать особо тщательно чистила, заштопывала и берегла, даже надтачала, когда мальчику оно стало мало.

В марте 1944 года Володя Морозюк, встретив на улице Немиренцев красноармейцев, вбежал в хату, чтобы сообщить, что наши вернулись. Он был в том самом пальтишке, из которого стремительно вырастал.

Мать, заплавав, обняла мальчика и тут же почему-то взяла в руки ножницы, вспорола полу сыновьей одежды и что-то достала из-под подкладки. Мальчик впервые в жизни увидел документ. Это был партийный билет Карпа Матвеевича Морозюка. Три года, сам того не ведая, ходил с партийным билетом отца маленький сын, будущий офицер и коммунист.

У майора Владимира Карповича Морозюка много дел по службе. Но есть у него еще одно дело, которому отдают воскресенья, отпускное и даже ночное время: он кропотливо изучает историю 6, 12 и 18-й армий, их тяжкий путь к Днепру. О своих раздумьях и находках Владимир Морозюк пишет в газеты. Многократно проверенные материалы посылает в музеи и архивы. Он много сделал для того, чтобы и другим стало понятно, что мужество кадровых солдат и командиров, задержавших наступление врага, сыграло важную роль в дальнейшем ходе войны...

Об упорных оборонительных боях 41-й стрелковой дивизии под Равой-Русской, пять дней державшейся на этом приграничном рубеже, теперь упоминается во многих печатных трудах. Тому, что выплыли из тьмы забвения герои этих боев, мы во многом обязаны сыну батальонного комиссара Михаила Власовца, погибшего 25 июня в яростной контратаке.

Инженер из Ташкента Виталий Михайлович Власовец изучил каждый шаг в бою не только своего отца, но и очень многих его сподвижников — живых и мертвых. Он стал исследователем истории 41-й стрелковой дивизии, секретарем совета ее ветеранов.

Так вот и получается: все дальше от нас драматические события 1941 года, но все больше фактов и подробностей, раскрывающих их величие, их значение! Исследователи — сыны и внуки героев.

Особо хочу сказать об украинских газетах, много лет подряд публикующих розыскные материалы. В свое время в «Правде Украины» было напечатано обращение майора Эдуарда Туренко к однополчанам его отца — батальонного комиссара Александра Туренко, пропавшего без вести в июле сорок первого года. У меня в руках объемистая пачка откликов. В течение нескольких лет шла активная переписка. Она продолжается и теперь, уже в спокойном тоне. А начало ее было очень эмоциональным.

Авторы первых откликов на письмо Эдуарда Туренко негодуют: «Кто смеет считать Александра Туренко пропавшим без вести?»; «Я видел его в бою, я видел, как он упал,

я нес его на плащ-палатке!»; «Я хоронил комиссара после того боя в окружении».

Особо остро переживал, да и теперь переживает гибель комиссара лейтенант в отставке, кавалер ордена Ленина Владимир Скороходов. В память о комиссаре он смастерил трогательный альбом. Открывается этот альбом изображением ордена Красного Знамени. Под изображением надпись: «Александр Михайловичу Туренко от твоего солдата, моя тебе солдатская награда за тот бой, с которого ты ушел из жизни, но не уйдешь из памяти народной. В. Скороходов».

Не было в Советской Армии другого такого случая, чтоб лейтенант награждал орденом комиссара. Данный случай уникален и легендарно красив.

Владимир Скороходов писал пионерам села Зятьковцы, где погиб комиссар, писал в райком комсомола, писал в Москву, в управление кадров сухопутных войск, призвал в свидетели других однополчан — Овчинникова, Бабушкина, Мороза и в конце концов добился своего. В соответствующие документы отдела учета потерь в отношении Александра Туренко внесено исправление: прежняя запись «пропал без вести» заменена иной — «погиб геройской смертью».

Должен рассказать еще об одном человеке. Он не ветеран войны и даже, кажется, не сын ветерана, но относится к поколению сыновей, а может быть, уже и внуков.

В самом начале моего поиска пришло письмо из города Донецка: «Мне 32 года, работаю в шахте. Войны я не знаю, но собираю все о ней. Родом я из тех мест, где происходили описанные вами бои, мне знаком там каждый кустик. На сбор материалов и переписку ушло более 12-ти лет, но предстоит еще сделать многое».

Начав переписку с автором этого послания горным мастером Василием Андреевичем Малаховецким, я получил драгоценные сведения о боях и героях Зеленой браны. При его помощи я уточнил сотни имен и фамилий, номера частей, обрел сведения о командирах и комиссарах дивизий и полков.

Ни в одном архиве, ни в одной книге не обнаружишь такого собрания боевых эпизодов и адресов причастных к ним людей, достоверных фактов и легенд!

Занятнейшим человеком показался мне Малаховецкий. Я выбрал два дня посвободней, сел в самолет и отправился в Донецк.

Меня встретил рослый, красивый шахтер и тут же, чуть ли не у трапа самолета, сообщил с понятной гордостью,

что его шахта вышла на первое место, получила переходящее знамя. У него на шахте дел, что называется, невпроворот, однако на все хватает сил и времени. Звание «Почетный шахтер СССР», полученное им, говорит само за себя!

На окраине Донецка, у подножия террикона, в шахтерском поселке, — квартира горного мастера. Вся она — коридорчик, обе комнаты, кухня — оснащена встроенными шкафами. У шахтера уникальная библиотека. Книги разные, но преимущественно по истории Великой Отечественной войны. Расставлены в таком порядке: война вообще, сорок первый год в частности.

Василий Андреевич деловито показал мне свою картотеку, думается, единственную в своем роде: здесь собраны сведения о живых и погибших, о знаменах частей, о Героях Советского Союза, о кавалерах ордена Славы.

Неугомонный Василий Малаховецкий пишет мне часто, но исключительно по делу. Письма его полны достоверными сведениями. Распечатываю очередное: «Очень интересный материал найден о Герое Советского Союза Павле Саввовиче Гришко. Он родился 17 августа 1916 года в селе Небелівка Новоархангельского района. Звание Героя он получил в боях за Венгрию — Указ от 28 апреля 1945 года.

Но он воевал в районе Подвысокого, около своего дома, попал в плен и находился в Уманской яме. Его спас односельчанин Петр Гнатюк — вывез в бочке из лагеря. Гришко поймали, но он снова бежал, чтобы потом оказаться в рядах освободителей Венгрии».

Вот какими материалами снабжает меня Малаховецкий. Я потом узнал, что этот удивительный историк «на общественных началах» — далеко не единственный. В оживленной переписке с ним состоят такие же искатели в Москве, Горьком, Иркутске. Все это люди тридцати — сорокалетние, начавшие свою поисковую деятельность в пионерских дружинах и перенесшие это благородное увлечение из детства во взрослую жизнь.

Поиск продолжается.

Я из годов восьмидесятых

Начав в семидесятых годах поиски, связанные с боями, которые вели 6-я и 12-я армии в августе 1941 года в районе урочища Зеленая брама, я незаметно для себя перекочевал в годы восьмидесятые, приближающие наступление нового века.

Человек восьмидесятых годов смотрит на отдаленные события Великой Отечественной войны под новым углом зрения. Десятилетия мира и борьбы за мир дают ему такое право.

Как из тумана, возникают картины героизма и мужества, ранее не зафиксированные ни на бумаге, ни на фотографиях, ждущие ныне своего воплощения в бронзе и граните. Сохранились лишь обрывки радиограмм, дошедших тогда до Ставки Верховного Главнокомандования: «Окружение огневое...»

Последняя радиограмма Павла Григорьевича Понеделина: «Борьба идет в радиусе трех километров. В бою все. Пятачок простреливается со всех сторон, противник непрерывно бомбит. Бьют артиллерия и минометы. Ожидаем атаки танков. Продержимся до вечера. Ночью идём на последний штурм. Войска ведут себя геройски...»

На этих словах обрывается связь, чтобы больше не возобновиться. Эти документы обязывают всех, причастных к тем далеким событиям, досказать недосказанное о людях 6-й и 12-й армий.

Встречи с ветеранами и письма товарищей помогли мне в какой-то мере воссоздать картину героического сражения. Но в процессе поиска возникла еще одна линия: начал складываться некий обобщенный тип воина довоенного призыва. Кажется, все они романтики, мои дорогие корреспонденты, знающие цену истинной дружбе, пронесшие сквозь огонь, может, и выплавившие в огне единство слова и дела, умеющие находить слова, точно отвечающие чувствам.

Есть среди них и те, кто после Зеленой брамы уже не смог встать в строй, не участвовал в победных сражениях.

Краткость боевого пути не в укор им: подвиг далеко не всегда стаж, чаще он — миг, мгновение.

Как я мало рассказал о вас, боевые товарищи! Скольких не назвал, не упомянул из живых, не вспомнил из мертвых!

Самодетельные историки и юные следопыты изучают далекие события и восстанавливают картину начальных сражений 6-й и 12-й армий.

Как назвать эту жажду раскрыть, запечатлеть, передать новым поколениям и вручить далеким потомкам достоверные данные о мужестве и непреклонности защитников Родины, встретивших врага на границе и — безо всяких преувеличений — собою преградивших ему путь? Дадим этому молодому народному движению имя Музейного. Название не очень точное, я пользуюсь им как рабочим термином. Мне важно не столько название, сколько суть.

Народный музей в Подвысоком был одним из первых сельских музеев на Украине. Теперь в Кировоградской, Черкасской, Киевской, Николаевской областях музеи во многих селах.

А вот свидетельство зарождения нового музея: письмо в Подвысокое из поселка Ворохта Ивано-Франковской области. Это был городок, хранящий традиции лесорубов. Теперь он развивается как туристический и спортивный центр Карпат.

В Ворохте создается историко-краеведческий музей. Директор Ворохтянского лесокombината, председатель методсовета музея товарищ Паневник сообщает, что темой экспозиции «От Карпатских высот до Подвысокого» будут боевые действия 12-й армии.

Там, на Карпатах, молодые энтузиасты воссоздали уже список соединений 12-й армии, принявших на себя первый удар. С Карпат идут письма во все концы страны — ищут живых участников легендарных сражений.

Ворохтянцы обращаются в Подвысокое:

«При желании учащихся вашей школы посетить места былых сражений, завязать дружбу и переписку средних школ нашего региона мы окажем вам помощь...»

Надо отметить, что повысился возраст «юных следопытов». Если в недавние годы это были по преимуществу пионеры, то теперь и комсомольцы активно включились в поиск, приобретая в школе навыки и пристрастие к изучению истории своего края. Молодые люди, став студентами, колхозниками, рабочими, уже не останавливаются — поисковая деятельность навсегда слилась с их линией жизни.

А вот еще одна весточка из Ивано-Франковска. Пишут ученики и учителя 14-й средней школы имени Николая Островского (они называют себя почти официально корчагинцами): «Уже семнадцать лет мы ведем поиск материалов о советских воинах, сражавшихся в нашем краю. Проводим мы поиск и по 12-й армии, в нашем городе встретившей войну. Какие это были замечательные люди! Безо всяких расчетов они отдавали Родине все. Хотим прикоснуться к их подвигу».

Какие это были замечательные люди! — повторяю я вслед за корчагинцами.

А были ли иные: трусы, дезертиры, изменники, мародеры?

Попадались, разумеется. Шла смертельная схватка двух миров: прошлое напало на будущее. Но я приплюсовываю все человеческие отбросы к «той стороне» — они сами причислили себя к армии врага, разгром фашизма был и их разгромом, а презрение наше к ним еще беспощадней, чем к тем, напавшим.

Я ставил перед собой одну задачу — рассказать о героях Зеленой браны.

Сам я принадлежу к поколению, для которого в предвоенные годы высшим свидетельством мужества и аттестацией интернационализма было добровольное участие в войне за республиканский строй в Испании. Может в этой связи показаться, что я в своем рассказе о Подвысоком вроде бы специально подбирал тех командиров и комиссаров, которые воевали раньше под Мадридом и Уэской, настойчиво называю именно их.

Нет, не строил я поиск в угоду своим романтическим увлечениям. Просто в армиях прикрытия, в тех войсках, что первыми приняли на себя удар, служили лучшие командиры, уже прошедшие испытание боем. Старшие — на фронтах гражданской войны, чуть помоложе — в вооруженном конфликте 1929 года на КВЖД, в схватках с басмачами. А из моего поколения это испанские добровольцы, такие, как Тонконогов, Фотченков, Туренко и многие, многие другие, хасановцы и халхингольцы...

На них равнялись те, у кого еще не было боевого опыта, у них брали первые уроки мужества, даже подражали их жестам и походке. Было в этом нечто мальчишески светлое, наивное.

И павшие, и оставшиеся в живых участники боев в Зеленой бране с честью выдержали тяжелейшие испытания...

Мой кабинет — полки, шкафы, подоконники — полон письмами и тетрадами с воспоминаниями. Копии своих поисковых материалов прислали пионеры из Подвысокого и других сел Кировоградской области. Обращение к сорок первому году вызвало бурную реакцию: люди разных поколений задают вопросы, что-то одобряют, о чем-то спорят, против чего-то возражают, делятся своими раздумьями, сообщают новые и уточняют уже известные факты.

Не забыт сорок первый год, и можно смело утверждать, что, отдаляясь, он вызывает все больший интерес.

История не всегда быстро и сразу распахивает свои страницы, раскрывает загадки и тайны минувшего.

Самый важный вывод, к которому приходишь, склоняясь над кипами если не документов, то свидетельств, таков: за два с небольшим десятилетия жизни Советской страны к 1941 году в народе вызрело обостренное чувство патриотизма, обернувшееся на полях сражений, при явном тогда военном преимуществе противника, неслыханным мужеством, ни с чем не сравнимой верой в Победу. Мы преодолели непреодолимое, выстояли. Тем дороже каждый эпизод, каждое проявление советского патриотизма. На фоне тяжелых и горьких событий еще ярче светятся подвиги защитников Родины.

Документация чрезвычайно важна как в ходе любой боевой операции, так и для ее последующего разбора. Многие события сорок первого года, увы, остались за пределами архивов, точнее — не дошли до них. Вот почему так сложно в восьмидесятых годах изучать сорок первый.

Для восстановления картины боев в Зеленой бреме пришлось широко пользоваться свидетельствами очевидцев. Устными и письменными.

Письмо участника боев через сорок лет после них, естественно, несет в себе черты легенды. Даже при идеальной памяти через столько лет трудно избежать обобщений, не обладающих достоверностью лично тобой увиденного. Влияют прочитанные книги, кинофильмы, теле- и радиопередачи, последующие впечатления, всевозможные слухи.

Могу привести пример из своей поэтической практики. И на войне и после писал я сюжетные стихи. В основу сюжета ложился то какой-нибудь частный, очень конкретный факт, то авторский вымысел. Но если не всегда, то очень часто находились потом люди, утверждавшие, что они присутствовали при описанном мной событии (а я-то знаю,

что это вымысел!). Иногда объявлялись и живые герои, которых тоже не могло быть, потому что я их придумал.

Подобные случаи в плане бытовом ставят автора в очень трудное положение. А в литературном плане рождают даже гордость: значит, написал правильно.

Я не укоряю тех, кто убежденно отстаивает последующие впечатления и наслоения как лично увиденное и даже пережитое. Но и запоздалое исследование требует документации, а в данном случае единственный документ — оброщенное наслоениями личное свидетельство.

Участников событий в Зеленой бреме оказалось, к счастью, больше, чем я предполагал, а все же не так много. На некоторые мои письма отвечали сыновья, дочери, соседи: «Умер в таком-то году». Или: «Просит передать, что ничего не помнит...»

Отдельно храню я присланные товарищами чертежи, карты, схемы. На них отмечено, где чьи могилы, где хранилища документов. Это очень важные свидетельства!

Бывший начальник политотдела 6-й армии, тогда бригадный комиссар Кондрат Васильевич Герасименко, ныне работающий в одном из московских вузов, передал мне графический план местности, где закопаны документы политотдела, в частности партийные билеты. Наверное, здесь необходимо разъяснение для молодых читателей: почему закопаны партбилеты?

Существовало правило: в разведку идти без документов, сдавать их на сохранение комиссару. Полагалось также собирать партдокументы у раненых. В политотделы поступали партийные и комсомольские билеты погибших; нередко окровавленные, пробитые пулями.

Документы эти хранились обычно в сейфах. Но в последние дни и часы их скопилось так много, что в сейфы они уже не помещались. Партдокументы заворачивали в противоипритные плащ-накидки, которыми располагала химическая служба, и в такой упаковке драгоценные документы были зарыты в Зеленой бреме, в окрестных деревнях. Теперь былое поле боя — с партбилетом в груди...

Но, как уже говорилось, приехав в Подвысокое через много лет, проходя по обновленным улицам села, я почувствовал себя так, как будто никогда здесь не был. Куда уж тут сориентироваться на местности по плану, вычерченному Герасименко! Все выглядит иначе, чем тогда! Даже окрестные овраги изменили направление.

А ведь не века прошли, лишь десятилетия. Но такие уж темпы у второй половины двадцатого века!

Неудивительно, что события сорок первого года стали как бы корнями леса народных легенд. Однако и в легендарных рассказах ветеранов, в письмах из разных краев страны повторяются эпизоды, и возникает достоверность. Вроде бы и легенды, а в них правда суцая.

Многие товарищи пишут, например, о контратаке в конном строю, возглавленной генерал-майором Прошкиным; он будто бы скакал на коне впереди всех, с шашкой в вытянутой руке.

С шашкой на танки? Казалось бы, безумие. Но нет! Отвага старого конника вдохновила измученных боями людей, дала им второе дыхание.

Легенды всегда были достоянием последующих поколений, но мы еще имеем возможность проверить их достоверность свидетельскими показаниями, а иные — и документами. Воспользуемся же этой, наверное, уже последней возможностью. Потомки имеют право распоряжаться фактами истории по-своему. А мы обязаны сказать все, что помним.

Легенду о Николае Ивановиче Прошкине, скакавшем на коне с шашкой наголо, я знаю давно, наверное, со времен своего пребывания в Уманской яме.

Эта история то возникала в моей памяти, то пропадала на годы.

Иногда воспоминания проступали вновь, и я бывал уже почти уверен, что видел собственными глазами его «безумство храбрых», бесстрашного всадника на коне.

Сам себе ставил задачи: если ты видел всадника в утро прорыва, когда еще не был ранен в голову, то должен был запомнить, какой масти был под ним конь.

И отвечал самому себе: белой масти. Очень красивый конь, скорее всего — арабской породы. Через два дня после попытки общего прорыва, когда я оказался в кавалерийской группе генерала Огурцова, которую он называл партизанским отрядом, честное слово, я видел именно этого коня, его вели в поводу и называли генеральским. Коня не подседывали, он был ранен.

И все-таки я опасался превращения легенды в собственное, не очень достоверное воспоминание — это ведь становится с годами безобидной, но довольно распространенной болезнью ветеранов: увиденное вчера на экране телевизора мы сегодня готовы рассказывать себе как происходившее с нами.

На страницах своей книги я привел этот эпизод исключительно как легенду, чтобы не поддаваться искушению выдумывать.

Однако это мне и не грозило. Пришло фантастически точное подтверждение! Я получил бандероль из Федеративной Республики Германии. Один бывший командир дивизии вермахта, прошедший потом несколько лет в плену за Волгой, а ныне преуспевающий адвокат и горячий сторонник дружбы между нашими странами, выполнил обещание, данное мне в Дортмунде, где мы познакомились в Обществе дружбы ФРГ—СССР. Он тогда сказал, что раздобудет книги об «уманском котле».

Меня еще тогда, при первой нашей беседе, удивила информированность отставного оберста, подобное знание, казалось бы, мало кому известных у нас событий. Да и бывший командир дивизии вермахта находился в 1941 году на другом участке фронта, он не участник, не очевидец. Я спросил его:

— Откуда вам известны такие подробности?

Он ответил:

— Но ведь это битва под Уманью!

В каком издательстве вышла книга? Оказывается, автор выпустил ее на свои средства, написал на обложке «зельбст-ферлаг», что в переводе звучит как «самиздат».

В сопроводительном письме сообщался и адрес автора мемуаров: если будут неясности, можно обратиться к нему лично... Но неясностей не было.

Это дневник ефрейтора, и вот запись от 5 августа:

«...Хорошо было видно Копенковатое и лес, а также ряды красноармейцев, приготовившихся к бою не на жизнь, а на смерть. Маршем, в строгом порядке они вышли из леса, видимо надеясь, что сплошного фронта немцев уже нет. Они шли тесно, сомкнувшись в ряды, человек по десять, и голова колонны вытянулась по направлению к нашей тригонометрической вышке и находилась метрах в двухстах от нас.

Обстановка накалялась, и я при виде приближающихся русских вспотел. К этому времени колонна растянулась на добрых два километра. В колонне была пехота, тянулись обозы, запряженные лошадьми, шли грузовики и легкие разведывательные танки. Впереди колонны шагали двойными рядами стрелки, а во главе ее на прекрасной белой лошади скакал офицер. Он размахивал над головой кривой казацкой саблей. Клинок и сбруя сверкали на утреннем солнце. Вдоль колонны скакало еще несколько всадников. К нам доносились их громкие команды...»

После этого, весьма рельефного изложения событий идет ухарское, в духе рассказов барона Мюнхаузена описание собственных подвигов и действий горных егерей. Самиздатский автор вообще бесстыдно откровенен. Он, например, подробно рассказал, как, заметив, что у лежащего на поле боя украинца (так в тексте) дрогнули ресницы (значит, он еще жив!), приставил ему к животу автомат и разрядил. Сегодняшний рассказчик и издатель не постыдился вспомнить, как убил женщину в красноармейской форме.

Противно и страшно читать такие воспоминания...

Но я должен процитировать еще несколько строк:

«Было десять часов утра. Палило солнце, и рассчитывать на воздушное охлаждение не приходилось. Запасного ствола не оказалось, ствол пулемета мы облили кофе из фляги, и Клевайс стал стрелять дальше. Между тем прибыло подкрепление: вахмистр Лейце с двумя отделениями. Теперь мы уже стреляли из трех пулеметов и все равно не могли задержать продвижение русских на запад». (Правильно ли указано направление нашего прорыва? Полагаю, что у мемуариста не было компаса.— Е. Д.)

Приведу еще одну красноречивую строку: «У меня было самочувствие трупа, проснувшегося в гробу».

Барон Мюнхаузен второй мировой войны продолжает:

«Я вновь увидел всадника на белом коне. Он что-то кричал и размахивал саблей над головой. Все русские, следовавшие за ним, смотрели на него, а он уже был близок к лесу. Безумие ситуации взбесило меня. Я закричал Клевайсу: «Уложи же ты этого!..» Клевайс стрелял несколько раз и все мимо и беспомощно смотрел на меня...»

Я несколько не сомневался, что хвастливый автор сейчас объявит себя победившим всадника. Он, конечно, пишет, что стоило ему лечь за пулемет — и с русским было покончено.

Но я-то знаю, что Николай Иванович Прошкин был только ранен в том бою, ранен был и белый конь.

Адъютант генерала и с ним лейтенант из особого отдела 58-й стрелковой дивизии нашли Н. И. Прошкина в Уманской яме, пытались организовать побег, но тяжелое состояние генерала не позволило исполнить дерзкий замысел.

Прошкин погиб уже на исходе своего заточения: в лагере на территории Германии, в каменоломнях, он обрушил каменную глыбу на голову предателя и был казнен фашистами...

Мемуарист продолжает свой рассказ. Некоторые детали позволяют судить о напряженности боя: в одном взводе заступает пятый командир, в другом — четвертый.

А вот концовка записи от 6 августа:

«...Вдруг в воздухе раздался свист, и прежде чем я мог понять, что произошло, вокруг нас стали рваться снаряды. Крюгера и Вайля ранило, а Гауст истекал кровью. Не стало и пулеметчика из третьего отделения, и я перешел к его пулемету. Мы продолжали стрелять из трех пулеметов, а из лесу выходили все новые и новые части русских навстречу смерти. И все же они продолжали продвигаться дальше и дальше. Немного изменилось, когда нам на помощь прибыла еще рота пулеметчиков. Если бы русские догадались двинуться по всему фронту, они бы просто смяли нас своей массой. Страшась, что это может произойти, я неистовствовал. В поисках укрытия я прыгнул в яму, где лежал убитый мною украинец, и продолжал стрелять».

Автор дневника признается, что не в силах остановить русских, и восклицает:

— Боже, что будет дальше!

А вот запись от 7 августа:

«Стало ясно, что русские под прикрытием ночи прошли через посты сторожевого охранения и заняли важные позиции. Собрав последние силы, они попытались прорвать фронт. На всем пути от Шевченко до Тутовой рощи у нас царил паника».

Не скрою, начитавшись сочинений Лутца Хатцфельда, я даже почти через полвека не ужаснулся его сообщению, что больше половины писем, доставленных после боя из Германии, пришлось отправить обратно, я горестно подумал — поделом!

С таким же опозданием порадовала меня запись: «Какой-то генерал из отбившихся пытался организовать партизанскую войну. Партизанскую войну? Что это такое, мы не знали...»

Что такое партизанская война, они узнали позже, а упомянутый генерал — это, несомненно, Огурцов, именно он поименовал наш кавалерийский отрядик партизанским.

Важными показались мне и такие строки: «Был момент, когда я пришел в ужас, что мы проиграли, когда увидел движущиеся на нас толпы русских».

Никогда не станут легендой ни убийство раненого украинца, ни «самочувствие трупа, проснувшегося в гробу». Но как свидетельства героизма защитников Зеленой брамы они красноречивы.

Эта история, отпечатанная в дюссельдорфском самиздате, достоверное подтверждение нашей легенды.

Сколько тайн хранит еще Зеленая брама!

Например, остались невыясненными, нераскрытыми многие подвиги, совершенные нашими людьми в неволе. В найденных фашистских документах о них сказано: «Пленными не считать!»

Есть свидетельство, касающееся генерала В. И. Прохорова. Он был переодет и спрятан в концентрационном лагере. Палачи искали его, но найти не сумели. Орала по радио: генерал Прохоров, сдавайся! Значит, и узника они не полагали сдавшимся.

Конечно, он не сдался!

«Пленными не считать» уже звучит по-иному...

Я мысленно представляю этих мужественных людей: они томились в одних застенках с антифашистами и подпольщиками Европы; равные в гибели, они заслуживают право на равенство в истории.

Умань, Подвысокое, конечно, лишь эпизоды великой битвы.

Но сражавшиеся в том кольце — я повторяю это вновь и вновь — не менее чем на две недели сковали силы врага в направлении Днепропетровск, Запорожье, Донбасс и на подступах к Киеву.

В Бресте и Перемышле, в Подвысоком и Киеве, в Одессе и Севастополе, в Могилеве и Смоленске убивали и убили «блицкриг»!

И не только там!

Героика сорок первого года, отвага и непреклонность защитников советской земли и советского строя, встретивших врага первыми, требуют неустанного изучения.

Если говорят, что великое видится на расстоянии и под расстоянием подразумевают время, то его после войны прошло уже достаточно, а живых участников событий огромной исторической важности осталось мало. И с каждым годом их будет все меньше и меньше.

Неужели мы вправе, не завершив наш поиск, взвалить его на плечи внуков и правнуков?

Но я, кажется, вышел за пределы своей темы и той дубравы. Прежде чем поставить точку на последней странице, вернусь вновь к селу Подвысокому, к его жителям и защитникам, к памятной Зеленой бреме.

Не мне одному она памятна. Вот опять на столе моем пачка писем со всех концов Родины. Раскрою первое.

Адресат: Титов Тимофей Прокофьевич (Воронежская область, Таловский район, колхоз имени Калинина). Он пишет:

«И по сегодня стоят перед моими глазами молодые, наголо стриженные ребята, смотрят на меня укоряюще — не забывай нас, помни Зеленую брону.

Пишу не только от себя, а и от имени тех, кто погиб в Зеленой броне, Уманской яме, в фашистском концлагере, не увидев победы в мае 1945 года.

...С орденами и медалями закончил я войну в сорок пятом, но никогда не вспоминал проклятый сорок первый год, себя, не умеющего толком стрелять...

Но испытал я тогда такую ненависть к врагу, ощутил такую его жестокость, что хватило мне заряда на то, чтобы без лекарств, без еды и медицинского ухода залечить свои раны и вновь возвратиться в действующую армию.

До апреля 1945 года воевал с фашистами, был и сапером, и разведчиком, и автоматчиком, освоил военную науку и воевал до тех пор, пока осколок мины, оторвавший мне ногу, не выбил меня из войны. Стал я инвалидом второй группы (пожизненно).

Август сорок первого — незаживающая рана моей души.

И каждый раз, когда жизнь дарила мне победу, вспоминал я Зеленую брону, своих ребят. И когда закончил техникум, и когда взял отстающий колхоз и сделал его передовым в области (я не хвастаюсь, слишком много сил вложил в это хозяйство), и когда услышал по радио Указ о присвоении мне звания Героя Социалистического Труда, и когда сидел в Кремлевском Дворце на XXVI съезде КПСС.

...Не было бы сорок первого года — не наступил бы и сорок пятый...

Тимофей Титов, участник битвы в Зеленой броне в составе войск 12-й армии, председатель колхоза».

Я представил читателю поредевший, но боевой строй воинов, начинавших дело Победы на жестоких полях сорок первого года. Пусть сегодня этот строй замыкает Тимофей Прокофьевич Титов.

Уже само его письмо рисует портрет современника, образ героя нашего времени. Но мне очень хотелось еще хоть что-нибудь узнать о председателе орденоносного колхоза имени Калинина.

Титов был ранен 13 августа в ногу — осколок прошел навывлет. Неспособного двигаться, его подобрали жители Подвысокого. Но фашисты отняли солдата у спасителей, чтобы причислить к своим трофеям. Бросили в Уманскую

яму. После побега с группой красноармейцев он скитался по лесам. Раздобыли пулемет, действовали отчаянно и бесстрашно. По селам оккупанты расклеили объявление:

«Кто поймает партизан Титова и Володина, получит по пять тысяч марок за каждого...»

Но кочующая горстка бойцов 12-й армии не прекратила боевых действий.

Вновь встав в ряды Советской Армии, Тимофей Титов участвовал в освобождении тех просторов, по которым пришлось отходить в сорок первом.

За полтора месяца до конца войны, на подступах к Братиславе, он получил множественное ранение и вернулся в родную хату на костылях.

В возрасте 21 года надо было начинать мирную жизнь.

Семнадцать лет работал он в своем селе бухгалтером колхоза, выучился на агронома и попросил райком направить его в слабый колхоз. С 1965 года Титов — председатель колхоза в Новой Чигле. Теперь уже не просто колхоза, а ордена «Знак Почета» колхоза имени Калинина, девять раз награждавшегося переходящими Красными знаменами.

Стали председателями колхозов и сыновья Тимофея Прокофьевича Юрий и Виктор.

К солдатским наградам отца — Красной Звезде, медалям «За отвагу» и «За боевые заслуги» — прибавились два ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и «Знак Почета».

Открываю следующее письмо и знаю: как ни безжалостны годы и десятилетия, превращающие события в историю или в легенды, встанут в геройский строй новые и новые товарищи — живые или погибшие, но не склонившие головы.

Героическая и трагическая история Зеленой браны — лесной крепости сорок первого года — расширилась, притягивает и зовет к себе людей новых поколений, а сам этот лес постепенно становится местом своеобразного паломничества и естественным памятником мужеству и верности воинов 6-й и 12-й армий, да и не только их, но в равной степени жителей села Подвысокого — защитников Родины.

Думается, что приходит пора воздвигнуть в районе Зеленой браны единый мемориал, величественный и строгий. Он будет как бы предисловием к поднимающимся в этих краях памятникам в честь победной Корсунь-Шевченковской битвы.

А в заключение считаю необходимым ответить одному из своих корреспондентов, родившихся позже описанных мною событий. Он назвал воинов Зеленой брамы несчастными, видимо, чтобы подчеркнуть в письме свое сочувствие.

Но правильно ли считать несчастными красноармейцев и командиров первых сражений? Нет! Воин, оказавшийся в несчастном положении, и несчастный человек — отнюдь не одно и то же.

Участники спасения Родины ясным и спокойным взором смотрят в глаза потомков. Их самозабвенное мужество оказалось залогом победы.

Героический сорок первый год принадлежит двадцатому веку, принадлежит нам. И мы должны всегда помнить, что сперва была Зеленая брама, а триумфальные арки — потом, почти через четыре года.

Содержание

| | |
|--|-----|
| <i>Что такое Зеленая брама?</i> | 3 |
| <i>Я из сорок первого года</i> | 5 |
| <i>Глазами родившихся позже</i> | 10 |
| <i>Ночные раздумья в Подвысоком</i> | 21 |
| <i>Первые пять недель</i> | 34 |
| <i>Несколько дней июля</i> | 51 |
| <i>Две недели августа</i> | 60 |
| <i>С точки зрения Типпельскирха...</i> | 84 |
| <i>Легенда о комиссарах</i> | 93 |
| <i>Знамя дивизии</i> | 109 |
| <i>Крылья, пробитые пулями</i> | 112 |
| <i>Двое в штатских костюмах</i> | 117 |
| <i>Буденный — наш братишка, С нами весь народ...</i> | 123 |
| <i>Генерал Сергей Огурцов</i> | 126 |
| <i>Штыком и гранатой пробились...</i> | 138 |
| <i>Три красноармейца</i> | 148 |

| | |
|--|-----|
| <i>Легенда о непреклонных</i> | 152 |
| <i>Хлебом кормили крестьянки меня</i> | 158 |
| <i>Тот дикий лес, дремучий и грозный</i> | 168 |
| <i>Уманская яма</i> | 174 |
| <i>Городок-герой</i> | 186 |
| <i>Наивные вопросы и жестокие ответы</i> | 198 |
| <i>Врачи на посту</i> | 205 |
| <i>Советов, Знаменев, Сердюков</i> | 213 |
| <i>Дивизия город не оставила</i> | 217 |
| <i>Легенда о яблоках и зернах пшеницы</i> | 224 |
| <i>Центр узнал</i> | 229 |
| <i>Легенда о Гансе Олесцаке, тельмановце</i> | 235 |
| <i>От Зеленой браны до Серебряного бора</i> | 243 |
| <i>Уполномочен Зеленой браной...</i> | 249 |
| <i>Из записок К. Симонова</i> | 262 |
| <i>Скульптор из Зеленой браны</i> | 270 |
| <i>Тайна танка</i> | 275 |
| <i>Притяжение памяти</i> | 290 |
| <i>Сыновья и внуки</i> | 298 |
| <i>Я из годов восьмидесятых</i> | 305 |

*Евгений
Аронович
Долматовский*

ЗЕЛЕНАЯ БРАМА

*Документальная легенда
об одном из первых сражений
Великой Отечественной войны*

Издание второе, дополненное

Заведующий редакцией
А. И. Котеленец

Редактор
Ю. И. Харченко

Младший редактор
Т. А. Ходакова

Художник
Г. Д. Расторгуев

Художественный редактор
О. Н. Зайцева

Технический редактор
Ю. А. Мухин

ИБ № 4981

Сдано в набор 06.08.84.

Подписано в печать 31.01.85. А 00024.

Формат 84×108¹/₃₂. Бумага книжно-журнальная офсетная.

Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.

Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 18,27.

Уч.-изд. л. 17,90. Тираж 200 тыс. экз.

Заказ № 4742. Цена 85 к.

Политиздат.

125811, ГСП, Москва, А-47,
Миусская пл., 7.

Ордена Ленина
типография «Красный пролетарий».
103473, Москва, И-473,
Краснопролетарская, 16.



НКВД
 ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 Западная фронт
 Село Медведь
 100 км от района 1942г
 № 100

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о мужестве и героизме Иванов
 в боях за социалистическую родину, проявив героизм и мужество, был удостоен ордена Медведь

2000 НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАРТОВ
 ПОЛКОВОЙ КОММУНАРЫ



Исторический
 сорок первый год
 принадлежит
 двадцарому веку,
 принадлежит нам.
 И мы должны
 всегда помнить,
 что сперва была
 Зеленая драма,
 а трициральный
 арки - потом,
 почти через
 четыре года.

Евг. Долматовский